

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Правительство Новосибирской области

Редакционная коллегия:

Б. Л. Аюшеев (Улан-Удэ)

А. Б. Байбородин (Иркутск)

Б. Я. Бедюров (Горно-Алтайск)

Т. Г. Четверикова (Омск)

Б. С. Дугаров (Улан-Удэ)

А. В. Кирилин (Барнаул)

Э. И. Русаков (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Н. М. Закусина (Новосибирск)

Е. Ф. Мартышев (Новосибирск)

А. Ф. Косенков (Новосибирск)

В. С. Никифоров (Новосибирск)

Владимир Титов (ответственный секретарь)

Виталий Сероклинов (зав. отделом прозы)

Марина Акимова (зав. отделом поэзии)

Михаил Косарев (зав. отделом критики)

Дмитрий Рябов (зав. отделом публицистики)

2/2016

Главный редактор: М. Н. ЩУКИН

Содержание

ПРОЗА

- Виорель ЛОМОВ. Неодинокий Попсуев.** Роман-мозаика.3
Павел ПОНОМАРЁВ. Сплин. Рассказ. 121
Представляем молодых
Екатерина УСОВА. Оазис. Рассказ. 139

ПОЭЗИЯ

- Андрей АНТОНОВ. Запасные дары.** Стихи. 112
Надежда ПУЗЫРЕВСКАЯ. Родословная. Стихи. 136
**Андрей ШЕВЦОВ. «Где лепечет ребенок
и клохчет старик...»** Стихи. 142

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Сергей ПАПКОВ. Голос отчаяния.** Обращение сибирских писателей
к секретарю крайкома Р. И. Эйхе летом 1933 года. 146
Екатерина КРАСИЛЬНИКОВА.
Революция, память, беспамятство. Годовщины Великого Октября
в Западной Сибири в 1920 — 1930-х гг. 154
Валерий НОВИКОВ. Как в кино.
Рассказы кинодокументалиста. Окончание. 175

Из почты «Сибирских огней»

- О поэтике Станислава Ливинского.** 186

Картинная галерея «Сибирских огней»

- Светлана ГОЛИКОВА. Поэт театра.** 189

- Авторы номера** 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г. Главный редактор, директор-руководитель ГБУ «Редакция журнала «Сибирские огни» М. Н. Щукин.

Виорель ЛОМОВ

НЕОДИНОКИЙ ПОПСУЕВ

Роман - мозаика

*Тебя, милый мой сын, жители
Сеуты считают слегка помешан-
ным: это следствие их темноты.*

Ян Потоцкий

От автора

В Нежинской картинной галерее (справа под лестницей) в начале этого столетия появился замечательный портрет мужчины с горящим взором. Возле него искусствовед Диана Горская завершает свои экскурсии.

— Перед вами, господа, образ молодого мужчины, нашего земляка, Сергея Попсуева. Работа исполнена в характерной для современной итальянской школы манере: спонтанный мазок, случайный ракурс... Художнику Луиджи Ванцетти (вот в уголке подпись: «Luigi Vanzetti») удалось передать харизму Попсуева. Вглядитесь в его глаза. Не правда ли, кажется, что они видят то, чего не видим мы? Портретист вырвал лишь миг из жизни Попсуева, но в нем смог запечатлеть вечность. А видели бы вы, господа, его стать! Это Аполлон, Дорифор...

Роман о Попсуеве, с которым я знаком уже много лет, написан сам собой. Это мозаика из отдельных дней Сергея и его поступков, которые отложились в моей памяти. Кое-какую информацию о Попсуеве я почерпнул также в газетных статьях о нем и в записках самого Сергея. Несколько неправдоподобных, на первый взгляд, событий на самом деле были.

Пролог. Девочка

*Прощай, иллюзия! Я счастлив
был — во сне...*

Эдмон Ростан

Выдалась светлая ночь. На платформе никого не было.

«Почему, — рассуждал Попсуев, — когда выпьешь, ночью светлеет? Во всяком случае, освещает что-то внутри, будто и на самом деле есть душа, — усмехнулся он, садясь на лавочку. — Особенно, когда один».



Нет, оказывается, под навесом было несколько человек. В свете фонаря белело женское лицо. Такие лица бывают в мистических японских фильмах. Казалось, женщина смотрит в его сторону. Вдруг он почувствовал щекой или еще непонятно как, что на лавочке справа кто-то сидит. Глянул и вздрогнул: девочка лет десяти, в легкой курточке.

— А ты что тут делаешь? — спросил Сергей. — Ты когда подседа?

— Давно.

— Где твой? — машинально спросил он, приглядываясь к женщине под навесом.

— Не знаю, — ответила девочка.

— Заигралась, поди? — Попсуев почувствовал прохладу, поежился, снял свою куртку, накинул девочке на плечи. — Отстала?

Девочка не отвечала. «Странная, — подумал Попсуев, — мамаша тоже хороша. Без нее, что ли, умотала в город? Если даже спохватилась, из города последняя электричка уже прошла...» Девочка не была похожа на беспризорную.

— Нет, я не отстала, я всю жизнь живу здесь.

— На даче? — удивился Попсуев. — И зимой?

— Нет, здесь, на остановке.

Попсуев помялся, не зная, что делать. Он решил, что ослышался, но переспрашивать не стал — из-за поворота показалась электричка в город, последняя на сегодня. На мгновение-другое небывало яркий свет фонаря электрички ослепил его.

— Постой-ка, заберу. — Он достал из куртки паспорт и кошелек. Вынул сто рублей, вложил девочке в руку, накинул куртку ей на плечики. — Поехал. Может, со мной?

— Нет, — ответила девочка, — я останусь тут.

— Как знаешь. Пока.

— До свидания, дядя.

За поручень вагона взялась женщина, довольно молодая, задержала на нем взгляд.

— Вы проходите? — Голос, как и положено, чуть-чуть ворковал.

Попсуев пропустил ее вперед, помахал девочке рукой и вошел в вагон. Женщина расположилась на сиденье лицом к Попсуеву и, кажется, смотрела на него. Сергей бросил последний взгляд на девочку. Та сидела на скамейке, глядя под ноги. Над ее головой висела полная луна. На платформе никого больше не осталось, и оттого пустое, залитое голубоватым светом пространство казалось жутким. Двери стали закрываться; Попсуев соскочил на площадку.

— Что же ты, так всю ночь будешь сидеть? Замерзнешь ведь!

Девочка что-то сказала, глядя вслед удаляющейся электричке, притонулась рукой к куртке. В кулачке ее была зажата сотня.

— Пошли ко мне, пошли-пошли! — буркнул Сергей не то чтобы раздраженно, но недовольно. — Чего торчать тут? Электричек больше не будет.

Попсуев удивился тому, что мысленно оправдывается перед этой малышкой за свое раздражение. Словно виноват перед нею! Девочка и не



думала вставать. Но в ее взгляде в свете луны появилось что-то не по-детски загадочное. Сергею на мгновение стало не по себе.

— Ну, чего сидишь? Пошли.

Девочка встала, взяла его за руку. Ладонка ее была маленькая, не доставала и до половины ладони Попсуева. В другой руке у нее была кукла.

— Вы не думайте ничего, дядя.

— А я и не думаю ничего, — пробормотал Сергей. «Ехал бы сейчас домой, — думал он, — ведь завтра с утра дурдом...» — Как куклу-то звать?

— Оксана.

— А тебя?

— И меня Оксана.

— А маму?

— Оксана.

— Надо же, — сказал Попсуев, сводя лопатки, чтобы не было так холодно. — Страна Оксания. А меня — Сергей.

— Оксания! — рассмеялась девочка. Сергей невольно тоже хихикнул, больше над самим собой. «Невеселый какой-то смех». Он почувствовал, как детские пальчики сильнее сжали его ладонь. В ответ он слабо пожал и ее ладошку. «Как трогательно! Чего ж делать-то? Есть хочется».

— А мама где, папа? — еще раз спросил Попсуев.

Девочка не ответила.

— Тебе сколько лет, Оксана?

— Не знаю, дядь Серёж, — беззаботно бросила малышка. — Сто, наверное.

К реке шли между заборами; спуск был поначалу пологий, а потом крутой, с промытыми дождями двумя канавками, расширяющимися к реке и сливающимися в одну широкую. Через реку был мост, и на мосту вдруг возникло ощущение безграничности всего — реки, неба, дороги.

Девочка остановилась, высвободила руку.

— Что? — спросил Попсуев. — Скоро придем. За мостом в горку — и придем.

— Смотри, как красиво там. — Оксана махнула рукой в глубину темноты, в которой светилась вода.

— Да, красиво.

— Это вечность.

— Что? — удивился Попсуев.

— А ты один живешь?

— Да, один. С чего ты взяла?

— Да видно сразу. Если б не один, не соскочил бы с электрички. Ехал бы сейчас домой, к жене, детям. А так у тебя дом там, где ты. Ты один. Я одна. Оба — одни.

Попсуев уже дрожал от холода.

— Оба вдвоем. Пошли, пошли, холодно. Видишь, пар изо рта идет.

— Прости, дядь Серёж, я же в твоей куртке, и мне тепло. — Оксана снова взяла его за руку. Ладонка ее была сухой и теплой. — Смотри, смо-

три! — Она выпустила куклу из другой руки, и та как-то коряво полетела вниз и шлепнулась о воду.

— Зачем ты так?

— Теперь ты у меня есть. А ее я возле ларька нашла. Она все равно чужая.

Они прошли лугом, на котором ощущение безмерности пространства только усилилось, потом прошли мимо черемухи, потом еще одной, еще — тут дачники собирали ягоды для понижения давления.

— Я здесь черемухи объелась.

— Давление сбивала? — спросил Попсуев.

— Нет, набивала брюхо. А ты тоже собираешь, да?

— В этом году нет.

— В этом нет, так другого тоже нет.

«Забавно. Это у нее просто так сорвалось с губ или она понимает все? Услышала, наверное, от кого-нибудь... Дети такие переимчивые». Странное чувство нереальности происходящего только усилилось. «Будто во сне. Но то-то и оно, что во сне так не бывает. Там нет этого ощущения безмерности жизни, там обязательно что-то давит. Давит, давит... а вот черемухи для уменьшения этого давления нет. И тебя куда-то несет... или ты несешься сам. Но сейчас-то я никуда не несусь? Разве что согреться да поесть».

— А мои все давлением мучились. Я ушла от них.

— Не искали?

— Почему я знаю?

Сергею до того стало жаль эту девчущку, что он захотел выпить.

Они поднялись в горку, зашли на территорию дачного общества. Во дворе сторожа Помпей, встав на задние лапы и «облокотившись» об изгородь, молча разглядывал прохожих.

— Большой какой!

— Помпей, — сказал псу Попсуев, раздумывая, зайти или нет к Викентию за бутылкой. У того всегда было что выпить. «Ладно, проехали». Псина глухо заурчала, прожевывая недовольство, заглотнула его, опустилась на землю и полезла в громадную будку возле крыльца.

— У него настоящий дворец. Я бы запросто там жила!

— Наш с тобой дом там... А твои родные тут, на Колодезной?

— Нигде.

— Так... Ладно, проходи, тут осторожнее, канавка.

Они зашли в дом. Сергей достал из потайной ниши плитку и чайник.

— Вот же черт! Воды-то нет, всю вылил, чтоб зимой не замерзла.

И еды никакой. Чего делать теперь?

— Спать. Хочу спать.

— Спать так спать. Залазь в спальник, не замерзнешь. На свитер, он чистый.

Девочка, похоже, уснула сразу же. Сам он долго не мог уснуть. Хотелось есть, было холодно и тревожно. Вроде задремал, но вдруг понял, что это *та* девочка. «Как же я сразу не догадался?.. А-а, не хотел просто». От тоски и чувства одиночества захотелось исчезнуть с земли, испариться, как летнее тепло.

...Девочка на высоком крыльце лазит по перилам. Вдруг соскальзывает с них, падает — медленно, не как в жизни, а как в кино: падает, падает, превращается в бабочку и в момент соприкосновения с асфальтом взмывает над ним, вспархивает — спасается!..

Сергей вздрогнул. Этот сон часто снился ему. Даже не сон, а так, полудремотное состояние. Поначалу, в первых снах, бабочки не было: девочка медленно падала, а потом, так и не упав, оказывалась стоящей на тротуаре. Стоит как ни в чем не бывало, глядит на него и смеется, а не плачет. (Вообще-то она тогда ревела, размазывая беленькими веснушчатými ручонками слезы по грязным щекам; и лицо ее белело как маска, хотя вовсю жарило лето.) Момент падения на асфальт вырезан, как кадр. «Кто же это режиссирует мои сны? Лет пять назад она вдруг превратилась в бабочку. Что это, метаморфозы сна или моей совести? Странно, видел ее пять минут, падала она мгновение, а вся моя жизнь оказалась соразмерной этим минутам и нанизана на этот миг... как бабочка на иглу. Упала-то вниз головой — с высоты трех метров!»

Он снова задремал и снова увидел замедленную картину ее падения. Жуткую и безмолвную. Его не покидало ощущение, что он в состоянии поймать девочку, вот же она, только протяни руки — но рука не слушалась его. С высоты трех метров — тут и гадать не надо, как сильно она ударилась! Бедная головка... Это мячику хоть бы что. Что-то отвлекло тогда его, девочка куда-то исчезла, а он стал зачем-то в асфальте искать вмятину от ее падения. Да и не в этом дело! Дело в том, что он тогда мог согнать девчущку с перил, хотел согнать, но поленился согнать! Тогда бы и падения того не было!

Сергея всего передернуло. Ему показалось, что он вспомнил лицо девочки. Он посмотрел на Оксану. Лица не было видно. «Уснуть бы», — думал Попсуев. Иногда хочется уснуть и не выходить из сна, как из детства.

Он так и не уснул. Лежал на спине, глядел в потолок и просматривал то, что показывала память. Потом встал, оделся и вышел во двор. Стало светать. Подморозило. «Чего ж теперь делать? — размышлял Сергей. — Во-первых, надо что-то поесть, а во-вторых, что делать с девчонкой?» Попсуев достал из кармана расписание — через сорок минут электричка. Следующая через полтора часа. «Околеешь тут. Магазины вряд ли откроются раньше десяти. А может, и вообще не откроются. Надо ехать домой».

Девочка проснулась и сидела на скамейке, болтая ногами. Попсуев погладил Оксану по голове. Та прижалась к его руке.

— Она у тебя хорошая. Не бьет.

— Кто? — не понял Сергей и тут же понял: рука. — Вставай, надо ехать, а то тут ни поесть, ни попить... и топить нечем.

— А мой забором топят.

— Они тут, что ли?

— Да нет, это раньше, а сейчас их нет нигде. Сгорели. Напились и сгорели. Я их будила, а они не разбудились.

От этой новости Попсуев присел на кровать.

— И как же теперь? — спросил он непонятно у кого. До этой минуты он все же надеялся найти как-то девчущкину родню.

На той стороне сгорел три дня назад дом. Говорили: бомжи сожгли.

— А что — как? Жить.

Понимая нелепость улыбки в этот момент, Сергей улыбнулся:

— Ладно, будем жить. Вставай. Одевайся. Туалет направо. Справишься?

— Нехитра наука.

Попсуев спрятал в нишу плиту и чайник.

— Скорей! Через полчаса электричка. А тут пути минут двадцать.

Когда они поднялись на мост, Оксана на середине реки сказала:

— Зря я куклу в воду бросила. Грех это.

— Ну она же умеет плавать. — Сергей соображал, какая тут высота моста. Метра четыре, наверное. Всяко больше трех. Ему вдруг пришла мысль, что это вовсе и не та девочка, а Несмеяна. Пришла невесть откуда, баттерфляем плавала... красиво, грациозно даже, не как мужчины...

— Зря-зря... Не по-людски. Похоронить ее надо было.

— Странно, — сказал Попсуев. — Дни так быстро, так незаметно летят, словно не имеют ко мне никакого отношения. Словно во мне и не живет самая распространенная человеческая иллюзия, что эти дни мои.

— Чего ж тут странного? — удивилась девочка. — Это ж так естественно. Чтобы прошлое оставило тебя, надо перестать беспокоиться о будущем.

Сергей дико взглянул на нее и, вскричав:

— Это ты?! Ты! — прыгнул с моста в воду.

— Во дурак! — услышал он ее слова.

— Шалишь, милая, — сказал Сергей. — Я не дурак. Это я только подумал о том, что прыгну.

Ни девочки, ни моста, так — дурацкие воспоминания!

Прошипев и лязгнув, закрылись двери, электричка тронулась. Странно, что у любого из нас все самое важное в жизни связано с дорогой. Нет, не странно. Забавно. Не хотелось открывать глаза. Лень было взглянуть на часы. Уехать бы сейчас куда-нибудь к чертовой матери, а еще лучше — улететь на какие-нибудь острова... Соломоновы... где это?... и никогда больше сюда не возвращаться, никогда-никогда... вот только бы без боли... или, наоборот, с болью, невыносимой, жуткой, сладкой, чтобы очиститься наконец...

Сказано — сделано. Уже и к регистрации выстроились в аэропорту, душно, но тут рейс перенесли, потом еще раз. Переносили-переносили, а потом и вовсе отменили. Дело за полночь, толпой пришли в гостиницу.

— Только общие комнаты, — сказали и растолкали кого куда.

Было не до удобств, страшно хотелось спать, лишь бы голову на подушку склонить. Попсуев пригляделся, куда прилечь. В жидком свете из коридора насчитал шесть кроватей, занял пустую у стены. И непонятно, уснул он или нет, но вдруг почувствовал поцелуй. Открыл глаза: над ним склонилась женщина необычайной красоты. Сергей сам не заметил, как оказался у окна в длинной до пят ночной рубашке, сердце его колотилось, и он испытывал безмерное счастье. Он даже раскинул руки в стороны, понимая, что смешон, и тут же говорил себе: нет, трогателен.

Рассветало. Сколько видел глаз — серебряная сверкающая трава на спящей еще земле. Значит, лето на дворе. Да, соловей поет. Или тонко так кто-то свистит с переливами во сне? Почувствовав взгляд, оглянулся. На всех кроватях спали. За столиком сидела дежурная по этажу и, казалось, о чем-то хотела спросить его. Попсуев скользнул мимо нее, боясь чего-то (а вдруг это она, красавица, Несмеяна!), и — проснулся.

«Какой чудный сон, — думал Сергей, вспомнив, что перед ним он в предыдущем сне что-то говорил девочке, той самой. — Почему наяву не бывает так хорошо? Чтоб вот так вот, в рубашке у окна, руки в стороны, взгляд в безбрежность утра, испытать блаженство и покой. Покой, неведомый до этого, которого хватит теперь на всю оставшуюся жизнь. Все, что происходит наяву, так быстро забывается. Никакого следа. Все, что железно, все никак. Но почему я испугался и прошел мимо Несмеяны?»

— А вам что, особое приглашение? — заглянула в вагон женщина в форме, совсем не отвечавшей ее содержанию. — Приехали, гражданин, вокзал.

«Вокзал, — подумал Попсуев, раздирая в зевке рот, — тот самый, что за одну остановку до конца света, всего-то двенадцать лет назад».

Часть I.

За одну остановку до конца света

И ад, и земля, и небо с особым участием следят за человеком в ту роковую пору, когда в него вселяется эрос.

Владимир Соловьёв

Чего не сошел и чего не остался?

— В тот год осенняя погода стояла долго на дворе, — бормотал Попсуев, плюща нос о вагонное стекло, за которым мелькали столбы, скользили, провисая и натягиваясь, белесые провода и медленно вращалась покрытая снегом Ишимская равнина.

Конец марта уже, а за окном зима зимой. Попсуев вторые сутки ехал по распределению в научный и промышленный центр Сибири Нежинск.

— Крупный город-то, Нежинск ваш? — спросил он на платформе Ярославского вокзала у крепко сбитой проводницы.

— А то! — ответила та. — Не промахнешься.

— Театры есть?

— И не только, — и шапочку кокетливо подбила крепкой рукой.

Первые сутки пролетели незаметно. Целый день Сергей развлекал трех симпатичных и смешливых попутчиц фокусами. Демонстрировал силу брюшного пресса, играл в дурака, угощал вином.

— Свердловск! — постучала в семь утра проводница.

В Свердловске девушки вышли, оставив недоеденную снедь. В купе расположились бабка с чемоданом и двумя сумками и мамаша с девочкой,

с единственной авоськой, наполненной едой. Вроде как все без затей, но знакомства с ними не получилось. Сергей для начала вынул изо рта два вареных яйца, но от этого девочка только разревелась, а бабка проверила, на месте ли багаж.

От греха подальше Попсуев полдня проторчал возле окна, мешая расторопной проводнице наводить порядок в вагоне. Время словно обернулось в снег за окном. Картина была однообразна до жути. В обед началась снежная буря, замазав и без того серо-белый пейзаж.

— Через полчаса — Нежинск, — разбудила утром проводница.

— А за Нежинском что?

— За Нежинском? Да ничего, конец света.

Попутчицы спали. Сергей осторожно снял сверху свой чемодан и спустился на перрон. Вокзал был не меньше Ярославского, но все же меньше. Дул хоть и сырой, но еще по-зимнему морозный ветер. Надо же, в Москве трава пробивается, а тут... Хоть похоже на Россию, только все же — не Россия. Или это и есть Россия?..

На троллейбусе Сергей доехал до заводского общежития. В салоне было слышно, как завывает ветер. Все молча глядели в замерзшие окна.

Весь воскресный день Попсуев промаялся в общеяге, тупо глядя на окно (буря улеглась), дверь, обои, потолок. Ему предстояло провести здесь годы своей жизни, и оттого было нерадостно. Ничего, начнутся трудовые будни, а с ними и трудовые подвиги. Сергей не сомневался в успехе: спорт дал ему радость побед, красный диплом, славу какую-никакую, хотя едва и не укукошил его на подступах к спортивному Олимпу.

Ближе к вечеру Попсуев поехал на автобусе в центр изучать полупустые перестроечные магазины и заодно посмотреть какой-нибудь фильм. Глядя на женщин, гадающих возле лотка с сыром, вспомнил Светку с кафедрой. Чего не осталась, предлагала же жениться... Вкушал бы плесень рокфора. И чего носятся с ним? Из-за плесени?..

А в это самое время...

А в это самое время, когда Попсуев развлекал трех девиц, на заводе, куда он ехал, на пятнадцатиградусном морозе под завывание норд-оста грузчики крепили контейнеры к железнодорожной платформе. Отверстия траверс никак не хотели попадать на крепежные стержни. Намучившись с одной платформой, грузчики бежали греться в помещение. Пили чай, стучали в домино, травили анекдоты. Их красные, с резкими чертами лица украсили бы любой пиратский барк.

На стене под вывеской «Место для курения» висел большой портрет Карла Маркса, не одна его голова с седой бородой, как свидетельство материализации призрака марксизма, а еще и верхняя половина туловища в добротном черном костюме. Прямо под Марксом работники и лупили костяшками домино по квадратному столику, крытому белым пластиком, середина которого от многолетнего размешивания костяшек и пиетета перед классиком политической экономии стала черной. Слева от портрета висели схемы строповки грузов, справа — эвакуации из помещения при пожаре. Было проще выйти в дверь, чем понять, зачем эта схема нужна.

Два разбитых, пожелтевших от времени и информации радиоприемника источали местные и союзные вести о горбачевской перестройке, а два крана с горячей и холодной водой для смешивания соединялись над допотопной, в страшных язвах, раковиной в одну резиновую трубку. Независимо от крана, температура воды оставалась неизменно прохладной круглый год. Два кожаных кресла, попавшие сюда не иначе как из ставки адмирала Колчака, выгодно смотрелись на фоне деревянных скамеек, от зеленой окраски которых остались редкие нити на сером дереве. У стены стояли пустые сейфы с огромными навесными замками, тут же лопаты и ломы для уборки снежных заметов и наледи.

Забежал конторский работник, куратор цеха, и стал требовать цепи. Все, разумеется, про цепи услышали первый раз в жизни, никто не знал, о каких цепях идет речь. Конторский стал красочно расписывать эту единственную собственность пролетариата, называя ее марку и ГОСТ, но азарт мешал привставшим с жестких стульев игрокам вслушаться в его слова. Именно так делили когда-то на трехмачтовом барке добычу пираты.

Наконец под страшный стук победной костяшки и рев «Рыба!» игроки дружно послали конторского туда, куда хотели послать его целых две минуты до этого: на зюйд-вест, в сторону заводоуправления, только еще дальше. Проигравший стал бляеть на портрет Маркса, а остальные сели, размешивая кости для новой партии. Не успели разобрать их, как в комнату вошел здоровяк в шубе нараспашку.

— Ну, кто козел, а кто жопа? — прогудел он — и не успел глазом моргнуть, как все игроки уже оказались на платформе.

— Не хочишь ли чайку, Никита Тарасыч, для сугреву? — предложил замешкавшийся бригадир и тоже выскочил на свежий воздух.

День первый

В понедельник Попсуев позавтракал в буфете и по морозцу подался пешком на завод. Справа за высоким забором тянулись здания, слева грохотали грузовики. Навстречу прошкандыбал спортивным шагом лысый бородатый мужик в трусах и майке. «Уже веселее... Пробьемся... Прямо в директора», — стучало у Сергея в висках от быстрой ходьбы. Стучали еще и зубы — пальтишко, купленное в Риме, не согревало. Попсуев с третьего курса, еще до злополучной травмы, видел себя директором завода, почему-то похожим на Сирано де Бержерака. При распределении он специально выбрал Нежмаш, давший отрасли пять начальников главков, министра, академика и несколько докторов наук.

В заводоуправлении продрогший Попсуев нашел отдел кадров, на двери была фамилия Дронов. Усадив молодого специалиста на стул, кадровик расспросил его, попросил паспорт, диплом и направление.

— Ну что ж, сейчас устроим тебя.

Трудоустройство Дронов начал с ветра такой силы, что поколебал тюль на окне.

— Эка пробирает!.. Минутку! — Забросив документы в сейф, Дронов с грохотом повернул ключ и выскочил, оставив дверь открытой.



Кабинет украшали два сейфа и металлический шкаф с пожелтевшими рулонами ватмана наверху. На столе ни одной бумажки, на стенах — картинки и фотографии.

В дверях возник богатырь в шубе и прогудел:

— Дронова нет? Как ни зайдешь — нет! Ветром, что ли, его носит где? — и исчез, окинув молодого специалиста оценивающим взглядом.

На фотографии сбоку от портрета Горбачёва под громадным деревом сбился народ, все с неразличимыми лицами.

— Это я в Кедровке, — раздался за спиной голос Дронова. — Вот он я. С передовиками... Так на чем остановились?

— На трудоустройстве.

— Это запросто. — Дронов разложил перед собой документы. — Никто не заходил?

— Один, здоровенный, в шубе.

— А, Берендей... А не послать ли вас, Сергей Васильевич... не послать ли вас... в третий цех? Пока строчка есть — считай, повезло. Лучший цех, между прочим, премии каждый квартал. Да и уникальный: прокат, химия и механообработка, все в одной посуде — где еще такое встретишь?! Эх, молодость! — неожиданно воскликнул он, заерзав на стуле. — Девки-то прыскают, а? — В глазах его вспыхнули искорки. — Ладно, ступай к Берендею... Погодь, позвоню. Дошел, наверное...

Он взял трубку, нажал кнопку:

— Никита Тарасыч, на месте? Дронов. Да по делам ходил. Что значит «никогда на месте нет»? Я раньше тебя на месте. Берешь, значит? Лады. Погодь. — Он весело подмигнул Попсуеву, посерьезнел, надел очки, стал читать: — «Попсуев Сергей Васильевич, МЭИ...» Твоя специальность. Да, сам расскажет. Да, спортсмен, мастер спорта, по фехтованию.

— В отставке, — произнес Попсуев, но кадровик лишь кивнул.

— Не забыл? Мой должник. Ну, бывай.

Дронов положил трубку, поглядел на Попсуева, словно прощаясь с ним навеки, вылез из-за стола, поправил штору, вручил документы и, крепко пожав руку, сказал:

— Цех вон там. Через час диспетчерская, потом до вечера не поймаешь. Направо окошко, там пропуск выпишут. Значит, мастер спорта? Мастер — это хорошо. В отставке, говоришь?.. Мастера не бывают в отставке. У нас беда с мастерами...

Через полчаса Попсуев сидел напротив начальника цеха, мужчины лет сорока и такой внушительной комплекции, что, казалось, не он сидит за столом, а стол ютится подле него. В Берендее угадывалась немалая физическая сила.

— Вот. — Сергей протянул Берендею документы.

— МЭИ? Спортсмен? Саблист? — Он стал листать документы Попсуева. — Диплом саблей делал? Сам-то откуда?

— Из Орла.

— Понятно. Орел.

Позвонила секретарша.

— Запускай, Надя. А ты присядь вон там.

Белые и синие халаты, шапочки и косынки быстренько расселись, как белые и синие птицы, клюнув новичка своими острыми взглядами. «Словно в операционной, — подумал Сергей, хотя что именно напомнило ему операционную, где его вытащили с того света, сказать не мог. Пройди тогда сломавшийся клинок итальянца чуть выше — и привет: камзол как масло прошил. — А-а, их взгляды как клинки. Да ну, чушь...» А еще он вспомнил пожухлые вялые стебли вечнозеленых растений больницы, таких же больных на вид, как и вечно больные люди рядом с ними.

Какое-то время было оживленно. Попсуев ловил на себе взгляды, а хорошенькая женщина лет тридцати с правильными чертами лица, севшая напротив него, глядела строго. На ней был отутюженный, сияющий белизной халатик. Несколько мгновений она всматривалась в него. Сергей ощутил смутное беспокойство, словно она высматривала у него что-то внутри, чуть ли не душу. Ишь, сканирует... Удивительно светлая, прозрачная, как льдинка, женщина.

«Если ее раздеть, — подумал Попсуев, — сквозь нее будет видна противоположная стена». Его продрал озноб. Он подвинулся чуть в сторону — на стене за нею была какая-то схема, стрелки, квадратики, цифры, слова. Женщина повела плечами, глянула на Берендея. Она притягивала внимание Сергея, как магнит. С трудом отвел он от нее взгляд.

Берендей в это время проглядывал журналы и амбарные книги. Цепко и быстро, изредка проверяя что-то на калькуляторе и записывая на отдельный листочек. При этом он следил и за присутствующими. Минутная стрелка на часах дрогнула, и все тут же замерли, словно она и в каждом из них сравнялась с отметкой «12».

— Ну-с, — сказал начальник, отложив журнал, — опять брачок-с на прокате пошел. Михальч, в чем дело, а? Не слышу... Картина Левитана «Над вечным покоем». Язык-то расчехли. Выход за март свела? — обратился он к женщине напротив Попсуева. Та кивнула головой. — Покажешь потом. В чем дело, Борис Михайлович? Ролики сменил?

Минут двадцать шел разбор полетов, затем Берендей представил Попсуева:

— Молодой специалист Сергей Васильевич Попсуев. МЭИ. Мастер спорта по сабле, так что не задирайтесь. Холост. — Берендей кинул взор на ледяную женщину.

Попсуеву показалось, что та как-то по-другому взглянула на него, чуть ли не с жалостью, взметнув в нем вихрь слов. «Странная. Снежная королева. Поцелует — и помрешь. На ребенка похожа. Есть такие дети, чересчур взрослые, им неловко смотреть в глаза. Наверное, ни разу в жизни не улыбнулась. Строгая, несмеяна...»

Берендей между тем представил новичку своего зама по общим вопросам Закирова Ореста Исаевича, технолога цеха Свияжского Петра Петровича и начальника бюро технического контроля (БТК) Светланову Несмеяну Павловну.

Попсуев при имени Несмеяна переспросил:

— Как?

Женщина, строго глядя на Попсуева, внятно произнесла:

— Светланова Несмеяна Павловна.

И голос у нее соответствовал внешности: в нем звенели льдинки, и эти льдинки были острые и очень ломкие, в них было мало жизненной энергии, что для начальника БТК было весьма странно.

Попсуев смотрел ей в глаза и чувствовал холодок на спине. Ему показалось, что все ждут, чем кончится этот поединок взглядов. Зеленые глаза были удивительной красоты! Попсуев отвел взгляд первым и заметил, как Закиров усмехнулся. Сергею стало досадно, и он снова поднял глаза на женщину. Та что-то записывала в блокнотик.

Берендей представил по очереди остальных собравшихся, но Попсуев запомнил только начальника одного из участков Попову Анастасию Сергеевну, да и то только потому, что она была совсем старенькая, маленькая, сморщенная, как годовалая картофелина. «Сколько ей? Лет семьдесят? Неужели такие старушечки работают?» — мелькнуло у Сергея в голове.

Он, даже не глядя на Несмеяну, видел только ее одну, понимал, что она заняла все его мысли, неожиданно встав стеной на пути любому другому слову, сковав все чувства в ледяной ком. Просто какая-то вечная мерзлота!

Берендей глянул на часы:

— Еще пару минут. Лирическое отступление. Орест Исаевич, как Фрунзик?.. Сергей Васильевич — тебе одному: мы тут, не думай, не только план куем. У нас ворона живет, собака, кот, дикие создания, пришлые. Не гоним их, ибо гуманисты. А из культурных для экологии (комиссиям показываем) завели курочек и петушка — истый кавказец, рыбок-меченосцев, попугая ару, вот с таким носом, как у Мкртчяна. Страшный матерщинник, Несмеяна Павловна не даст соврать. У него свой подход к контролерам. Мы-то сами пытаемся с женщинами язык не распускать...

Анастасия Сергеевна весело воскликнула:

— Ага, пытаются они!

— Зато этот пернатый отрывается по полной. А на той неделе повысил голос и на меня. Подозреваю, Смирнов — из твоей бригады, Попсуев! — науськал. Сегодня утром он обозвал меня... ладно, не буду. Терпение лопнуло! Орест Исаевич, готовь приказ! Пиши: «Уволить на хрен носатого аппаратчика Фрунзика». В цирк его! Или секретарю парткома!

Под улыбки персонала диспетчерская закончилась.

— Так, а с тобой, Сергей Васильевич, сейчас небольшую экскурсию проведет Закиров.

Получив от начальника напутствия, Сергей в сопровождении его зама покинул кабинет. В коридоре Несмеяна Павловна разговаривала с двумя девушками в белых халатах. Одна из них улыбнулась.

— Попсуев, — строго спросила Светланова, — когда в ОТК спуститесь?

— Как только — так сразу, — ответил он и подмигнул той, что улыбнулась.

— Свое пусть изучит! Ты, Несь, главное, позови! — Закиров увел Сергея. — Пошли в кладовку! Как тебе наша царевна? Мир со смеху будет помирать, она не улыбнется. Хотя улыбку ее лучше и не видеть.

— Замужем?



— Да нет... Сюда.

Они протиснулись в дверь, за которой стояла бочка с чем-то черным, и оказались в кладовке, пропитанной запахом хозяйственного мыла, ваксы и спирта. Кладовщица выдала Попсуеву робу, тяжелые ботинки и тканевые верхонки. В раздевалке Закиров показал Попсуеву свободный шкафчик. Сергей переоделся, и они пошли в цех.

— Цех наш бабьим царством зовут. Женщин четыреста на восемьсот мужиков, но они нас одной левой кладут. Подоконник под лестницей — кузня. В ночные смены холостяков ловят и сюда волокут.

— Холостят?

— Да не до шуток бывает. Дорога отсюда прямо в загс... Заартачишься — в партбюро-цехком. А там секретарь и председатель — бабы...

— А чего их выбрали, раз вас две трети?

— Вас-нас... Вырождаемси-с!

Когда они вывернули из перегнутого на несколько раз, заделанного бежевым пластиком коридорчика, перед ними открылось громадное помещение, наполненное сизоватой дымкой, запахом масла, лязгом и грохотом. Вдоль стен шли автоматические линии. Через равные промежутки стояли станки, тянулись подвешенные кабели и трубы различного диаметра и цвета. Справа и слева от центра пролегли рельсы узкоколейки, туда и сюда катились вагонетки, поперек, лавируя между изоляторами брака и штабелями ящиков, юлили тележки, электрокары, наверху, то и дело гулко дергаясь и страшно скрипя, ползал мостовой кран. Непонятно откуда доносились вперемешку и по отдельности мужские и женские голоса. Кто-то истерично смеялся. От тяжких ударов молота в сизой глубине цеха содрогался пол. Гулял ветер, обдавало то жаром от печей, то холодом от ворот, пропускавших машины. На балке сидела ворона.

Попсуев не бывал еще на таком огромном производстве. Практику он проходил в институтской лаборатории имени Карабаса Барабаса. Самой яркой жизнью жили лаборантки, проповедовавшие свободу любви, а самой тусклой — ученые, рассуждавшие о свободе творчества.

Поводив Попсуева по второму корпусу, Закиров привел его в свой кабинет, выдал для изучения рабочие и должностные инструкции и бумаги по технике безопасности, попрощавшись до завтра.

От чтения постоянно отвлекали. То заглядывали в кабинет производственников в зеленых робах, синих и серых халатах и спрашивали Закирова, то в белых халатах, отэкушки — эти ничего не спрашивали, только хихикали. К тому же дверь плотно не закрывалась, и было слышно все, что творится в коридоре. Меняли лампы дневного света, тянули кабель, мыли пол. Потом возле мужского туалета две технички, перебирая сокровенные мужские тайны, во весь голос обсуждали причину появления луж возле писсуаров. Сергей заметно повеселел.

В шесть часов Попсуева разобрал голод, и он вспомнил, что пропустил обед. Тут и день рабочий кончился, и новоиспеченный мастер поспешил в общаговский буфет. Жизнь уже казалась ему не такой серой и скучной.

Так нельзя больше!

Работа в цехе велась круглосуточно в три смены, но для лучшего знакомства с производством Попсуева определили в первую — в остальное время его подменял бригадир.

Узнав, что Берендей в тридцать лет стал начальником цеха и уже девять лет руководит коллективом, Сергей решил повторить его путь. С утра он осваивал операции, а после обеда изучал ветхие, захватанные пальцами, пропитанные запахом масла инструкции и чертежи, время от времени посещая участок, дабы приглядеть за рабочими. Как-то, проходя мимо чайной, услышал рыдания. Заглянул. Аппаратчик Валентин Смирнов, упомянутый Берендеем на диспетчерской, присосавшись к бутылке, судорожно глотал вермут. Оторваться от бутылки он не смог. Попсуев ткнул в него пальцем и голосом Левитана произнес:

— Еще увижу — уволю к едрене фене! — и вышел.

Смирнов от спазма глотки закашлялся и побагровел. Со смены Валентин ушел очень веселый.

— Грядут перемены, — пророчески изрек он в душевой. — Ой, ребята, этот змей похлеще Берендея будет. Жизнь при нашем царе Лёне была лучше и ядреней.

По-свойски Валентин посетовал и Берендею, но тот только радостно рявкнул:

— Давно так с тобой надо! Скройся с глаз!

После смены Попсуев поднялся к Закирову. Проходя мимо открытой двери кабинета ОТК, он услышал:

— Попсуев! Можно вас?

Светланова сидела в кресле и холодно смотрела на него.

— Никита Тарасыч попросил показать мое хозяйство. Завтра в восемь двадцать жду вас здесь.

Попсуев поклонился и вышел.

— Она всегда такая? — спросил он у Закирова.

— Всегда, — ответил тот. — Ты в общагу? Айда ко мне: Нинка к матери ушла, перекусим. Это хорошо, что она такая. Благодаря ей наш цех три года кряду занимает классные места.

Двухкомнатная малогабаритная квартира на втором этаже выходила окнами на узкую улицу, по которой нескончаемым потоком громыхали на выбитой дороге машины. Закиров достал из холодильника кастрюлю с борщом, нарезал колбасу, сыр, задумчиво посмотрел на четвертушку бородинского хлеба.

— А позовем-ка твою Несмеяну. Она выше живет.

По спине Попсуева пробежал холодок, а внизу живота сладко запыло.

Через пять минут Закиров привел Светланову.

— Здравствуйте, Несмеяна Павловна, — произнес Попсуев.

Та удивленно взглянула на него:

— Здравствуйте, Попсуев, коль не шутите.

— Вы чего это?.. — спросил Орест. — За знакомство?

— А вы давно знакомы? — обратился Сергей сразу к обоим.

— Да лет двенадцать уже, а? — посмотрел на Несмеяну Орест. — На вступительном познакомились. Она шпоры в чулок заложила, а они вниз скатились, к щиколоткам...

— Как у петуха — шпоры, — сказал Попсуев, рассмешив Ореста. Несмеяна лишь скользнула по нему холодным взглядом.

Светланова сосредоточенно хлебала борщ.

«Как она похожа на ту девочку...»

Борщ был отменный. Какой и должен быть, каким помнил его Попсуев. Тогда ему было лет семь...

На кремовой скатерти из далекой Венгрии, с вышитыми готическими темно-вишневыми буквами и узорами. В глубоких фарфоровых тарелках с двойной тоненькой красной каемкой в подтарельниках. Отдельно — тарелочка для косточек. На блюдечке красный перчик с косо отрезанным кончиком. Он его никогда не давил ложкой в тарелке — не разрешали, но очень хотел. В старинной селедочнице (не из сервиза) — нарезанная мясистая селедка со сладкими плавничками в душистом горошке и прозрачных колечках лука. Самодельная горчица, бьющая в нос, с крохотной золотой ложечкой. Мама с улыбкой разливает из супницы золотистый густой борщ, отец булькает ему в тонкий стакан крющон, затем вытаскивает массивную пробку из хрустального графинчика, наклоняет его над рюмкой мамы, вспыхивают лучики...

— А теперь — за здоровье! — сказал Орест.

Орест и Несмеяна перебрасывались короткими фразами о чем-то своем. Сергей слушал их и не слушал, пребывая в воспоминаниях о воскресном пире далекого детства, глубоких тарелках, с которых мама после обеда, что-то рассказывая и смеясь, сначала снимала салфеткой, а потом отмывала в тазике жирный золотисто-красный ободок.

— Говорят, вы спортом высоких достижений занимались? — спросила Несмеяна.

— Занимался.

— А что ж не достигли? По возрасту вышли? Не старый еще... И чего на завод? У нас ведь тут скуотища. Как и в спорте.

— Разве?

— Конечно! — усмехнулась Несмеяна. — Плавала, знаю. Цикл за циклом, туда-сюда, двадцать дорожек, десять, две. А в эстафете вообще абзац: первая! первая! первая!.. сердце в голове колотится.

— Сергей фехтовал, — сказал Орест. — Там не успеешь зациклиться.

— Там и думать некогда, — подхватил Попсуев, облизав ложку.

— Ничего удивительного, — согласилась Несмеяна. — Мне у братьев Гримм сказка нравится, «Три брата». Там младшенький до того лихо крутит шпагой, что под дождем сухой остается. Можете так?

— Думаете, фехтование — это только вот это? — спросил Попсуев, вращая кистью ложку.

— Думаю, — спокойно ответила Несмеяна.

— Там одних технических испытаний...

— Сколько? — насмешливо спросила Несмеяна.

— Шесть. На растяжение, на разрыв, на структуру...

— Это вас испытывали? — Женщина явно провоцировала его, но вдруг сменила тему: — Как там деканат поживает?

— Да живет как-то, — сдулся Сергей.

— Исчерпывающе... Вкусный борщ, Орест, спасибо. До завтра, коллеги.

Закиров проводил Несмеяну.

— Я сморозил не то? — спросил у него Попсуев.

— Да нет, все в порядке. Она такая. Жалко ее.

Сергея потрясло это признание. «Жалко? Чего ее жалеть?» Посидев немного, он попрощался с хозяином и пошел спать. «Чего я глупею рядом с нею? Первый раз такое! — Ему досадно было ощущать себя мальчишкой, запавшим на сумасбродку. — Чего подкалывала? Тоже за пала?»

Ночь прошла в полудреме. Сергей долго ворочался в плену возбуждающих картин. Под утро ему приснилось, что Несмеяна не может отворить дверь своего кабинета, а он помогает ей, прикасается к ней, чувствует ее тело. Она отстраняется, тут же льнет к нему, а дверь никак не открывается...

— Нет, так нельзя больше! — ревел утром Попсуев под ледяным душем.

Вечная мерзлота

В восемь двадцать Сергей зашел к Светлановой. Молча кивнули друг другу, словно уже виделись сегодня. Попсуев смотрел, как Несмеяна закрывает дверь, и вспомнил о своей предутренней полудреме. Хотел сказать ей об этом, но раздумал. Потом решился, но все равно не сказал. Так и шли молчком, хотя его так и подмывало спросить у гордячки, с чего это широкий подоконник под лестницей называют «кузней».

В комнате ОТК контролеры сидели вдоль стен, как белые курочки на насесте. Одни что-то жевали, другие болтали или вязали. Светлана представила Попсуева.

— А это правда, что вы мастер спорта? — спросила та, что улыбнулась ему в коридоре. Тело ее так и играло под халатиком.

— У вас повод? — Сергей указал на два торта. — Поздравляю. Кого?

— А если меня? — подошла улыбчивая вплотную к нему, так что он ощутил запах ее духов.

Попсуев взмахнул руками, и именинница забарахталась, как муха в паутине, в кольцах широкой синей ленты, крепко охватившей ее стан. Попсуев прикоснулся губами к ее свежей щечке и произнес:

— Поздравляю.

В комнате поднялся визг и смех. Все сбились вокруг них, освобождая пленницу от ленты и удивляясь, как это Попсуев умудрился с лету окрутить девушку. Хитрого ничего тут не было: тренировка... да была бы лента припасена.

О Светлановой на минуту забыли. Та пережидала, когда барышни угомонятся.



— Попсуев, — прозвучал наконец ее голос, — дайте ленту!
— Лента, пардон, подарок... — Сергей смотрел на именинницу.
— Татьяна, — сказала та.
— Татьяне. С днем рождения, Танюша.
— Так, девушки, восемь тридцать. По местам! — скомандовала Светланова. — Попова, в перерыв зайдешь.

— Чересчур строги вы с персоналом, Несмеяна Павловна! — сказал Попсуев, когда они вышли из комнаты.

Несмеяна презрительно улыбнулась:

— У вас, Сергей Васильевич, есть опыт иного обхождения с подчиненными? Извините, мне туда.

— А кто ж мне покажет владения ОТК? — произнес Сергей, глядя ей вслед.

Светланова не оглянулась. Вечная мерзлота! Но какая грация!

«Под белою кожей арктический лед и капельки яда на кончике фраз. Откуда в осе этот липовый мед? Откуда закваска, откуда экстаз?» — написал Попсуев на бумажке, свернул клочок вчетверо и сунул в кармашек рубашки.

Такая вот она, Несмеяна Павловна

Спроси художника, что главное в облике Светлановой, и тот не задумываясь скажет: «Царская статья». Несмеяна Павловна была царственно самонадеянна, уверена не только в себе, но и во всех, кто рядом. Это порой раздражало окружающих, но и заставляло уважать ее. Несмеяне Павловне нельзя было соврать, потому что никто не мог, глядя в ее глаза, покривить душой. С нею было проще согласиться, чем спорить. Она не отстаивала свою точку зрения с пеной у рта, не повышала голоса, никогда не требовала ничего сверх того, что было положено. Именно это выводило из себя непорядочных людей, когда им тыкали в лицо их же разгильдяйством. Ладно бы потребовала чего-нибудь заведомо невыполнимого, можно было бы отмахнуться и даже послать куда подальше. Ей было все равно, кто перед нею — токарь или главный инженер, одними и теми же словами она требовала немедленного ответа. В этом смысле она была идеальным руководителем цеховой службы ОТК. Это понимали все, от контролера первого разряда до директора завода. К слову сказать, когда директор однажды обронил в разговоре, что думает сделать Светланову своим замом по качеству, к нему тут же потянулись начальники цехов с просьбой повременить, «а то придет всеобщий пипец».

Свою работу в должности мастера ОТК Светланова начала в десятом цехе на участке комплектующих заготовок, где ей сразу же сказали, что сначала план, а потом уже качество. Несмеяна выслушала и возразила, что она закончила с отличием вуз и прошла практику на одном из лучших заводов министерства под Москвой, и у нее на этот предмет есть свой взгляд: прежде всего качество, а уж потом и план. И что она не пропустит брак ни под каким соусом.

— Романтичная бабенка! — переглянулись производственники, но когда она в первый же день вернула половину дневной выработки, а на

следующий день всю, поставив под угрозу месячный план цеха и завода, ее вызвали к главному инженеру Некрасову.

Она пошла к нему в сопровождении двух контролеров. В предбаннике мастера поджидал не по чину суетливый начальник ОТК Чугунов.

— Вас пригласили одну, — сказал он ей.

— А я пригласила еще двоих, — ответила она.

Чугунов не нашелся чем возразить. «Тряпка», — лишний раз убедились контролеры.

Зашли в кабинет. Там сидели начальник цеха с технологом.

— А вот и соколиный глаз, — кивнул главный инженер на стулья и тут же привычно повысил голос: — Да ты знаешь, мастер ОТК, девчонка!..

Девчонка вдруг встала и звонким ледяным голосом отчеканила:

— Я — Несмеяна Павловна! Если вы, Владимир Ильич, позволите себе еще хамить, я уйду.

Некрасов погасил свой гнев, но с раздражением спросил:

— Зачем вы привели контролеров... Несмеяна Павловна? Я вызвал вас одну.

— Они покажут то, что вы предлагаете мне пропустить, закрыв «соколиный глаз», в годные. Девочки, покажите главному инженеру. А он вам скажет, пропускать это или не пропускать.

Контролеры достали из сумки две болванки, забракованные по геометрическим размерам и по внешнему виду, и бухнули их Некрасову на стол. Тот наклонился, разглядывая, коротко вздохнул. Раздраженно ткнул пальцем:

— Тут явно чистота не та... А тут что, в минусе?

— Да, на десятку провалились.

— И что, все такие? — В голосе его был вопрос-ответ: ведь нет, только эти одни?

— Нет, процентов тридцать годные.

Некрасов сухо кивнул и, мрачный как туча, стал ждать, когда женщины покинут кабинет. Не успели они закрыть двери, за их спиной начался такой разнос, которого потом долго не слышали в дирекции. После этого начальник ОТК избегал всяких встреч со Светлановой и в цех посылал своего зама, а в цехе к ней все стали обращаться по имени-отчеству.

— Некрасов-то зачистил в десятый цех, — зашептались через две недели заводские кумушки.

Самодеятельность

В конце смены позвонила секретарша Берендея, тот вызвал Попсуева к себе на семнадцать часов. Осенью цеху сорок лет, надо готовить самодеятельность. В кабинете Сергей увидел среди прочих Закирова, Светланову и Татьяну.

— Значит, так, — начал Берендей. — В прошлый раз мы договорились начать с акробатов. Стас, Татьяна, шпагата и статики поменьше.



Поноси ее на вытянутых руках. Смотри не урони, Лиэпа. На заднем плане проплывают образы ветеранов. Портреты готовы?

— Может, из Политбюро кого? — спросила секретарь партбюро.

— Остынь, Петровна, — отклонил предложение Берендей. — Рассаду высадила? Вот и хорошо. Займись-ка ты лучше спортсменами. Лето короткое, но позора может много принести. Кстати, он, — начальник указал на Попсуева, — мастер спорта, да еще международного класса!

— Сдается мне, мастер будет хорош в художественной гимнастике, с лентой, — бросила Несмеяна. — Он сегодня провел у нас мастер-класс.

— Правда, что ль? Выступишь?

— Только после ее поцелуя.

Светланова, поджав губы, покинула кабинет. Берендей мрачно посмотрел ей вслед.

— Ты, Сергей Васильевич, не трогай ее, Христом Богом прошу!

— Хорошо, Никита Тарасыч. Я ж только подыграл ей.

У проходной возле доски объявлений маячила Татьяна. На ней было светло-коричневое пальто, модные сапожки, шапочка, хорошо оттенявшая и подчеркивавшая ее упругие щеки и задорный носик. В свете фонаря она золотилась, как подсолнух. От Сергея не ускользнуло, что на доске новых объявлений нет. Он ускорил шаг, так как не хотел задерживаться, но девушка обернулась и улыбнулась ему.

— Домой? — поинтересовалась она. — Как вы ее!

— Кого?

— Царевну нашу. Смотрите, начальник опекает ее.

Они вышли через одну вертушку.

— Анастасия Сергеевна — родственница? — спросил Сергей, вспомнив, что у Татьяны и начальника его участка одна фамилия.

— Бабушка. Она меня и устроила в ОТК.

— Хорошо в ОТК?

— А чего плохого? Чисто и радостно. На шестой разряд сдам, бригадиром стану, мастером. Мне царевна пообещала.

— А разве от нее это зависит?

— А от кого? Она ведь что решит, то и будет. Даром что одна живет.

— Семьи нет?

— А вы не знаете? — недоверчиво покосилась на него Таня. — Закиров не сказал? Они вместе приехали из Москвы, Несмеяна и Орест... нет, не в том смысле, что вместе: они из одной группы, оба холостые... Как вы.

— А я, может, не холостой...

— Ага, знаем!.. Закиров сразу к нам попал, а Светланова в десятом на входном контроле работала. Однажды попалась она на глаза Некрасову...

— Кто такой?

— Главный инженер, бывший. Увидел ее и зачистил на входной. Оборудовал там все, а через полгода в контору перетащил, руководителем группы. У обоих заклепки полетели, целый год такой лямур стоял, что в главке завидовали. До Некрасова, говорят, царевна с Берендеем встречалась, тот даже жениться на ней хотел, а тут эта блажь...

— У Светлановой — блажь? — вырвалось у Попсуева.

— О, да вы неровно дышите к ней... Как-то в ДК Берендей пошел к Некрасову в коридоре и пригрозил, если тот не женится на Несмеяне, то прибьет его. Говорят так. А тому куда жениться: дети, супруга — родня замминистра. Он, правда, не из пугливых был, Некрасов, но так совпало, что через месяц укатил со своими в Москву на повышение. Берендей тут же уломал начальника ОТК перевести Несмеяну к нам. Теперь вот мается. Он даст команду, а эта свое гнет. Кому понравится? Наверно, не рад уже. Говорят же: своих не держи под собой, на шею сядут.

— Она же не в его подчинении, — возразил Сергей.

— Попробуй его послушаться.

Долго шагали молча, не чувствуя неловкости от молчания. «С такой свяжешься, не развяжешься, — думал Попсуев о Несмеяне. — А Танька ничего, шпагат делает... и ладненькая такая. Интересно, Стас Михайлов кто ей?..»

— Может, в кино ходим?

— Ой, давайте! — с готовностью откликнулась Татьяна. — В ДК «Дон Сезар де Базан» идет! С Боярским! Про любовь!

Не спится

С Таней Сергей встречался каждый вечер, сначала по инерции, лишь бы как-то убить время, а потом и втянулся. Перестал обращать внимание на простоватость девушки и на ее прозрачные намерения женить на себе. Она охотно целовалась, позволяла обнимать себя так, что становилась расплывчатой грань между дозволенным и недозволенным, но, однако же, к недозволенному еще не подпускала. Через две недели Татьяна сроч-но улетела к заболевшей тетке в Ленинград.

— Ты тут смотри! — сказала она Сергею в аэропорту.

Попсуев заскучал было без нее, но скука не мешала ему поглядывать на девушек, которых к концу апреля стало как дыплят. При этом он поймал себя на том, что они все своей кажущейся недоступностью напоминают Татьяну.

Таня вернулась в среду, а в субботу они вечером пошли в молодеж-ное кафе. Через три столика сидели Берендей с Несмеяной и Закиров с женой. Попсуев поздоровался с ними сдержанным кивком головы. Таня помахала рукой, как показалось Сергею, несколько фамильярно.

— У царевны вчера день рождения был.

— Отмечали?

— Торт, конфеты где-то нашла — и на том спасибо. В прошлом году, на тридцать лет, шампанское принесла.

— Поздравить надо.

— Поздравь.

Попсуев подошел к имениннице и взял из воздуха (из внутреннего кармана пиджака) коротышку розу, которую припас для Татьяны, с поклоном преподнес:

— Это, сударыня, вам.



Та встала и поцеловала его в губы. Губы ее, такие невинные, были в вине. В гибельном вине! И от них нельзя было оторваться. Пронзительное ощущение мимолетности счастья... Что-то вроде мгновенной боли. Той, когда его пронзил сломавшийся клинок и он потерял сознание.

— Идите к нам, разместимся вшестером, — сказал Берендей, пожимая руку Сергея. — Не возражаешь, Несь?

Светланова подошла к Татьяне и подала ей руку. Та удивленно посмотрела на нее.

Перенесли стулья, тарелки, бутылки.

— А можно мне тост? — спросила Татьяна.

Никита Тарасович, поднесший уже рюмку ко рту, глянул на собравшихся и, не отводя рюмки ото рта, кивнул: произноси, только скорей.

— Позволь, Несмеяна Павловна, пожелать тебе счастья.

— Все? — спросил Берендей и опрокинул рюмку. — Спиши слова.

— Как там город на Неве? — спросил Орест. — Из музеев, наверно, Тань, не вылезала?

— Какие музеи? В больнице три дня просидела.

— А ты, Сергей, в Ленинграде бывал? — Попсуев не поверил ушам: прилюдно «ты»; взглянул на Несмеяну. Та с насмешкой смотрела на надувшего щеки саксофониста, гривастого, с пролысинами, молодца лет пятидесяти, и в ее глазах был огонек.

— Бывал. На соревнованиях, а в детстве вообще при цирке жил.

— Родители — циркачи? — спросил Берендей.

— Да, — ответил Сергей, — цирковая семья.

— А чего же не пошел по их стопам? — спросила Нина, глядя то на Несмеяну, то на саксофониста. — Классно играет.

— Классно дует, — поддакнул Попсуев; ему очень хотелось хоть как-то зацепить Несмеяну. — Не лопнул бы.

Когда музыканты отложили инструменты в сторону, Сергей подошел к саксофонисту. Посмотрев на его взлохмаченные волосы и оценив не по годам экзотический вид, произнес запомнившуюся фразу:

— Что за польза тебе в спутанных волосах, о глупец! Что за польза тебе в одежде из шкуры! Ведь внутри тебя — джунгли, ты заботаешься только о внешности.

Саксофонист взял за грудки Попсуева, но тот с усмешкой развел его руки, и в них оказалась свернутая в трубочку «Вечерка». Барабанщик в восторге схватил палочки и выдал дробь. Несмеяна, как показалось Сергею, улыбнулась. Но ему улыбка царевны показалась такой далекой и не ему предназначенной, что он поспешил вернуться к Тане.

Попсуев преуспел в комплиментах, а Татьяна, чутко уловив сомнения кавалера и не дав им развиться до болезненного состояния, поспешила увести его из кафе в общежитие. Сергей под утро лежал на спине, глядя в потолок, слушал дыхание девушки, прижавшейся к нему, думал о Несмеяне и о том, что теперь потерял ее навсегда.

— Не спишь? — произнесла Татьяна. — Я слышу твои мысли.

— Они о тебе. Спи, спи...

— А стихи ты ей написал?

— Какие стихи?

— Да у тебя бумажка выпала, — зевнув, Татьяна вытащила из-под подушки листочек, — вот эта: «Под белою кожей арктический лед и капельки яда на кончике фраз. Откуда в осе этот липовый мед? Откуда закваска, откуда экстаз?» Это ты ей написал?

— Кому?.. Это Тютчев России посвятил. Спи, поздно уже.

Сергей осторожно освободился из объятий девушки, подошел к окну. Непостижимым образом он ощущал каждой клеточкой своего тела пустоту комнаты. Будто в ней летало всего несколько фотонов света или других элементарных частиц. Может, это оттого, что пусто внутри него самого? Синее пространство замерло в ожидании утра, в ожидании восхода солнца. Как оно похоже на схваченную ледком душу. Оно ждет света, а когда свет озарит его, придет вдруг в смятение, так как ждало совсем не того... А чего?..

Попсуев вздрогнул. Ему послышался голос Несмеяны.

— Чего не спишь? — опять спросила Татьяна.

То трещины, то дырка

Отлакированная поверхность стола была покрыта сеткой трещин, а на шкафах отслоилось несколько полосок. Похоже, мебель завозили в сильный мороз. Стенка не новая.

— Зимой переезжали? — спросил Попсуев.

— Зимой, — не сразу ответила Несмеяна. — Как догадались?

— Да так... — ответил Попсуев. — А до этого жили где?

— В другом месте.

Попсуев понял, что сморозил чушь, но продолжил:

— Привыкли к новому месту?

Несмеяна насмешливо посмотрела на него:

— Почему это интересует вас?

Попсуев пожал плечами. Ему было не по себе, будто кто-то торопил его непонятно куда.

— Впрочем, я понимаю вас. Жилье только на заводе можно получить, да и то не сразу. Будь ты хоть семи пядей во лбу.

— Зачем семь пядей? Они только мешают. У вас есть клей, БФ или «Момент»? Полоски отошли.

— На холодильнике. — Несмеяна занялась сумкой и стала вынимать из нее отоварку по талонам. — Ты глянь, мясо — мякоть одна. Спасибо, Сергей Васильевич, что помогли донести. Сейчас разложу, чай попьем. Раздевайтесь. Разуваться не надо, пол холодный. Тапок нет.

Попсуев тем не менее разулся, повесил на вешалку полушубок, стал приклеивать полоски. Это заняло у него пять минут.

— Я пошел? — сказал он.

— Чайник закипает. Вымойте руки.

Сергей заметил дырку в носке и стал ходить поджимая пальцы.

За чаем молчали. Попсуев удивлялся себе, так как в женской компании его обычно несло. Несмеяне, похоже, нравилось это молчание. Заметно было, что она вся в себе.

— А вы где жили... — Попсуев закашлялся, — когда учились в институте?



— В общежитии, в четыреста двадцатой комнате. Хорошие были времена. Все впереди. Похоже на ту крышу со снегом: все беленько, гладенько, чистенько, высоко, а поскользнешься... — Несмеяна взглянула на Сергея, тот закивал головой. — Что вы киваете? Вам-то откуда знать про падения?

Попсуев пожал плечами. Действительно, откуда ему знать?

«Да, Серёга, нынче не твой день!»

— Что бы ни случилось, самое дорогое у человека — это жизнь, — сказал Сергей и тут же одернул себя: «Опять не то!»

— Жизнь, говорите? — усмехнулась Светланова. — Поймете скоро, что квартира. Дороже ее ничего нет. Столько стоит, что на нее и жизни не хватит.

— А вы не придете ко мне?! — Наконец Попсуев произнес то, что давно хотел сказать. Ему так хотелось пригласить ее куда-нибудь — в кафе или лучше в ресторан, но, увы, денег совсем не было, так как первую зарплату Сергей потратил на полушубок, без которого в такую весну никак нельзя было обойтись.

— К вам? Зачем?

— В гости. У меня есть отличный альбом импрессионистов, дрезденский! Из Германии привез. Кубки покажу...

— А вы что же, в Германии бывали?

— Я много где был: в Италии, Венгрии, Франции, Испании.

— Да? — с недоверием посмотрела на хвастунишку Светланова. — Везде были?.. Не знала, что у вас своя квартира.

— Вы же знаете, я в общежитии живу, в четыреста двадцатой комнате. Приходите!

— А, тоже четыреста двадцатая... Видите ли, по общежитиям не хожу. Девочки мои, не все правда, ходят. К ним обратитесь.

Когда Сергей засобирался домой, Несмеяна бросила:

— Чего стесняешься? Подумаешь, дырка в носке... Да, пока не забыла: женщин не спрашивают, женщинам предлагают.

Дорогой Попсуев чувствовал себя муторно — не мог избавиться от досады на самого себя. А Несмеяна, похоже, он до лампочки. Что он, что дырка в носке, лишь бы подколоть. Вот только с «вы» на «ты» прыгает.

«Не спрашивать? Предлагать?.. Погоди, предложу такое, от чего не откажешься!»

На пути к успеху

Без мастера любое дело — халтура, особенно на заводе. Попсуев не терял время: за год он поднаторел и стал змеем похлеще Берендея. Поблажек никому не давал, но и себя не жалел, а, когда надо было, за рабочих стоял горой. С ними он был на равных, хотя и не запанибрата. Больше всех зауважал мастера после окрика в чайной Смирнов. Это стало ясно, когда он, к всеобщему удивлению, перестал пить. Не вообще, а на работе. До этого даже Берендей, изгнавший пьяниц из цеха, махнул на него рукой, «не замечая» залетов Смирнова, хотя и устраивал тому раз-

нос наедине. С Валентином начальник соседствовал и испытывал к нему явную симпатию.

Что касается отношения Никиты Тарасовича к молодому специалисту, он готов был хоть завтра сделать Попсуева старшим мастером. Ему понравилось, как новичок с ходу стал бороться с браком, что другие мастера начинали делать, проработав в этой должности не меньше трех лет. К тому же бороться не ловлей блох, а копанием вглубь. Сергей не стал отыскивать изъяны в давно отлаженном техпроцессе методом тыка, а пытался решить проблему с привлечением неведомого пока заводским инженерам математического планирования эксперимента. Со смены Попсуев шагал в заводскую библиотеку, рылся в статьях и монографиях, натащил в общагу две сумки литературы и с Татьяной встречался только по субботам.

— Что с тобой? — спрашивала она. — Не заболел?

— Задание получил, — объяснял он девушке свою занятость и усталость. — Видишь, сколько надо изучить. Реферат пишу.

— Кому?

— А туда, — небрежно махнул рукой вверх.

Однажды Попсуев почувствовал легкое беспокойство, скользнувшее за проблесками интуиции. Долго не мог уснуть, а утром вдруг одним панорамным взглядом увидел во взаимосвязи все технологические операции, параметры оборудования, показания приборов, химсостав металла, понял, где рождаются и пропускаются дефекты и как сократить их число.

«Тут же — диссер!» — застучало сердце. Из Москвы по куда меньшим проблемам каждый квартал приезжали специалисты, роющие себе материалы для статей и степеней. От восторга Попсуеву хотелось тотчас поделиться со всеми своими соображениями, но он вовремя сдержал себя: надо довести до ума, все обработать, составить докладную на имя главного. Нет, сначала познакомить Берендея.

Не откладывая в долгий ящик, Сергей в воскресенье нагрянул к начальнику домой и посвятил того в свои честолюбивые замыслы. Никита Тарасович был наслышан о новинках инженерной мысли, взятых на вооружение Попсуевым, и, недовольный бездействием технолога цеха Свяжского и бестолковостью творческих групп, дал мастеру карт-бланш. Задача предстояла сложная: обосновать ужесточение границ в технических условиях, что выходило на уровень нескольких главков. Эту заботу Берендей взял на себя, но предупредил:

— Будь готов — если что пойдет не так, выспятся и на мне, и на тебе. И особо не болтай про свои опыты.

Пять месяцев Попсуев занимался исследованиями не только в свою смену, но и оставался еще на пару часов в следующую, пока не получил уравнения, описывавшие весь массив данных. Теперь можно было по паспортным значениям химсостава заранее отсекал металл, в котором скрывались дефекты, пропускаемые на приборном контроле. И не надо было вообще запускать на обработку металл, изделия из которого потом все равно уйдут в брак.

Цех, воспринимавшийся поначалу Попсуевым как темное грохочущее замкнутое пространство с безликими работниками, вдруг стал напол-

няться оазисами света и тишины, феями и эльфами. Особенно Сергей любил работать в ночную смену, когда не было посторонних. Рабочие безропотно приняли увеличение сменного задания и охотно помогали Попсуеву в его хобби. Они даже ревновали друг к другу, когда мастер обходил кого-либо из них. За неделю до Нового года Сергей под утро окончательно убедился, что математическая модель верна и при корректировке процесса позволит сократить брак на треть. Осталось разобрать все с Берендеем, накатать отчет, статью и сдать кандидатские экзамены.

Чувствовал себя он легко, совсем не хотел спать, и решил пройтись по рабочим местам. Для начала поднялся к Смирнову на пятую отметку, где находилась горловина емкости, именуемой «три куба». Валентин с охотой подменил заболевшего аппаратчика. По технологии бак два часа наполнялся тремя тоннами раствора (практически одной водой) до верха, затем раствор перекачивался в систему и дальше шел на отмывку и кипячение изделий, наполнялся снова, перекачивался — и так круглосуточно. Химию, как и жизнь, не прервешь ни на минуту. К химии уже лет десять собирались сделать автоматику, но руки так и не дошли. Проще было поставить аппаратчика следить за ней. Днем еще ничего, работа непыльная, но вот ночью того и гляди уснешь, и перелив гарантирован. А с ним — и лишение премии.

— Смирнов! Валентин! — крикнул Попсуев, не увидев рабочего за столом.

Тот сидел на краю емкости и спал, свесив босые ноги в бак, и как только горячий раствор касался их, он вскакивал и включал насос.

— Кулибин! — потряс его за плечо Попсуев. — Бачок пора сливать.

— Не пора... — из сна подал голос Кулибин. — А, Василич!

— Радуху оформи. План по ним проваливаем.

— Не пропустят, — скромно улыбнулся Смирнов.

— Кресло в цехкоме спер? Ладно, бди. Не свались.

— А у меня замок, за крюк цепляю. Не свалюсь.

Забегая наперед, стоит сказать: Смирнов оформил рацпредложение, его, правда, не пропустили, но накрутили трудовиков, и те тут же пересчитали нормы. О предложении узнал главный инженер, не поленился подняться к горловине «трех кубов», и с его легкой руки пошло выражение «автомат Смирнова».

И настройки не надо!

Несмотря на то что двойной контроль, производственников и ОТК, был усилен еще и регулярными инспекциями госприемки, рекламации поступали с печальной регулярностью. Изделия отказывали по причинам, заложенным при их конструировании и изготовлении, а также из-за нарушения режимов эксплуатации. Свой вклад вносили еще и смежники. По каждому случаю собиралась комиссия из представителей всех сторон, и несколько дней шла борьба мнений и аргументов. Редко удавалось выработать единый взгляд, поскольку апломб участников и луженые глотки не способствовали консенсусу. Когда обсуждение начинало грозить участникам инфарктами или членовредительством, председателю комис-



сии по телефону спецсвязи поступало мнение сверху, самое зрелое и верное.

В последнее время эксплуатационники обнаглели: им было мало эффекта родных стен, позволявшего скрывать свои недочеты, они стали еще вести подкоп под стены Нежмаша, возлагая на изготовителей всю вину за отказ изделия. Им в этом усердно помогали конструкторы, снимая таким образом с себя свою долю ответственности.

— Дефекты пропускают. Слабый контроль! — жаловались они своему куратору в главке, и этого подчас было достаточно, чтобы лишить работников завода, а конкретно берендеевского цеха, квартальной премии.

Директор завода Чуприна дал команду главному инженеру Рапсодову послать на комбинат при очередной рекламации «не конторскую бес-толочь, а Берендея. Пусть наведет там шороху!». Разумеется, это только накалило обстановку.

Прошел еще месяц, и Попсуев уже не только ночами, но и днем стал по сопроводительной документации отлавливать дефектные изделия до приборного контроля. Естественно, это заинтересовало многих. Дошло до того, что Сергей на спор выиграл у технолога участка и Свяжского по одному талону на водку, а у начальника лаборатории автоматике — сразу два. Слухи дошли до главного инженера. Однажды после совещания в цехе Рапсодов оставил в кабинете цеховиков и обратился к Берендею:

— Ну, Никита Тарасович, кто тут у тебя нострадамус?

— Вот он, мастер Попсуев.

— Пошли в цех. Давай халат.

Берендей моргнул Оресту глазом, чтоб в цехе по пути начальства навели порядок, а Сергею бросил:

— Поторопился, Сергей, ох, поторопился...

— Начнем с ультразвука, — скомандовал Рапсодов. — И никаких талонов! Демонстрируй свое умение, бутлегер. Что-нибудь из брака. — Он отвернулся и шепнул Свяжскому: — Годную дай.

Прогнали изделие по линии, прибор показал «годное».

— А почему «годное» показывает? — нахмурил брови главный.

— Потому что годное, — ответил Попсуев, найдя в паспорте и журнале данные на изделие.

— Не может быть! Брак ведь. Еще дайте.

Принесли из брака. Прогнали. Из пяти четыре подтвердились, пятое прошло в годные.

— На границе, — не глядя на прибор, сказал Попсуев, сверившись с паспортом и журналом. — На пять единиц границу сдвинуть — и не пройдет.

— И как это у тебя получается?

— Хороший шахматист в дебюте видит эндшпиль.

— Хороший... шахматист... дебют... Проверьте настройку прибора. — Рапсодов, явно раздосадованный тем, что не понимает, как мастер видит брак, махнул рукой на линию.

Попсуев позвал Михайлова:

— Стас, проверь настройку.



Рабочий проверил, но пропустил один необязательный момент, не перещелкнув рычажок в конце. Рапсодов патетически произнес:

— Как же так! Это ж дебют!

Михайлов стал убеждать главного в правильности настройки, но это не было убедительно.

— Чего ты споришь? — громко сказал Попсуев. — У главного больше прав.

— Хороша же смена! — бросил главный инженер. — Настройку не могут проверить! Как же продукцию выпускаете? На взгляд мастера?

— Как надо выпускаем! — сказал Попсуев. — Мне и прибор не нужен.

— Да-а? — удивился главный. — Совсем, что ли?

— Совсем.

— Ну, знаете ли... — Рапсодов поискал глазами руководство участка и цеха, нашел Берендея — тот на полголовы возвышался над всеми. — Пошли в ОТК. Покажешь. Не поймает брак — вылетит за ворота.

— Он еще молодой специалист, — сказал Закиров.

— Тем более! — едва не испепелил его глазами Рапсодов.

Зашли на участок контроля. Попсуев открыл паспорта изделий и технологический журнал, взял с транспортера несколько штук и положил их с разрывом на линию контроля.

— Вот это одно — брак, а эти — годные. Стас, запускай! — махнул Попсуев рукой Михайлову; лента поползла. — ОТК, чего там?

Бригадир ОТК перевела контроль измерения в ручное положение, измерила, кивнула головой:

— Да, брак.

— Намного? — спросил главный.

— На десять единиц. Много.

Вторую группу приборы пропустили. Михайлов приплясывал от гордости, Закиров светился, Берендей сыто смотрел на Рапсодова.

— Как фамилия? — Главный хмуро глядел на Сергея.

— Попсуев.

— А, спортсмен... — Главный задумался. — Никита Тарасыч, в среду у тебя проведем инженерную диспетчерскую. Пусть... пан спортсмен расскажет о своих прорицаниях. Черт знает что! Столько денег вбухали в москвичей, а тут все на глазок измеряют!

— На мой глазок! — добавил Попсуев.

В среду Сергей, вспоминая Андрея Болконского, думал одно и то же: «Вот он, мой день! Сегодня меня заметят, возьмут в резерв на выдвижение. Надо изложить за пять минут, пока не ослабнет внимание...» Он спустился на первый этаж, как бы ненароком встречая участников совещания. То, что он возбужден, читалось на его лице и в жестах, в той светлой радости, с которой он здоровался с входящими. Те невольно улыбались ему в ответ.

Рапсодов подъехал последним. Едва он зашел в кабинет и уселся в кресло, как тут же обратился к Попсуеву:

— Ну что, Попсуев, докладывай. Что предлагаешь?

— Вечный двигатель... — громко произнес Сергей и сделал паузу, любуясь недоумением на лицах собравшихся, потом добавил: — ...я не предлагаю. Я предлагаю изменить техпроцесс.

— Ну!.. — раздался шумок, переросший в шум и даже смех. — Техпроцесс! Уж тогда лучше вечный двигатель!

— Тише, товарищи! — оборвал Рапсодов. — Продолжайте, Сергей Васильевич.

«По отчеству... Хорошо, — подумал Попсуев. — Есть шанс изложить все».

— Да, техпроцесс, не меняя его параметров, ни одного.

— А чего ж тут тогда... — не удержался главный технолог, но взгляд Рапсодова прервал его вопрос.

— Дело в том, что техпроцесс писал механик, так? — обратился Попсуев к главному технологу.

— Ну... — опешил тот. — Механик, и что?

— А его надо было писать еще химику, прибористу и математику. Химиков и прибористов подписи есть, но это согласительные подписи: видно, что они не разрабатывали, а математика так и вовсе нет.

Попсуев выучил речь назубок, не полагаясь на свою способность импровизировать. Он не раз был свидетелем того, как на подобных совещаниях искусственных бойцов с пиратскими глотками и не менее утонченными манерами усаживали с позором на место. На таких диспетчерских цеховики вполне по-пиратски топили конторских, конторские — цеховиков, начальники заводских служб — научно-исследовательскую лабораторию (НИЛ), начальник НИЛ — службы. Крайним обычно назначался цех.

Пользуясь тем, что Рапсодов не был настроен критически и ни в ком эту критичность не поддерживал, Сергей уложился в пять минут и успел изложить все аргументы и доказательства.

— Хм... — Главный посмотрел на часы. — Что ж, толково. Сколько вы занимались этим вопросом?

— Пять месяцев, — соврал Попсуев.

— Хватит трех, — урезал Рапсодов. — Несмеяна Павловна, запишите: «Попсуеву передать материалы в НИЛ. Начальнику НИЛ и главному технологу дать замечания к майскому Дню качества». Контроль за мной.

— Сергей Васильевич, поздравляем! — зашумели в коридоре коллеги.

— Рано поздравлять, подождем, — отвечал тот.

А Берендей подошел на линии к Попсуеву и попенял:

— Поспешил, Сергей! Вишь, сколько нахлебников прибыло. Ну да ладно, Родина-мать не забудет тебя.

На следующий день в «Вечернем Нежинске» появилась заметка Шебутного о мастере Нежмаша и его успехах на производстве. На проходной возле доски с газетой Попсуев увидел Светланову, та читала заметку. Сергей поймал себя на том, что ему приятно ее внимание. Вряд ли она думала, что «Вечерка» может написать о нем! Интересно, как от-



неслась она к фразе: «За такими инженерами, как Сергей Попсуев, будущее — не только производства, но и всей страны?»

Несмеяна в пятницу на диспетчерской поприветствовала мастера:

— Здравствуй, наше светлое будущее! Здравствуй, племя младое, незнакомое!

— И ты здравствуй! Жаль, не я увижу твой могучий поздний возраст! — отозвался Сергей, отметив про себя, что царевне понравилась эта реплика.

Бескрайняя, жгучая, злая...

В непогоду не по себе. Нескончаемый дождь — пытка. Пребывая в непривычной для себя меланхолии, Попсуев не заметил, как очутился возле дверей Несмеяны и позвонил.

— Закирова нет? — спросила она, открыв дверь и кивая вниз.

— Закирова? Я не к нему.

— Прошу. Вот тапочки. — («Купила... Для меня?») — Пальцы не поджимай. Или носки целые? Чай?..

Горел торшер возле дивана; раскрытая книга, клетчатый плед.

— Погода сегодня... — сказал Попсуев.

— Какая? — зевнув, хозяйка глянула в окно. — Да ничего вроде.

Чай пили молча, без слов и улыбок. Так провели четверть часа.

«Тихий ангел пролетел, — подумал Сергей. — Тюкнул бы нас по башке, чтоб в себя пришли».

— А с чего это вы надумали прийти ко мне? — спросила Несмеяна, когда Попсуев засобирался уходить.

— Замерз.

— А-а... — кивнула она и неожиданно добавила с улыбкой, от которой хотелось заплакать: — Знакомо. Даже плед не согревает.

При этих словах Попсуев поглядел ей в глаза. Они были бесстрастны.

— Вы так и живете? — спросил он, думая о том, есть ли у нее мужчина или нет. Если нет — это преступление. Если есть — это катастрофа.

— Да, а что? Плохо?

— Напротив, уютно.

— Какие ваши годы? — Несмеяна заметила его взгляд, скользнувший по обстановке. — И у вас будет свой угол. Квартиру пока не дали?

Попсуев дернулся от вопроса, но, похоже, Несмеяна спросила просто так, лишь бы что-то спросить. А это еще хуже, чем подкалывать.

— Читаете? — Сергей взял в руки книжечку. — О, Хименес? —

Он процитировал: — «Острая, жгучая, злая тоска по всему, что есть...»

— Бескрайняя... Бескрайняя, жгучая, злая, — поправила его Несмеяна. — Острая — на перец похоже. К кулинарии ближе проза.

— А вы что же, любите Хименеса?

— А что, нельзя?

«Девушки становятся женщинами не когда лишаются невинности, а когда перестают читать стихи. Или, наоборот, когда начинают? В любом случае поэзия и женщина — единая плоть... бескрайняя, жгучая, злая».

Вспомнился дождливый воскресный день, когда Закиров затащил его на пару часов к Несмеяне на дачу. Облепиха под сыплющим дождем с черным, корявым, причудливо по-восточному изогнутым стволом и мелко-кудрявой светло-зеленой кроной вызвала в душе такой же поэтический образ, как сосна или пальма Лермонтова. Раздвоенный ствол и струящиеся черные ветки, как артерии, вены и капилляры земного сердца жизни...

— Вот читаю, и дождь уже не кажется таким скучным, — произнесла Несмеяна.

— Утром я думал, что вечность — это дождь. Нет, это стихи Хименеса.

И снова молчание.

— Я пошел? — сказал Попсуев.

— Идите, — как начальник произнесла Несмеяна.

— А я только что вспомнил облепиху, что под вашим окном на даче.

— Она красивая, правда? — на мгновение оживилась Несмеяна. —

До свидания.

Попсуев, с шумом в висках и груди, вышел. Казалось, шум шел по всему свету.

«Что делать?» — думал Сергей. — Почему я такой пень?»

МКК

В начале смены Попсуева вызвал к себе Берендей. В кабинете сидели Свяжжский, Несмеяна и приборист цеха. Начальник был непривычно мрачен.

— Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам прилетела рекламация. Без крылышек. Но размером с ведерную клизму. Поздравляю присутствующих и себя лично с вкладом в это общее дело. Тринадцатую зарплату придется добровольно отдать в пользу бедных. Завтра с утра мы с Попсуевым — да, ты теперь, Сергей Васильевич, не и.о., а полнокровный старший мастер, приказ подписан, с чем и поздравляю, обмыв за тобой — едем на комбинат, а на той неделе сами встречаем дорогих гостей. Кстати, два дефекта из трех на комбинате поймали на входном контроле, что очень хорошо, а то бы вонь до Америки дошла. Твои проворонили, Несмеяна Павловна. Глаза не кругли — они, они... И знаешь, что? Межкристаллитную коррозию! МКК! Вот номера изделий. Кто делал шлифы и смотрел в окуляр — фамилии мне на стол. Пятьдесят микрон пропустили!

— А почему сразу мои? Кто нам протолкнул их? У них что, своих микроскопов нет?

Попсуев было вскинулся, но Берендей осадил его:

— Гроссмейстер, не лезь поперек дамы.

— Вот от пятого марта распоряжение Рапсодова. — Светланава открыла свой журнал. — «Оборудовать лабораторию ОТК микроскопами с трехсоткратным увеличением. Ответственный... Берендей и начальник снабжения»!

— Начальник снабжения и Берендей, — поправил Несмеяну Никита Тарасович. — Он первый.



— Неважно. А теперь крайние — мы? Мне писать докладную Рапсодову?

— Не егози, оборудуем. Надавлю на снабжение. Они вечно телятся.

— Другого не могут!

— Так... этим же составом снялись — и к главному.

У главного инженера лишнего не говорили. Обсудили командировку Берендея с Попсуевым, подготовку цеха и отделов завода к приезду комиссии. Набросали основные пункты для протокола согласительного совещания на комбинате.

— Всё? — спросил Рапсодов. Обычно этим безответным вопросом он завершал разговор.

— Нет, не всё! — сказала Светланава. — Без трехсоткратных микроскопов МКК не поймаем!

— Несмеяна Павловна, — поморщился главный, — знаю я об этом, знаю! Поставщика прикрыли, а с другим договорились только на следующий квартал.

Глинтвейн генерала Берендея

После парилки Берендей встал на весы и потянул сто двадцать девять кгэ, но, когда выдохнул, стало сто двадцать восемь. Математики не дадут соврать: количество выдохнутого воздуха сравнялось с погрешностью взвешивания. В противном случае надо признать, что с выдохом Никита Тарасович снял с души килограммовую тяжесть, которая уже два дня лежала на ней. Облегченный Берендей подошел к зеркалу и полюбовался собой, похлопывая по тугому животу налитыми, как боксерские перчатки, ладонями. Только в бане можно было увидеть, насколько он могуч. Сергей, сам чрезвычайно сильный и жилистый и немалого роста, около ста восьмидесяти пяти сантиметров, рядом с ним выглядел мальчишкой.

— Штангу тягал, Никита Тарасыч?

— Тягал, — усмехнулся Берендей. — Твоих успехов не достиг, но мастера в тяже дали. Однако с харчами тут у них, прямо скажем, швах.

Берендей втянул живот и встал к зеркалу боком, вытянув руки по швам, с шумом вдохнул и выдохнул.

— Не жалуют тут нас с тобой, Сергей Васильевич, не жалуют. Три кило за день потерял, а ведь они мои кровные! — Он посмотрел на коллегу, точно тот мог вернуть ему эти потери. — Это что ж останется с меня, если я тут на месяц застряну? Они думают, мы так, мелкая сошка. Напрасно они так думают... — Он взял вафельное полотенчко с черным квадратиком цехового клейма в уголке, попытался окружить им бедра, но концы не сходились. — Подгузники, что ли? Все одно к одному. Пошли отсюда! В последний раз приехал. Пусть теперь главный сам ездит или своих конструкторов, стратегов-бездельников, посылает. Это их забота. А мой цех все как надо сделал. Да чего я тебе говорю!.. А за МКК металлургов надо спросить.

Командировка красна междусобойчиком. Но в цеховой бане, вопреки всем неписаным законам гостеприимства, командированные парились

одни. Другого и не могло быть после скандала, учиненного Берендеем сразу же по приезде в кабинете главного инженера комбината Ключева. Без предисловий Никита Тарасович спустил на Ключева собак, за то что тот растрезвонил на весь Союз о якобы бракованной продукции, поставляемой Нежмашем.

— Где выводы комиссии, чтобы утверждать это?! — гремел Берендей.

Попсуев удивился столь жаркой атаке начальника на Ключева, но Никита Тарасович вечером поведал ему о подоплеке:

— Хотел услышать, что он скажет. Для остротки полезно первым надавить на противника. Дело в том, Сергей Васильевич, только это секрет, мне летом предложили кресло главного инженера комбината, а я чего-то раздумывать стал, ну вот в него и уселся Ключев. Мы с ним на одном потоке учились.

Одни они зашли и в ресторан при гостинице. Заказали блюда, ждали. За день так и не поели: то цех, то протокол, то кофе из банки, то баня натошак.

— Я им напишу, я им тако-о-ое в протокол напишу!.. — грозился Берендей. — Встретить не могут по-человечьи, даже если мы им и брак поставили, с кем не бывает. Но ведь брак браку рознь. Браки вообще на небесах совершаются. Фотки они мне кажут, МКК нашли, пятьдесят микрон, невидаль какая. Можно подумать, первый раз в жизни. А сами — белые и пушистые. — Он с тихим негодованием, оставаясь по большому счету невозмутимым, смотрел на Попсуева, будто именно тот корил его коррозией и морил голодом.

Сергей не выдержал:

— Да что ты, Тарасыч, на меня смотришь как на потребителя?

— А на кого мне еще смотреть? — проворчал Берендей. — На него, что ль? — указал на портрет Горбачёва. Он еще поворчал, поерзал на стуле и вдруг с треском грохнулся на пол. Поднялся с невозмутимым лицом, осмотрел останки стула, рассыпавшегося под ним на несколько частей, выбрал ножку: — Гарсон! Ком хиер!

Подбежал официант. Берендей показал ему ножку:

— У вас нет другой мебели? Замените, голубчик.

После того как Берендей один выпил бутылку водки (Сергей потягивал пиво), скомпенсировав плотной закуской все потери дня, он обмяк, подобрел и на вопрос, как ему после принятого, изрек:

— От-лич-но! Я ж генерал! — Сергей окинул взглядом неохватную мощную грудь Берендея — и впрямь генеральская, как диван, только ордена с медалями в семь рядов цеплять. — Начальник моего ранга раньше, при Никите, да и при Лёне еще, генеральскую должность имел. Шутка ли — тысяча двести семь человек коллектив! В бою и за столом у меня должны быть одинаково ясные мозги!

— Никита Тарасыч, а давай завтра в гостинице оттянемся, подомашнему. Глнтвейн пил когда-нибудь? Сварю.

— Суп, что ли? Да слышал про него, девки жужжали: глнтвейн, глнтвейн!.. Но не пил. Чего сидеть, айда прошвырнемся. Внизу жду.



Еще в гостинице Попсуев услышал голоса. Берендей стоял под фонарем, окруженный подростками. Парни кричали и размахивали руками. Никита Тарасович сгреб двух юнцов за шкуру, как котят, потряс ими в воздухе и вернул на асфальт. Склонив обоих в поклоне, сказал:

— Прием закончен! — и, подтолкнув так, что оба носом забурились в сугроб, добродушно глянул на остальных; те попятнулись. — Малолетки еще, — вздохнул он, — совсем дураки. Ну да откуда им знать, что я «запорожец» могу поднять. Особливо после поллитры! — захохотал он на всю улицу.

Назавтра к вечеру Попсуев накупил, чего требовалось: в магазинах ОРСа рабочих снабжали по высшей категории, там было всего полно, и безо всяких талонов. Слил в трехлитровый чайник бутылки портвейна, вермута, сухого красного вина, выжал лимон, очистил и разломал пару мандаринов, накрошил мармелад, бросил корицу, пакетик ванильного сахара, а затем включил чайник. Подумал-подумал — и свалил туда же мандариновые и лимонные корки. Берендей с несвойственной ему живостью следил за приготовлениями.

— Хочешь сказать, что вот *это* можно пить? — несколько раз заинтересовался он. — Столько витамина «цэ» истребил. С водкой понятней. Говоришь, у них так пьют? Извращенцы.

Чайник закипел, по комнате пополз пьянящий цитрусовый запах, от которого перехватывало горло. Попсуев разлил по стаканам дымящийся красный напиток.

— Пить горячим, чтоб обжигало.

Когда Берендей проглотил один глоток, а второй не смог, Попсуеву стало жаль его. Берендей с тоской огляделся по сторонам, не зная, куда выплюнуть сказочное питье.

— Я давно знал, что там одни придурки живут, — изрек он. — Ты-то что к ним примкнул? Водку купил? «Оттянулись».

Сергей достал водку, ноль-семьдесят пять. У Берендея оттаял взгляд. Тут пришел халявщик Брыкин из московского КБ. Он всегда держал нос по ветру и умудрялся приходиться к первой рюмке.

— Пьете? — удивился он.

— Хочешь глнтвейна? — Попсуев подал стакан Берендея. — Для разгону.

Брыкин с удовольствием вытянул напиток, шумно выдохнул, наслаждаясь:

— А-а!.. Какие напитки тут у вас!

Берендей передернулся.

— Водку будешь?

Брыкин ответил как собака, глазами: буду, мол, и охотно. Берендей откупорил бутылку, разлил. Только конструктор поднес стакан ко рту, Никита Тарасыч, нарушив обычай, отставил свой, достал смятую бумажку из кармана, разгладил ее на столе и сказал:

— Мы тут, Глеб Саныч, скидывались... На вот это. — Он указал пальцем на чайник и на водку с закуской. — С тебя, так и быть...

— Дверь-то я не закрыл! — вскинулся Брыкин, выхватив ключ из кармана.

— Куда ты? Выпей сперва. Кому твоя дверь нужна? — крикнул ему вслед Берендей, но Брыкина и след простыл. — Поехали, а то еще кого принесет. Хотя в чайнике много бурды. Ну, беленькая! Русь — ее ничем не замутишь.

Берендей выпил, включил телевизор — там шла пресс-конференция какого-то известного академика, директора института.

— Да, знать бы, где упадешь... Уже жалею, что не приехал в эту глушь. Хорошо тут у них. Все есть. От одной закуски судороги по телу. Мне тут нравится: городок, гостиница, коттеджи... Основательные, будто Собакевич строил.

В это время академик в телевизоре ликующе сообщил:

— Скоро появится новый вирус гриппа, и миллиард человек умрет!

Попсуев развел руками:

— Вот те на! Радости сколько!

— Не дрейфь, Серёга, — сказал Берендей, — мы все равно в другом миллиарде. Апокалипсис в их миллиарде случится, в «золотом». Там и так уже одни золотари живут.

Для написанья протоколов не надо десять балаболов

Протокол составляли в кабинете заместителя главного инженера. Мнения сторон были полярными. Когда все наорались и подустали, Берендей, до того молчавший, устроился в кресле и попросил минуту внимания. Добродушно и очень складно он двадцать минут вел речь о причинах коррозии, подмигивая металловедам, которые думали, что только они владеют тайнами своего мастерства. Пенял подрядчикам, нарушавшим режимы термообработки и проталкивавшим на Нежмаш слитки со скрытыми дефектами. Указывал на конструкторские недоработки и несовершенство приборного контроля. Укорял в лукавстве эксплуатационников, нарушавших режимы эксплуатации. Никто не перебивал, так как у всех рыльце было в пушку и каждому было что исправлять.

— Предлагаю мировую, — в завершение спича произнес Берендей. — Консенсус. Леди Чаттерлей любила присказку: «Какая ж мисс не любит компромисс?» Вот наш проект...

Проект присутствующие приняли с тремя незначительными поправками.

Когда нежмашевцы вернулись в гостиницу, начальник похвалил Попсуева:

— Правильно себя вел, Сергей, не егозил, но и поблажек не давал. Очень хорошо! Надо тебя дальше двигать, на место Поповой, а старушке на печь залезать.

Берендей включил телевизор и, кивнув на беснующихся депутатов, обронил:

— Мы ладно, десять часов орали за-ради дела, а эти чего? Когда в нержавейке много хрома, хром вызывает МКК...

— Нержавеющие стали вдруг ржавеющими стали, — не удержался Сергей от экспромта.

— Вот именно. Эти слуги народа — хром и есть. Многовато их стало, заботливых. От них страна покрылась трещинами. Мыслящая интеллигенция, нам в пику, «немыслим». Знаешь, в чем ее предназначение?.. Наливай, дома так не попьешь... Предназначение этих балаболов в разрушении страны, в которой вроде как родились. Чем больше обласканы они страной, тем глубже проникают в ее поры. Хуже азотки. Любую щель ищут, чтобы разесть ее. Разрушая монолит, губят и себя. А потом нас начнут попрекать, что мы кормили их, но не досыта. Попомни мои слова. Они — МКК страны.

Благодарность

Когда начальник НИЛ Диксон получил попсуевские материалы, он поначалу не поверил, что все это сделал один человек за пять месяцев. Наметанным взглядом Яков Борисович определил: тут к куме не ходи — кандидатская! При защите, правда, могут сказать: неканоническая, почему так широко? Ну да Яков Борисович, как опытный портной, из любого материала мог скроить и по моде, и по заказчику. Главное, к идеям иметь материю, хоть воздух, а уж сшить можно и из воздуха.

Диксон разбил даром полученные исследования на две группы и усадил своего зама Роберта Бебеева, зятя Рапсодова, за написание статей и автореферата диссертации. Главный инженер второй год торопил начальника НИЛ остепенить родственника, пока была возможность протолкнуть того в главк. Кандидатские экзамены Роберт уже сдал. Защитится, куда он денется... Правда, об этом пока никому на заводе знать не надо! Бебеева учить жизни нечего: хватка волчья, ничего не упустит.

Через два месяца Бебеев представил начальнику две статьи и автореферат. Материал получился дрянной, автор показал свою полную беспомощность в описании методики исследования, особенно в математической ее части. Диксону, не ожидавшему такой подлянки от своего нового, навязанного Рапсодовым зама, пришлось переписать все нано-во, упорядочить первобытный хаос изложения и исключить три пункта, дискредитирующих Бебеева как научного работника. Введя в число авторов себя, Бебеева, руководство завода, нескольких свадебных генералов и Попсуева, Диксон передал статьи главному инженеру. Рапсодов поморщился:

— Ну что вы, Яков Борисович, не тот уровень! Мастер, даже старший, ну что вы! — И Попсуева вычеркнули.

Через неделю, к 1 Мая, Попсуеву объявили благодарность и премировали «в размере 100 рублей». А спустя два дня в «Вечерке» появился материал Шебутного, озаглавленный «Признанный спортсмен, непризнанный ученый?» В ней журналист излагал как вещи понятные, так и удивительные. Понятно было, что мастера с диссертацией обули, но многих удивило то, что Попсуев, оказывается, бился за звание чемпиона Европы на саблях.

«Признанный спортсмен, непризнанный ученый.»

Быть ученым в нашей стране — почетно и заслуженно. На Нежмаше трудится немало ученых, чьи достижения имеют огромное народно-хозяйственное значение и дают многомиллионный доход государству. В этом году в одном из основных производств (начальник цеха Н. Т. Берендей) было проведено исследование, позволившее повысить качество контроля, вследствие чего существенно уменьшились издержки производства и получен немалый экономический эффект.

Куратор министерства А. К. Иванов, директор завода И. М. Чурина, главный инженер к. т. н. Б. Г. Рапсодов, главный технолог к. х. н. Р. П. Зверев, главный приборист к. т. н. И. И. Кандаур, начальник НИЛ д. т. н. Я. Б. Диксон и его заместитель Р. Н. Бебеев в отраслевом сборнике опубликовали две статьи. Результатами работы нежмашевцев заинтересовалась Москва, а также многие предприятия отрасли. По материалам этой работы Бебеев подготовил кандидатскую диссертацию. Защита ее состоится в следующем году.

Не обошлось и без казуса. Так, тов. Н. Т. Берендей заявил нашему корреспонденту о том, что основной вклад в проделанную работу сделал старший мастер цеха С. В. Попсуев, но его почему-то не оказалось в числе авторов статей. И вовсе непонятно, почему диссертацию защищает Бебеев, к данной работе имеющий лишь косвенное отношение: он зять главного инженера Рапсодова. В дирекции завода заявление начальника цеха не подтвердили. При этом разъяснили, что старший мастер Попсуев всего лишь молодой специалист, участвовавший с линейным и контрольным персоналом цеха и других подразделений завода в сборе и обработке данных, и до автора научных статей пока не дорос. Но в техническом отчете он фигурирует среди исполнителей.

Главный инженер подвел черту, заявив: “Желание молодого специалиста Попсуева поскорее остепениться и стать признанным ученым вполне оправданно и понятно, так как наш завод является кузницей творческих кадров. Не исключено, что мастер, который склонен к исследовательской деятельности, со временем будет переведен в НИЛ. Пока же ему, выпускнику столичного вуза, проработавшему на нашем заводе всего ничего, надо поднабраться опыта. Согласитесь, два года — это маловато, чтобы вникнуть в нюансы производства и давать рекомендации по его совершенствованию и корректировке ТУ. Всему свое время, признают и Попсуева. Что же касается заявления начальника цеха тов. Берендея, оно вполне понятно и заслуживает уважения, поскольку Попсуев является одним из лучших его работников. К тому же Попсуев — мастер спорта международного класса, четыре года назад бился за звание чемпиона Европы на саблях. Из-за полученной раны вынужден был уйти из фехтования. Думаю, что если мы и ранили самолюбие производственного мастера, то все же не так сильно, как травмировал мастера спорта клинок победителя в том бою”.

Что ж, по мнению технического руководителя завода, случай с Попсуевым неприятный, но не трагический. Кому-то везет, кто-то становится чемпионом или кандидатом наук, а кто-то остается вторым или кандидатом в кандидаты. Если разобраться, вторых, третьих — большинство, и

что без них первые? Ведь и пан Володыевский, помнится, не был чемпионом Европы, а “главный механикус отечества” Кулибин — академиком? Так что, Попсуев, полный вперед!

В заключение хочу сказать пару слов о Попсуеве-спортсмене. Я слежу за фехтованием, знаю не только известных мастеров клинка, но и интересуюсь растущими талантами. Одним из самых перспективных, на мой взгляд, пять лет назад был Сергей Попсуев. В 19 лет став мастером спорта международного класса, он вошел в обойму ведущих советских саблистов. Тренеры не без оснований ожидали от Сергея серьезных успехов в международных соревнованиях, но на кубковых соревнованиях в Венгрии с ним произошел несчастный случай, едва не закончившийся трагедией: в бою клинок итальянца сломался и, как масло, прошил камзол Попсуева. Пройди клинок двумя сантиметрами выше, и этой статьи не было бы. Врачи вытащили Попсуева с того света, но после больницы он уже не смог вернуться в большой спорт. Сергей тогда был студентом четвертого курса Московского энергетического института. Я на время потерял следы Попсуева и вдруг узнал, что по окончании МЭИ он оказался в нашем городе, на Нежмаше. Мне стало интересно, как сложится его жизнь на поприще инженера. Уверен, что я еще не раз вернусь к нашему герою».

Рубить так рубить

— Читали это? — спросила Несмеяна, протягивая Попсуеву газету.

— Что там? — небрежно спросил он. — Про завод?

Несмеяна ткнула в заголовок «Признанный спортсмен, непризнанный ученый?»:

— Про вас. Признание в любви.

Попсуев прочел, взглянул на Несмеяну. Та произнесла с насмешкой:

— Видите, чем кончилось? Сколько месяцев убили на эксперименты? Восемь?.. Десять?.. Это пустяк, не расстраивайтесь. Не всю жизнь, как Свяжский. Я же говорила — на заводе не шпагой, рельсом надо махать. А для этого надо, Попсуев, не уметь, а сметь. Смелость города берет.

Попсуев стиснул в кулаке газету и, ни слова не говоря, бегом припустил в заводоуправление. Через десять минут он зашел в приемную главного инженера.

— У себя? — хмуро спросил Сергей секретаршу. Та с интересом посмотрела на взъерошенного молодого человека.

— Вам что? — певуче протянула она, припоминая: Попсуев, из третьего.

— Главный здесь?

В Сергее все кипело. Он понимал, что нарушает субординацию, что еще минута, и его карьера пойдет к черту, но уже не мог справиться со своей злостью на несправедливость судьбы. Справься — понял бы, что судьба всегда благоволила ему, даря лучший из возможных вариантов. Но нет, нет, нет и нет! Он вновь на дорожке, и еще посмотрим, кто кого! И он не только саблист, но и судья. Душу его наполнял восторг, оттого что он сам замутил все это.



— Борис Григорьевич занят, — певуче произнесла секретарша. Она еще в прошлый раз обратила на Попсуева внимание. Диковат, но хорош. Девушка улыбнулась ему: — О чем доложить?

Сергей направился к двери.

— Я же сказала, Борис Григорьевич занят, — дрогнувшим, но по-прежнему певучим голосом произнесла она с чарующей улыбкой, встав на пути Попсуева. Тот легко поднял труженицу под локотки — она зажмурилась, когда увидела в его глазах бешеные огоньки, — и отставил в сторону.

— Это что же получается?! — с порога бросил Попсуев, взмахивая газетой как саблей.

— Я вас не вызывал. Выйдите!

— Нет уж! Не уйду, пока не получу ответ, почему меня не включили в число авторов статей и почему ваш зять защищает по моим материалам диссертацию! — Попсуев с грохотом вытащил стул из ряда, упал на него, закинул нога за ногу.

— Вы что себе позволяете? — побагровел главный инженер.

В открытую дверь заглянула половина секретарши. Рапсодов как-то беспомощно взглянул на нее и махнул рукой. Та скрылась, и вскоре появился начальник режимной службы Синьков. Преторианец молчком подошел к Попсуеву и крепко взял нахала за шиворот, захватив клочок волос. Сергей отбросил стул из-под себя, перехватил руку Синькова, а второй рукой схватил его за мягкий подбородок и швырнул на стол в направлении Рапсодова. Режимник заскользил, сметая бумаги, а Попсуев покинул кабинет, хрястнув дверью. Синьков, не смея взглянуть на Рапсодова, лазил под столом и собирал сметенные листочки.

Секретарша подскочила со своего места и непроизвольно сделала пару шажков к выходу. Сергей сел за ее стол, взял лист чистой бумаги и размашисто набросал на нем несколько строк. Оставив лист на столе, пошел в общежитие.

— Я его посажу! Он у меня, сукин сын, на рудники пойдет! Он у меня в дурдоме сгниет! — трясся от возбуждения главный инженер, бесполово перебирая на столе документы и письма, понимая, что все уже свершилось: Попсуев хоть и буян, да герой, а вот он — слабак.

Через пять минут о случившемся доложили Чуприне. Передали и заявление Попсуева: «Директору завода т. Чуприне И. М. от старшего мастера цеха № 3 Сергея Васильевича Попсуева. Заявление. Прошу уволить в связи с подлым поведением руководства завода. С. В. Попсуев».

Чуприна вызвал Рапсодова, с искорками в глазах расспросил, что за корриду устроил тот у себя в кабинете. Главный объяснился, протянул газету. Пока директор читал, Рапсодов не умолкая грозил Попсуеву всеми мыслимыми и немыслимыми карами:

— Он у меня волчий билет получит!..

— Ладно, Борис Григорьевич, хватит сопли жевать. Сам кашу заварил. Ты заявление читал? А статью? Почитай, почитай! Шибко вы парня обидели.

— Кто кого еще обидел...



— Сам обиделся? Пряма унтер-офицерская вдова! Обиду проглоти, радуйся, что не получил как Синьков. Почему я ничего не знал про это, что автор Попсуев? Почему этот... Бебеев украл чужой труд? Кто готовил это?

— НИЛ и главный технолог.

— Передай, чтоб подмылись, через десять минут ко мне. И Берендея позови, но не к началу.

— Иван Михайлович!..

— Чего тебе?

— Но я не давал интервью! Я не знаю никакого Кирилла Шebutного!

— Ладно, иди! Не знает он... Знаем мы!

Крылья, как у ангелов, за спиной

Каково было удивление Попсуева, когда в семь вечера в комнату зашел Чуприна. Сергей лежал, закинув руки под голову и задрал ноги на спинку кровати, и размышлял. Пока вся эта утренняя возня никак не откликнулась, будто ее и не было вовсе. Неясно было, что же теперь делать. Во всяком случае, идти на завод бессмысленно. Надо ждать. Кто-нибудь сам придет. Смирнов или Орест... или Берендей. А то и приедут — менты. И поведут под белые ручки... А за что?! Раскаяния не было в нем. Он даже представил невообразимое: Рапсодов вызывает на дуэль. А он ему ответит, как Арбенин: «Стреляться? с вами? мне?... вы в заблужденье».

О Татьяне он не вспомнил ни разу. А вот Несмеянины слова: «Надо, Попсуев, не уметь, а сметь. Смелость города берет» — они не таяли, а, словно детские кораблики, качались на волнах памяти. И такая досада брала от них! А тут еще ее немеркнувшее насмешливое лицо...

— Лежишь, мастер? — Директор, озирая обстановку, стоял в дверях. За ним угадывались сопровождающие. Взглянув на них, Чуприна закрыл за собой дверь. Сцена напомнила Сергею египетскую фреску: фараон и людишки у его ног.

Попсуев поднялся с кровати.

— Да ты лежи. Имеешь право. Я ж пред тобой подлый человек. Чернорабочий или поденщик. Вот только, чтобы знал ты, категорию подлых людей на Руси упразднили еще в одна тысяча семьсот сорок втором году... Мальчишка! Да как смел ты написать мне эту цидулку! — Чуприна достал из кармана свернутый вчетверо листок.

Попсуев молчал, спокойно глядя в глаза директору.

— Погодь-ка, — вздохнул Иван Михайлович, положил ему свою широкую ладонь на плечо, усаживая на кровать. — Я зараз.

Он вышел в коридор, притворив за собой дверь. Пару минут слышалась невнятица голосов, потом удаляющиеся шаги. Зашел Чуприна.

— Вот что, Сергей Васильевич, поехали ко мне, там в спокойной обстановке решим, ху из ху, а кто пи из пи. Не люблю общаг.

Попсуев молча вышел. В коридоре было пусто. Вахтерша поднялась со стула, завидев их.

- Да ты не скачи, Петровна. Как спина-то?
- Да спасибочки, Иван Михайлович, сижу вот.
- Ну, сиди-сиди. Дюже не прыгай. Моя шкуркой лечится.
- Привет ей!

На улице тоже никого не было. Подошли к черной директорской «Волге».

— Свободен пока, Василий, я сам, — сказал Чуприна водителю. Взглянул на часы. — Часика через два позвони.

Директорская квартира располагалась неподалеку в одной из первых городских пятиэтажек элитного тридцать третьего квартала. На просторной площадке второго этажа была еще одна дверь, также обитая черным дерматином.

— Там твой хороший знакомый живет, — ухмыльнулся директор. — Рапсодов. Заходи. Полина Власовна, знакомься: Сергей Васильевич.

Полина Власовна подала руку Попсуеву, приветливо улыбнулась и скрылась на кухне. У Сергея как-то разом снялся напряг в теле и мыслях. Громадная прихожая полногабаритной квартиры с несколькими пальмочками в горшках произвела на гостя неизгладимое впечатление.

— Небось, лучше, чем в ночлежке? Тапки обувай, проходи в кабинет. А я пойду блюда закажу. Не ел, поди? Да и я весь день не трескал. На кухню не приглашаю, извини, погром. Раковины меняю. Вон на диван падай.

Попсуев не удивился, что директор сам меняет раковины. О Чуприне шла молва, что он всего в жизни добился своими руками, даже по дому и на даче все делает сам.

Сергей сел на огромный кожаный диван, огляделся. В угловой квадратной комнате с высокими потолками и двумя широкими окнами стоял широкий же стол и несколько стульев. Два книжных шкафа забиты книгами. В углу два кожаных кресла, журнальный столик, торшер. Попсуев наклонился к полу, разглядывая празднично-яркий паркет. На светлом фоне выделялись темные волокна, придававшие объемность рисунку. Сергей погладил плашки пальцами.

— Сам укладывал, — с гордостью похвастал Чуприна. — Ясеньвый. Плашки не абы какие — селек, два дня отбирал. Как?

— Классно, Иван Михайлович, — искренне похвалил Попсуев.

— Классно... — повторил Чуприна. — Вам все классно. Высший класс! Один чех обучил в сорок девятом году. Сам-то он мастер по старинным дворцовым паркетам.

— А тут чего делал?

— А тут бетон мешал. Зэк. Руки золотые, но горячие, с кем-то поцапался и сгоряча своротил скулу. А ему еще халтурку левую припаяли... Завод-то мы строили вместе со спецконтингентом в одной зоне. Там и работали, там и спали. Вот, хочешь альбом поглядеть, нигде не увидишь больше, даже в заводском музее.

Чуприна вытащил из сейфа в шкафу толстый в кожаном переплете альбом.

— Подь сюда. — Он сел в кресло, перевернул обложку. — Вот так завод начинался, с этой котловины, с этого болота. Я вон тот, худющий. Ты полистай пока, а я Полину Власовну проведаю, что-то она тянет.



На черно-белых фотографиях были запечатлены удивительно простодушные люди, прилежно-строгие или с застенчивыми улыбками и каплями света в глазах, со светлыми лицами, на которых вовсе не было того страха, о котором в последнее время прожужжали уши озабоченные народным счастьем телеведущие. Попсуев почувствовал в себе странную зависть к этим доживающим сегодня свою жизнь людям. С бутылкой «Петровской» водки зашел Чуприна, следом Полина Власовна закатали столик.

— Нам сюда, Поль, в креслах посидим. Падай, Сергей Васильевич. — Чуприна разлил водку, полюбовался на свет: — Янтарь, искры брызжут. Ну, за консенсус! Помидорки бери, Сергей Васильевич, закусывай, огурки. Сам солил. Тут вишневый лист, дубовый, смородиновый.

Попсуев с удовольствием похрустел терпким огурчиком, с наслаждением высосал сладкий острый помидор и с удивлением осознал, что не чувствует никакой дистанции между директором и собой, хотя отдавал себе отчет, что эта дистанция огромна, больше Скалозубовой.

— Полистал? Как альбом?

— Полистал. Сначала подумал — кладбище ушедших мгновений, а потом передумал — роддом будущих.

— Правильно передумал. Ты, я гляжу, поэт. На заводе должны работать поэты. Без них развития не будет. Кстати, ты стихи здорово читаешь. В ДК на вечере. Мне понравилось. В кружок ходил?

— В институтском театре играл.

— Всюду успел. — Чуприна помолчал, лицо его разгладилось, и в глазах появилась мечтательность. — Дивишься, поди, глядя на нас тогдашних? Я и сам дивлюсь. Будто и не мы то. У меня в смене Еськов был, помер уже. Когда женился, директор Земцов квартиру ему выделил, а тот — куды мне, комнаты хватит. И его тогда все прекрасно поняли, это сейчас за сапоги югославские удавятся. Общий у всех язык был, русский еще. Не знаю, когда вы оглянетесь назад, что увидите. Себя, небось, не признаете. Так быстро все меняется... и не к лучшему. К концу, что ли... — задумался Чуприна. — Ладно, соловья баснями не кормят, наливать надо. — Он с добродушным смешком разлил водку. — У нас поговорка на стройке была: думай меньше, бери больше, кидай дальше. Думать — не всегда полезно. Порой лучше брать и кидать, чем лежать и думать.

— Почему же, — возразил Сергей, — можно и с думой кидать.

— Ага, спасибо за подсказку. — Чуприна достал из кармашка заявление Попсуева, развернул его, прочитал, подняв бровь, с заметным удовольствием разорвал пополам и еще раз пополам и кинул обрывки в корзину под стол. Взял в руки рюмку и чокнулся с Сергеем. — За это и выпьем. Кто старое помянет, тому глаз вон. Хороша, сволочь, вот тут так и жгеть... Будем считать, ничего не было. Не тревожься, никто не выкнет... и волос с твоей головы не упадет.

— Да я за это и не беспокоюсь.

— Верю. Синькова ты хорошо покатал. Как по катку. Фехтовал за сборную?

— Да, приходилось, — покраснел Попсуев.

— Да ты не смущайся. Это я должен смущаться. Не каждый день за столом с обладателем кубков сидишь. Знаю про тебя. Среди наших эков

тоже спортсмены были, даже чемпионы. Давай на диванчик присядем, поглядим в альбом.

Они выпили по третьей рюмке и уселись на диван.

— Не торопишься? — обратился он к Попсуеву.

— Нет.

— И я не тороплюсь. Торопиться по жизни — не жить. Вот гляди. Это промплощадка. Ее сам министр выбирал. Два раза приезжал. Тут везде были болота. А вот под нами, — он похлопал по дивану, — озеро. Утки плавали, охотники охотились. Это я бурю с солдатами площадку беру пробы грунта для исследования. Чуток пробуришь — вода стоит: грунт-то — плавун... Это я на практике под Москвой. Вот принимаю оборудование. А вот в июле сорок девятого вместе с первыми кадрами, я за ними ездил в Воронеж и Ростов, в тех краях моя станица. На Северском Донце. Не бывал? А это моя первая хата.

На пожелтевшей фотографии была небольшая комната, одна к другой семь кроватей, тумбочки, стол в углу, на нем электрическая плитка.

— Тут нас было двенадцать человек.

— Не понял, Иван Михайлович. Кроватей-то семь.

— А чего тут понимать? На двоих одна кровать, спали по сменам.

Пока один на смене, другой отсыпается. Седьмая — для больных и командированных.

— А чего потолка не видеть?

— Высоко потому что, одиннадцать метров. С нас квартплату сначала не за квадратные метры, а за кубические брали. Потом разобрались. А вот эти красавцы — зэки. Они на самых тяжелых работах были.

— И что, вот так вместе, не отдельно?

— Тогда в школе мальчики и девочки учились отдельно, а с зэками нет, вместе. Да они нас и не напрягали сильно. Их словно и не было. Двери мы не запирали. Фортки настежь. Воровства не было. Да и чего воровать? Чайник, если у кого, это как ГАЗ М-20 «Победа». А из них треть были рецидивисты.

— И долго жили так?

— Да не очень. С полгода, а потом на поселке дома стали сдавать, семейным комнаты выделять. Там же расселяли и одиноких, человек по пять.

— В основном молодые все, — Попсуев вглядывался в лица, стараясь угадать в них сегодняшних стариков, — вот тут вообще дети. Только чересчур серьезные.

— Молодым везде у нас дорога. — Чуприна закрыл глаза и очень ярко вспомнил заводскую площадку сорок девятого года, «зону». Она была как огромная незаживающая рана, с многочисленными растворобетонными узлами, где день и ночь кипела работа и, как черви, копошился подлый люд. Станки под открытым небом. Стены без крыш, зияющие оконные проемы. Снег на оборудовании, вода. Нескончаемый холод, пронизывающий до костей... — Стариков-то и не было тогда, не успели еще состариться. Рабочим шестнадцать лет, мастерам — двадцать, начальникам — тридцать, ну а конторским — под сорок лет, фронтовики. А вот глянь-ка на чумазеньких...

— Шахтеры?

— Мы после смены. Это не уголь и не грязь, снег такой. От сажи все черное было, вон там паровоз стоял, отапливал корпус. А вот я — начальник смены, с усами, Полину охмурял, устанавливаю забор-«колючку» по периметру завода.

На фотографии Чуприна кувалдой загонял кол в землю. На следующей фотографии Попсуев с удивлением увидел намалеванных на стене голых женщин, мастерски прорисованные мужские и женские гениталии, отборную матерщину, забористые стишки.

— А-а, это наша «Третьяковка», — с усмешкой сказал Чуприна. — Попадались просто асы. Зэки всякие сидели. Но по пятьдесят восьмой ни одного, все уголовники. С нынешними не сравнить: вежливые, предупредительные, просто нянечки из садика. Когда стали монтировать оборудование, первыми стахановцами были они. Монтаж, кровь из носу, выполняли на сто пятьдесят один процент — за это им сокращали срок. А мы в качестве кураторов проверяли их работу и просчитывали процент выработки. С чехом я тогда и сошелся. Пршимысл звали, не выговоришь. Каюсь, разок-другой завысил, но процентов на пять. Колбасу иногда носил ему, водку. Пару раз задерживали, объявляли выговор. А на мне этих выговоров, как репьев на псе... Это я первого апреля пятидесятого года... видишь, какой гордый стою, подбоченился. А ведь это, можно сказать, после пинка чуть-чуть не вылетел с завода.

— Было такое?

— Да с кем не бывало по-молодому, — подмигнул Иван Михайлович. — Позвонила секретарша директорская, вызывает Земцов. Земцов крутой мужик был, не чета последующим директорам. Не то чтобы струхнул я, а прикинул, зачем я ему сдался «первого апреля никому не веря», к тому же суббота была... и не пошел. А в понедельник вызывают уже на ковер. Захожу, а он меня с порога по матушке: за тобой что, так-растак, конвой посылать?! А я что, я тоже не лыком шит, фронт за спиной, как крылья у ангела. Я ему в ответ. Он мне в три этажа, а я ему еще и с мезонином. А сами — глаза в глаза, кто кого, как два сверла. Штукатурка сыпалась от матюгов. «Диплом ложь на стол!» — орет. А я ему: «Хрен дам! Самому нужен! Не вы давали, не вам отбирать!» С тем хлопыстнул дверь и к себе ушел.

Чуприна замолчал, взглядываясь в фото. Казалось, в его глазах они оживали.

— А потом? — не выдержал Попсуев.

— Что — потом?.. А, с Земцовым?.. Помирились. Два мужика за- всегда помирятся, если у них крылья, как у ангелов, за спиной. Сам ко мне пришел.

— Иван Михайлович... — заглянула в кабинет Полина Власовна.

— Ну что ж, Сергей Васильевич. — Чуприна поднялся. — Рад был с тобой запросто поговорить. Ты мужик, гляжу, хоть и ерш, да в уме. Не прав Рапсодов, зятя двигает. Да и завидует: такую работу повернуть! На заводе вряд ли еще кто так сможет. Завтра в цех выходи, Берендея порадуешь. Станут забижать, по столам больше кадрами не разбрасывайся, ко мне приходи, жался. А лучше не жался. Я не всегда такой добрый... Ладно, ступай.

Попсуев поблагодарил хозяев, обулся, надел пальто и взялся за ручку двери. Ему не хотелось уходить из этого ставшего вдруг родным дома. Он со щемящим чувством подумал, что такой приятни к чужому углу он не испытывал уже почти пятнадцать лет.

— Да... — остановил его Чуприна. — Ты уж извини, в авторы тебя не впишешь, поздно, но и Бебееву кандидатом не быть! Отзовем автореферат. Тебя я отмечу, не сейчас. Эффект, что насчитают плановики для всех этих «авторов», перечислим на детдом. А на свои я еще одну коровенку в Голландии куплю, для нашего совхоза. Есть у меня такая традиция — премиальные на коров трачу, на голландскую породу. У них молоко — как сливки, жирность больше четырех процентов! Уж шибко люблю их продукцию. Больше заводской.

Попсуев молча кивнул — ему вдруг перехватило горло — и вышел с теплым чувством в груди. Весь свет показался родным, хоть и была темень на дворе, там, где тянулись рядами гаражи.

Из записок Попсуева

Только вышел от Чуприны, гляжу, от гаражей навстречу идет мужчина. Поравнялись. Бебеев. «Привет, — говорю. — К тестю?» А он, оказывается, и не мужчина вовсе, шарахнулся от меня как черт от ладана. Невольно захохотал ему вслед, как Мефистофель, и проорал: «Смотри, Робертино, защитишься — убью!» И так легко стало на душе, словно от смертного греха освободился. Главное не в той грязи, что вокруг, а в той чистоте, которая в тебе...

Вакансии всегда есть

Чуприна вызвал к себе Берендея, дольше обычного расспрашивал о цеховых делах, интересовался нуждами, что-то записывал в своей книжечке, а в конце встречи спросил:

— Ну что, Никита Тарасыч, кадров, говоришь, тебе не даю? Жалюсь всем, что не даю, жалься и мне.

— А чего жаловаться? Бесполезно!

— Почему — бесполезно? Небось, не вдую... Ладно, Берендей. Тебе сколь мастеров надо? Двух? Будут тебе молодые! Дронов, небось, уж просветил, пришли на завод. Трех человек хватит?

Берендей просиял:

— Иван Михайлович, конечно!

— Вот и ладно. А одного у тебя зараз заберу. Для компенсации.

— А кого?

— Да тоже из молодых, но трошки обкатанного. Попсуева отдашь?

— Нет, только не его!

— Почему?

— Чего спрашиваете? Нужен. Только стали разбираться с браком...

— Свяжский зарплату получает, пусть разбирается.

— Так нельзя, Иван Михайлович. Только подготовил себе спеца, старшим мастером провел — вы забираете!

— Вот и хорошо, что подготовил. Одного сковал, значит. Сердечное тебе спасибо. Он теперь для другого дела нужен. Все, не возражай, не порть себе день... Пстой-пстой, а уж не на место ли Свяжского ты его мыслишь?

— От вас ничего не скроешь, Иван Михайлович.

— А то! Не, мысль дельная. Я тоже, пожалуй, подумаю над ней. Сейчас рановато, но через годик-другой — почему же... Ладно, иди. Да, про футеровку на третьей печи не забудь!

Чуприна тут же вызвал Дронова и велел ему подготовить приказ о назначении Попсуева начальником второго участка, вместо Поповой.

— Как? — растерянно поглядел на директора Дронов. — Она... что?..

— Уходит. Разговаривал с ней. Не хочет, а куда ей дальше? Только вперед ногами. А это не дело — с завода. Ей на днях семьдесят. Она что, тебе родня?

— Нет. Ты ж хотел Попсуева на девятый цех бросить?

— Расхотел. Да ты не переживай! Все уйдем.

— Тебе-то, Иван Михайлович, грех жаловаться.

— А ты, Савелий Федотыч, не квакай. Чего тебе начальником цеха не сиделось? Я тебя не гнал. Вот и сиди теперь в своем болоте и не квакай.

— Да вот квакаю, раз в болоте.

— И не квакай.

Свято место пусто не бывает

Берендей был рад за Попсуева, но больше, конечно, огорчен потерей для цеха. «Раньше времени Серёга высунулся, и я не придержал. Чего ж будет теперь?..»

Заглянула Попова.

— Примешь, Никитушка?

— Да заходите, раз уж пришли, — вздохнул Берендей. — Приму, Анастасия Сергеевна. Я как терапевт: сплошные приемы.

— А что так тяжело вздыхаешь? Переел?

— Попсуева забирают.

— Куда?

— Не сказал. — Берендей ткнул пальцем вверх.

— Может, заместо меня?

— Куда — заместо тебя?

— Так я все, Никита Тарасыч, ухожу. Вот принесла заявление.

— Пстой-пстой. Что за день сегодня? Куда ты уходишь?

— А туда, куда все уходят. На пенсию. Состоялась у меня аудиенция с Чуприной. Поблагодарил он меня за доблестный труд... и, как в этой «Юноне»: «Я тебя никогда не забуду». Ну и про партию с правительством добавил.

— Шутите, Анастасия Сергеевна, да? Мне сегодня не до шуток.

— Да какие уж тут шуточки? На полном серьезе, Никита Тарасыч.

— Когда состоялась аудиенция? Я только что от него. Он и словом не обмолвился о вашем уходе.



— А что это ты сразу на «вы» перешел? Уже сразу и чужая стала? Вчера позвонил мне, пригласил. Чаем угостил.

— И когда отходная будет?

— Как и положено. Через две недели юбилей, в отпуск, а потом и вчистую. Уж, когда уйду, ты за моей Татьяной пригляди, одна она, сердечная. Мечется, втюрилась в твоего Попсуева, а он как кот с мышкой...

Анастасия Сергеевна говорила вроде спокойно, но Берендей за годы работы с людьми научился не только прятаться от их разъедающих, как кислота, чувств, но и безошибочно их угадывать. Судя по всему, старушка находилась в состоянии сильнейшего стресса, на грани обморока.

Берендей пригляделся к ней. На ее лице трудно было уловить что-то новое. Оно было все изборождено морщинами, длинный седой волосок торчал из родинки на подбородке, на лбу едва заметно розовело пятно от давнишнего химического ожога, да правая бровь была тоньше и светлее левой. Он перевел взгляд ниже, и ему стало не по себе от ее дрожащих рук. Анастасия Сергеевна судорожно сунула их под стол на колени.

Берендей нажал кнопку, заглянула секретарша.

— Надя, организуй нам с Анастасией Сергеевной чаек. И никого не пускай.

— Да спасибо, Никитушка, пойду я. Дел невпроворот...

— Не дури, Сергеевна! На хрен дела! Поговорим.

Больше часа Никита Тарасыч говорил ей непонятно зачем общие слова про то, что им обоим было понятно без всяких слов. Говорил про дачу, про отдых и лечение, про то, что пенсионный отдел ежегодно будет выделять ей путевку в санаторий. Про то, что она наконец-то походит по театрам и почитает книжки...

Берендею было очень стыдно говорить ей все это. По большому счету, утешать могла и должна была она — это было ее выстраданное право, и больше ничье. Но при этом он испытывал почти инстинктивную потребность высказать Анастасии Сергеевне все доброе, что накопилось у него в душе не только к ней, а и ко всем ветеранам, которые сделали его таким, каким он стал, которые донесли его жизнь до сегодняшнего дня, не замутив и не расплескав...

Когда Попова ушла, Берендей позвонил Чуприне.

— Иван Михайлович, у меня новость.

— Знаю. И не одна.

— А какая вторая? — насторожился Берендей.

— Попсуева готовь на ее место.

Из записок Попсуева

Как теперь подойти к ней? Похоже, она догадывается о моих отношениях с Таней. Строга, холодна, льдина. Пробовал с шуткой подходить, цветами, стихами, вызвал лишь недоумение. Такое ощущение, что она не от мира сего. Может, и впрямь из другого? А может, для нее *этого* мира нет?..

Напоминание о главном в жизни

Прошло две недели. Попсуев сдержанно упивался славой, но та, ради кого он и совершил свой подвиг, избегала его. За все это время Сергей, подменяя заболевшего мастера в своей бывшей бригаде, провел еще один цикл измерений. Несмеяну он встречал лишь на диспетчерских и ни разу не поговорил с ней. Он не раз задумывался, что делать ему в этой обычной, но для него необычной ситуации двусмысленности. Когда он думал о Татьяне или был с ней, он непременно вспоминал о Несмеяне, но когда находился рядом с царевной или просто думал о ней, то начисто забывал Таню. Вот и весь сказ, от которого было не по себе.

Как-то в начале ночной смены в конце коридора Попсуев увидел женщину в белом. Светланова шла ему навстречу, остановилась, поздоровалась с ним, а он вдруг взял ее за руку.

— Что-то хотите сказать мне, Сергей Васильевич?

— Нет, просто давно не виделись.

— Да, три дня уже... А у меня вот есть что сказать. Рекламация поступила. Завтра едем с вами на комбинат. Не помогли, Сергей Васильевич, ваши эксперименты. Прошел брак.

— А куда смотрит ОТК?

— В светлое будущее. Билеты на автобус возьмете?

— Чего ж не взять? Места рядом возьму, чтоб локоток ваш ощущать.

— Мы завтра едем, а послезавтра Берендей и остальные. Он передал, чтобы вы домой шли, а за себя Смирнова оставили. Деньги есть?

— Найдутся.

«Целый день одни, в гостиничном раю!» — ликовал Сергей.

До отправления автобуса оставалось пять минут, а Светлановой все не было. Сергей направился к остановке троллейбуса и тут увидел берендеевские «Жигули». Из машины вышли Никита Тарасыч и Несмеяна.

— Привет! — Берендей протянул руку.

— Привет, Никита Тарасович. А я уж беспокоиться стал, не опоздает ли Несмеяна Павловна.

— Со мной не опоздает. — В добродушно-снисходительном тоне Попсуев уловил хозяйскую нотку в отношении Несмеяны, и это разом остудило и отрезвило его. «Локотка не ощутим», — подумал он.

— Ну и где же ваш локоток? — первое, что услышал Сергей, как только они уселись на сиденья. — Да не держите руку на весу, устанете.

— Мне не привыкать, — буркнул Попсуев, но Светланова взяла его руку и положила на подлокотник.

— Вот так. Как ощущения?

— Божественные.

Автобус тронулся, и Попсуев не расслышал, о чем его спросила попутчица, но, видно, ответил впопад, так как Несмеяна улыбнулась. Минут десять Светланова говорила о том, что просил ее передать Попсуеву Берендей, а потом оба, убаюканные ездой, задремали.



Днем были в Чижевске. Их поселили в соседних двухместных номерах, в которых других постояльцев не было. До вечера они знакомились с материалами, подготовленными комбинатом.

— Пора ужинать. — Светланава посмотрела на часы. — Семь часов уже.

— Тут ресторан неплохой. Мы с Берендеем были пару раз.

— Я знаю.

Они заняли столик в глубине зала. Официант расторопно обслужил их. Для начала принес «Плиску», красную рыбку, лимончик.

Глоток коньяка согрел и отрезвил голову. Сергей стал смотреть на Несмеяну ясным взором и пытался понять, насколько серьезно у нее с Берендеем и помешает ли это его ухаживаниям. Не вникая в смысл фраз, он делился своими спортивными воспоминаниями, шутил, был в ударе. Несмеяна, похоже, оттаяла, улыбалась, но Попсуев все еще чувствовал себя рядом с ней мальчишкой.

— Куда пойдём, Сергей? — неожиданно спросила Светланава.

— Конечно, ко мне! — грубовато бросил Попсуев. — Если ты не против.

— Вот так сразу — к тебе?

— А чего тянуть?

— Действительно — чего? Пошли. У тебя душ хороший? У меня рожок забит.

«Вот и свершилось», — подумал Сергей.

— Отличный рожок, как брандспойт.

— Это обнадеживает, — улыбнулась Несмеяна, и ее улыбка показала Попсуеву обворожительной.

Еще не закрыв дверь, Сергей обнял спутницу.

— Постой, постой, постой! — Несмеяна освободилась из объятий. — Ну и клешни у тебя! Ты чего это, на стометровке? Посиди, подумай.

— О чем думать?

— О куртуазности и галантности. — И Светланава вышла, помахав Попсуеву ручкой, как ребенку. — Пока, пока, пока, мой милый Ланселот!

Увидев хмурого Попсуева утром, Несмеяна посочувствовала ему:

— Не выспался? Что ж так, Сергей Васильевич?

— Да думал ночью, что заразно все, что зовется куртуазно.

Что и говорить, начинался трудовой день, в котором куртуазностью и не пахло. Когда собралась вся комиссия и с утра до ночи не прекращались споры до хрипоты, о любви не думалось, но и то обстоятельство, что приехавшего Берендея поселили в одноместном номере, а все двухместные «доукомплектовали», наполнило Сергея тоской. Поздно вечером, когда все разошлись по своим комнатам, Попсуев пару раз выскакивал на улицу вроде как освежиться, а на самом деле — пройти мимо номера Берендея и услышать несущиеся оттуда душераздирающие звуки чужой любви. Вот только тихо было, тихо, ни звука!

Отчаянно ревело все внутри Сергея.

Из записок Попсуева

Не успел стать замом, а уже раскатал губу на начальника цеха. Куда рвусь? Накинешь тигровую шкуру, а станешь ли витязем? Да и какой витязь, одна суета. Ходить по цеху в поисках нарушений? Можно и не ходить. На летучке вассалы сами о них расскажут. Чем больше наклепают на других, тем больше премии достанется им. И все это под ор об общем благе.

Написал чушь. Все не так. Это поверхностный взгляд. А на самом деле все заинтересованы работать хорошо и честно, на совесть. Это понимаешь только после нескольких лет работы. «Берендеево царство» — самый большой и самый старый цех на заводе, в нем даже запах обрел привкус истории. Не пропитавшись им, не понять, почему для рабочих цех милее родного дома. Хочу обратиться к вам, господа балаболы, от имени трудящегося народа: не воротите нос от запаха производства! Это не запах потребления, который сопутствует всякому разложению.

Господи, кому я это и для чего написал?..

Не каждый день счастье

С Несмеяной Попсуев был на «вы» и неизменно вежлив.

— Только после вас, — сказал он и перед лифтом, столкнувшись с нею в вестибюле заводоуправления.

«Что она делает тут? — настороженно подумал Сергей, с досадой на свою ревность. — Хотя... чего это я? Нас ничто не связывает».

— В лифт первым заходит мужчина, — бросила Светланова, зашла первой и нажала кнопку.

Она глядела сквозь Попсуева, когда тот выпустил ее на третьем этаже. «Дура!» — едва не крикнул он ей вслед.

Сергей постоянно ощущал присутствие Несмеяны. Часто казалось, что она стоит у него за спиной и смотрит ему в затылок. Запах ее, свежий, как запах арбуза, проник внутрь, наполнил сладкой вожденной влагой. В ожидании непонятно чего его била дрожь, и он готов был ежесекундно взорваться. Вечером Попсуев решительно услад Татьяну домой, сославшись на нездоровье.

Сергей помнил много цитат и афоризмов. Он с шести лет читал классиков, так как в домашней библиотеке были только подписки, и невольно запоминал все, что нравилось, волновало или было непонятно. Почему-то больше других легли на душу Шекспир и Мольер, и еще Ростан, пьесу которого «Сирано де Бержерак» он выучил наизусть в восемь лет, после чего и пошел в секцию фехтования. Потом уже, спустя годы, запомнившимся фразам возвращался их первоначальный смысл. Он нет-нет да и цитировал их, как правило к месту.

Попсуев весь следующий день пребывал в возбужденном состоянии, а после работы увязался проводить Несмеяну домой. Настроение у него было паршиво-приподнятое, ему казалось, что он нерешителен, но в то же время нацелен на победу, как клинок в бою. Как нарочно, в небе светила полная луна, и две тени не давали обогнать себя. По пути Сергей

сыпал цитатами, пока спутница не осадила его, уже возле своего подъезда, прямо в конусе света:

— Вы, Попсуев, достали книгу мудрых мыслей? Помогает, когда мало своих. Пять минут почитаешь, и уже пора девушкам сливать.

— А что еще делать мужчине?

— Мужчине? — Попсуев впервые заметил огонек в ее глазах. Он готов был поклясться — это огонек ярости.

«Задел, наконец-то зацепил тебя! — ликовал Сергей. — Вот где твой черт прячется, в словечках!» И он резко, но не сильно взял ее за руки и взглянул ей в глаза. От ее ли глаз, от близости ли, а может, от своих взметенных чувств, воспринявших спокойствие Несмеяны как согласие на близость, Попсуев почувствовал в себе восторг и слабость. Сергей дрожал, и ему казалось, что и она дрожит и вообще — от страсти дрожит весь мир. Несмеяна глядела не моргая, как кошка, ему в глаза, и в них он ничего не видел, только две свои маленькие бестолковые головы. Она не освободила рук, но и не давала обнять себя. И как хорошо, что никого не было рядом!

— Что же, мужчина... — вздохнула она, так и не переглядев Сергея. — Пойдем. В гостинице вы поторопились. Тетя Лина у тети Шуры гостит. — Она высвободила свои руки, не прилагая усилий, воздушно-небрежным жестом.

Поднимались по лестнице молча, Несмеяна впереди. Попсуев, закрыв дверь, обнял ее в прихожей, но она вывернулась («Какая гибкая и сильная!» — подумал Сергей) и покачала головой:

— Опять?.. Куртуазно поужинаем, я есть хочу.

Попсуев ел рассеянно, без аппетита, не замечая вкуса пищи и вина, будто ему предстоял бой с чемпионом Европы. Несмеяна с насмешкой — так казалось ему — глядела на него. Разговор не клеился. Она включила приемник.

— Наелся? — спросила хозяйка, убирая посуду в раковину. Не спеша помыла ее, аккуратно расставила в сушке. Она точно нарочно тянула время, видимо, получая от этого тончайшее наслаждение. Вытерла плиту. Потом стол. Пальцем отковыряла приставшую точечку. Подмела крошки.

Попсуев молчал. Делал вид, что слушает музыку из приемника, а сам, как кот, следил за каждым ее движением. Она все время была на расстоянии вытянутой руки, даже ближе, но он не посмел прикоснуться к ней.

— Может, еще чего?

— Спасибо, очень вкусно.

— Садись в кресло, — махнула рукой Несмеяна. — Я сейчас.

Она ушла в ванную. Зашумела вода в бачке, забил громко, потом тише душ, послышался шелест, звякнули баночки. Минут через десять она вышла в халате, застегнутом на все пуговики.

— Теперь ты. Полотенце голубое.

Попсуев принял душ, не чувствуя в себе ни малейшего желания близости. Перед глазами стоял наглухо застегнутый халат. Растерся докрасна махровым полотенцем и, обвязавшись им, вышел из ванной.

Несмеяна возле трюмо легонько вбивала в щеки и в лоб крем.



— Помылся? Воду не расплескал?

— Не расплескал, — ответил Сергей, подходя к ней и не зная, обнять ее или подождать.

— Садись в кресло. Это сюда ранили? — Она указала мизинцем на шрам. Поставила баночку на трельяж, сделала к Попсуеву два шага. — Нравлюсь? — спросила она. На этот типично женский вопрос у Попсуева всегда был готов четкий положительно мужской ответ. Но сегодня что-то не складывалось.

— Да, — произнес наконец Сергей. — Ты богиня.

— И что? — спросила богиня, подойдя к нему.

Попсуев встал с кресла, обхватил ее руками и так сильно прижал к себе, что она взвизгнула по-бабьи.

— Ты не хочешь себя оставить Татьяне?

Он глядел ей в глаза так, что Несмеяне стало на мгновение жутко.

— Не пойму, ты меня так сильно любишь или ненавидишь?

Попсуев опустил руки, молчал.

— Посиди подумай, а я пока посмотрю новости. — Несмеяна включила телевизор. — Оденься, прохладно ведь.

Попсуев стал одеваться.

— Оставайся, поздно уже. — Несмеяна постелила простыню на диван, дала одеяло и подушку. — Ты тут, а я там. Не перепутай. — И ушла в спальню.

Уснул Сергей только под утро. Он глядел на круглую луну в окне, и та подсказывала ему: «Иди! Иди в спальню, она ждет!» — но он так и не пошел. Почему не пошел? Ответ на этот вопрос он искал много лет.

Утром Попсуева разбудили:

— Выглянь в окно, мусорка не пришла? Вынеси ведро.

Возле машины Попсуев столкнулся с Закировым. Тот не выразил удивления, пожал ему руку и, бросив:

— Прохладно что-то, — зашел в подъезд, не дожидаясь, когда Попсуев выскоблит палочкой прилипшую бумажку.

Когда уходили из дома, Несмеяна сказала:

— Ты лучше, чем я думала, — поцеловала Сергея в щечку и пальчиком стерла след от губной помады. Она тоже не спала всю ночь.

На работе Сергей и Несмеяна виделись только на диспетчерских. Надо отдать должное Закирову, никто в цехе не узнал об их как бы романе. День, другой, третий — ни разу не перекинулись словом, будто не о чем было говорить и не мучила обоих бессонница. Татьяны Сергей избегал, сославшись на неотложность задания.

Утром в пятницу Попсуев едва не уснул на совещании. Уронив голову, встрепенулся: на него насмешливо смотрела Несмеяна. Вконец измотанный, он подсел к ней в столовке, тускло взглянул на нее, увидел все ту же насмешку в ее глазах.

— Как тетя Лина? Все еще у тетя Шуры?

— У тетя Шуры.

— Встретимся?

— А мы разве расставались? — прикоснулась она к его руке.

За ужином Несмеяна сказала:

— Знаешь, что мне больше всего хочется? Невестой побыть, в фате... и чтоб не совестно было при этом.

— Ты что, девушка?.. А как же?..

— Сплетни обо мне? Так они и есть сплетни. Доброе всегда в сплетнях. Поживи на диване месяц. Выдержишь — в загс поведешь. Нет — нет.

Ничего не ответил Попсуев. Покорно остался. И вновь в окне светила провокатор луна, и вновь не давала спать своими коварными речами.

Цена искренности

В субботу Попсуев проснулся часов в девять, Несмеяна возилась на кухне. Шкворчало что-то на сковородке, пахло ванилью. От постоянного недосыпа Сергей был слаб и разбит, как после болезни.

— Умывайся скорей! — крикнула Несмеяна. — Сырники готовы.

После сырников она отправила Попсуева в общежитие.

— Давай, давай, кабальеро, тетя Лина сейчас заедет. Не хочу объясняться. Тетушка понимает все чересчур прямолинейно. В понедельник она уйдет.

В общежитии Попсуев, не раздеваясь, упал на кровать и тут же уснул. Вскоре пришла Татьяна с сумкой продуктов, скинула пальто, присела к нему на кровать и залезла под рубашку холодными ладошками.

— Замерзла! — прижалась она к нему. — Ты чего три дня не заходил?

Сергей инстинктивно оттолкнул ее от себя и раздраженно бросил:

— Танюха, давай прервем на время наши сношения, а?

У Татьяны на глаза навернулись слезы. Попсуев захотел сгладить грубость, обнял девушку, но она вырвалась, подхватила пальто и выскочила из комнаты.

В воскресенье Попсуев проспал весь день, а в понедельник после диспетчерской хотел договориться с Несмеяной на вечер. Та о чем-то беседовала со Свяжским. Сергей вышел в коридор. Там его поджидала Татьяна, сразу же направившаяся к нему.

— Сергей, у меня к тебе разговор.

— Извини, я занят, — оглянулся Попсуев. Из кабинета вышла Несмеяна. Сергей подался было к ней, но она прошла мимо него, как мимо пустого места. Татьяна, как показалось Попсуеву, с ненавистью посмотрела ей вслед.

— О чем ты хотела поговорить? — спросил он.

— Ни о чем! — бросила девушка, развернулась и ушла.

Попсуев пошел следом на участок. Мыслей не было никаких, и к легкому шуму в голове прибавился шум цеха.

— Ну и как? — крикнул Закиров, столкнувшись с Попсуевым в центральном проходе.

— Что? — переспросил Сергей.

— Не фригидная?

— Что? — Попсуев даже не поверил, что услышал именно эти слова.

Закиров махнул рукой и пошел дальше. А Сергей вдруг почувствовал из-за неопределенности грядущих часов злость на самого себя. С Не-



смеяной было все ясно, она держит марку, а вот с Танькой надо объясниться. Он свернул в ОТК и в дверях столкнулся со Светлановой и двумя контролерами.

— Вы ко мне? — спросила она.

— Да... Нет.

— Так да или нет? — насмешливо посмотрела она на него. Контролеры прыснули со смеху. — Подождите меня там, через пятнадцать минут приду, — сказала она им. — Поднимемся ко мне?

Попсуев кивнул. В этот момент из комнаты ОТК вышла Татьяна. Ее взгляд буквально впился в них обоих. «Это все», — решил Попсуев, развел руками в стороны и с чувством облегчения поспешил за ушедшей вперед Светлановой. В кабинете Несмеяна, не садясь за стол, спросила, глядя Попсуеву в глаза:

— Что, парниша, оставил себя еще и на Татьяну? Хо-хо?

Сергей сделал к ней шаг, но она упредила его порыв:

— Не подходи. Разберись-ка в своих чувствах.

Тут в кабинет зашел Берендей:

— Несь, я забыл... А, Попсуев...

— Значит, подумаете над моим предложением? — обратилась к Попсуеву Несмеяна, а затем к Берендею: — Слушаю вас, Никита Тарасыч.

Сергей с горящими щеками вышел. Он вновь спустился в цех и вновь встретил в центральном проходе Закирова. Тот опять что-то прокричал ему, но он не расслышал и отмахнулся. Ему стало вдруг все равно, что о нем думают другие, что о них с Несмеяной думают другие, что думает о них и о нем Татьяна. Ему было лишь не все равно, что думает о нем и об их отношениях сама Несмеяна. Он понял, что, не прояснив все, к прежним отношениям с царевной не вернуться.

Попсуев направился в комнату ОТК. Поздоровался со всеми, подошел к Татьяне:

— Тань, выйди, — и вышел сам.

Татьяна вышла следом.

Они отошли в сторонку к подоконнику, и там Попсуев в бледном свете из окна разглядел бледное, осунувшееся лицо девушки. На нем не было макияжа, оттого оно казалось детским. Сергею стало вдруг безмерно жаль Таню, и он почувствовал страшное раскаяние за нанесенную ей боль. И в то же время злился на ее привязанность к нему.

— Прости, — сказал он ей.

— За что? — подняла Таня на него глаза, и он не выдержал ее взгляда.

В этот момент, как нарочно, появилась и Светлана.

— Да что же это такое! — вырвалось у Татьяны. Она даже ударила себя рукой по ноге.

— Воркуете? — бросила Несмеяна, заходя в комнату.

— Таня, прости, — повторил Попсуев, но уже не так искренне, как до этого.

— Да не за что мне прощать тебя, — вздохнула та и ушла к себе.

— Не за что — так не за что... — пробормотал Сергей, чувствуя себя подлецом.

Мятущийся да успокоится

Вечером Попсуев два раза направлялся к Несмеяне и оба раза возвращался. В третий раз возвращаться не стал. Шел одиннадцатый час. «Надо идти в ногу со временем. Лишь бы не было тети Лины». Дверь открылась. Несмеяна была босиком в ночной рубашке.

— Ты одна?

— Нет, с Горби... Заходи. Теть Лиана захворала, осталась у тетя Шуры.

Сергей зашел.

— Холод от тебя, — поежилась Несмеяна. — Чай будешь?

— Буду.

Она надела халат, влезла в тапки и прошла на кухню.

— Просто заглянул или не просто?

— Я бы не хотел сложностей.

— И как же ты это хочешь совмещать?

— Что?

— Кого. Меня и Татьяну.

— С чего ты взяла, что я с ней встречаюсь? — зло спросил Попсуев.

— Брось, — устало сказала она. — Об этом разве что песни не поют.

— Да я с ней месяц уже не встречался! — воскликнул Сергей.

— Соскучился?

— Не будем, а?

— Тебе с медом? И еще... Или с вареньем?.. Переступая порог этого дома, ты должен меня слушаться во всем. И не врать.

— Слушаться?

— Да, ты должен покоряться мне во всем, — тихо произнесла Несмеяна. — Если ты, конечно, мужчина, а не самец. Если ты рыцарь, а не оруженосец.

— Не понял...

— Понятно, что не понял. Знаешь, чем отличается рыцарь от оруженосца?

Попсуеву стало тоскливо, и он вспомнил бледное лицо Тани у окна.

— Рыцарь несет оружие, а оруженосец — носит.

— Да? — Сергей не уловил разницы, но почувствовал истинность ее слов.

— Да! — Впервые Несмеяна произнесла хоть одно слово в запальчивости. Попсуев залюбовался ею: она будто только что нанесла саблей неотразимый удар.

— Нести... носить... Не понимаю, — сказал он, — какая разница?

— Не лукавь, все ты понял! Ты должен покоряться мне во всем. Даже в том, с чем не согласен. Тогда нас могут связать более высокие отношения, чем твои с... другими.

Сколько пренебрежения в этом слове!

— Покоряться — это как? — тихо спросил Попсуев.

— Принадлежать только мне.

— Прости, — сказал Попсуев, у него голова шла кругом. Сергею показалось вдруг, что Несмеяна воспринимает его как механического



болванчика, заведенного на единственное возвратно-поступательное движение мужского поршня и на одно слово «прости». На лице Несмеяны он увидел то, чего больше всего боялся увидеть — снисходительность. — Прости, я не могу себе этого позволить. — Он вышел в прихожую и стал надевать туфли.

Он на минуту дольше, чем следовало, ждал, когда она выйдет проводить его. Не вышла. Сергей тихо прикрыл за собой дверь. «Рыцарь — откуда это у нее?» Он тоже в детстве читал про всяких Квентин Дорвардов, фильмы смотрел, но никогда не любил их. «Им всем далеко до Сирано! И вообще, мне по душе больше оруженосцы. Почему? Да черт их знает — почему!» Он изо всех сил пнул какой-то сучок, тот с треском врезался в стену дома.

Мысли о Несмеяне не отпускали его. Ее лицо стояло перед глазами, и с него не сходило снисходительное выражение. «Я хочу принадлежать только тебе, — говорил ей Попсуев. — Я и принадлежу только тебе, но не хочу, чтобы ты требовала это!» Почему он не сказал ей об этом? Вернуться и сказать?.. Он уже подходил к общежитию. Остановился и еще раз задал себе этот вопрос. Попытался представить, как Несмеяна отреагирует на него. Ползти с извинениями?.. Нет уж, другие пусть ползут. Он не привык подчиняться женщинам, тем более покоряться им. Это ненормально. Но ответ-то надо дать...

Сергей развернулся и, ускоряя шаг, пошел к ее дому. В освещенном окне стояла Несмеяна. «Приворожила, проклятая», — подумал он, заходя в подъезд. Его, возбужденного до предела и одновременно подавленного, встретила приоткрытая дверь, тоненькая полоска света. И сразу же стала ясна разница между словами «несет» и «носит»: курица яйца несет, а петух — носит.

Несмеяна поговорила со своими тетками, объяснила им изменения в личной жизни, завершила, что через три недели будет свадьба, и тетя Лина перебралась к тете Шуре. А Попсуев перетащил из общежития свои вещи к Несмеяне, чемодан с одеждой и несколько коробок книг.

Они по-прежнему спали врозь. Несмеяна перед сном подходила к нему и садилась на диван. У Сергея в эту минуту голова шла кругом. Думая, что она испытывает его, он не решался даже взять ее за руку. Она, как когда-то матушка, гладила его по голове, целовала в лоб и шла в спальню. В спальню Попсуев не зашел ни разу.

На работе вскоре узнали об их «сожительстве», несколько дней шушукались за ее спиной, подначивали его, а потом и это надоело всем. Женщинам даже быстрее, чем мужикам. Жизнь перемолола и эти куски судеб. Одна лишь Татьяна, казалось, не отреагировала на цеховой роман, будто ее это вовсе не касалось.

Из записок Попсуева

Едва успели на электричку. В магазине купили две бутылки ацидофильного молока, а тетя Лина напекла пирожков. Народ ехал готовить дачи к летнему сезону. Уже месяц назад с парковых дорожек стали ис-



чезать ночами плитка и поребрик, а с лавочек — рейки и даже болты с гайками.

Сели у окна. Пирожки пошли за милую душу. Несмеяна рассказала, что тетушка до слез обожает Стефана Цвейга, что ей на день рождения обычно дарят новый фартук и томик Цвейга и что квартира — ее. Специально сказала?

На участке Поповых увидели Анастасию Сергеевну. Не хватало только Татьяны. Вспомнил, как она все спрашивала меня, почему в Сибирь приехал. «Да вот, вслед за бароном Мюнхгаузеном», — ответил я. «А, как барон, значит... понятно».

Остановились возле калитки. По участку бродили куры, рылись в земле, разгребали прошлогодние листья.

— Лист надо собирать, да все недосуг. Кур сдуру в том году завела, — стала рассказывать хозяйка. — Мороки с ними, а еще больше — с петухом. Бароном назвала, Танька посоветовала. — Она облизнула губы и очень выразительно посмотрела на меня. — Они у меня все по именам: Петрушка, Клуня, Лисичка... Как родные. А Барон, наглец, к курам не подпускал, на ноги наскакивал, угрожал.

— А зимой им не холодно? — спросила Несмеяна.

— Да нет, зимовали они в городе. В теплом гараже. Всю зиму покоя не было. Ночью вскочишь и бежишь проверять, не дует ли им. Как-то курочку подсадила им другой породы. Так они ее, иностранку, клевать стали. Как приду, она, словно кошка, вокруг ног кружит и кружит. А петуху она приглянулась. Новенькая, чего ты хочешь! — Анастасия Сергеевна снова взглянула на меня и облизнула губы. — Так он, паразит, отбивать ее у меня стал. Наскочит — клюнет, наскочит — клюнет... Пришлось поменять на другого петушка.

— А это, значит, не Барон? — откашлялся я.

— Другой, но тоже Бароном зову. Петухи — они ж все одинаковые.

— Все бароны, — согласилась Несмеяна. — Яйца не несут.

— Носят, — уточнил я.

Несмеяна расхохоталась. Попова с удивлением взглянула на нее.

— Пошли мы, Анастасия Сергеевна. Дел много разных.

— Ступайте. Бог в помощь.

Но мы прошли мимо дома Несмеяны до леса, углубляться не стали, боясь клещей, а побродили по тропинкам, где не было сухой травы. От свежего воздуха заболела голова. На участке дел было много, но ничего не делали. Сидели, разговаривали, наслаждались погожим деньком. В пять часов пошли на электричку. Поднялись на мост. Остановились посреди реки, полюбовались видом. На мгновение мне показалось, что все это мираж. Но мираж вечный.

— Мы тут, а вокруг — вечность, — произнесла Несмеяна и поежилась.

— Еще бы на электричку успеть, от вечности десять минут осталось.

— А мы бегом! Кто быстрее?

Мы припустили в горку. Несмеяна отстала, и я протянул ей руку:

— Обопритесь, женщина. Мужчина в гору заходит первый...

Размолвка

Повздорили на ровном месте. В субботу Попсуев с утра стал рассуждать о сущности жизни. Сергей задумался об этом с прошлого четверга, когда вспомнил о Тане и о радости, которую дарила ему «пончик» своими объятиями. А еще он вдруг вспомнил, как пришел к Катьке Петровой из соседнего подъезда пригласить ее на свой восьмой день рождения. Девочка была одна дома. Закрыв дверь, она деловито сняла трусики, приказала и ему сделать то же самое, после чего объяснила, что делать. Он не помнил, что делал, помнил лишь свой стыд после этого, а Катька похлопала по кровати и сказала: «Вот, а то папка с мамкой скрипят тут каждую ночь, а мне говорят: рано. А чего рано? Мне — самое то. А тебе?»

Внезапно Сергея пронзила мысль, что с тех пор в нем и живет кто-то другой.

Стоит мужчине заговорить о сущности жизни, женщина тут же сведет ее к пыли на полках и старым вещам, которые давно пора было выкинуть на свалку. И это так: выкинь хлам из памяти, сотри пыль с глаз — очистишь жизнь. Несмеяна, не дослушав Сергея, попросила прибраться в квартире, пока она готовит обед. Он прибрал, но лучше бы не делал этого. Все оказалось расставленным по другим местам, и хозяйка долго не могла найти одежную щетку.

— Куда ты ее дел? — в раздражении спрашивала она, соображая, куда же он мог ее сунуть. (Сергей пару дней назад озорно поглядывал на Татьяну в упор, словно раздевал ее! Досада не ушла до сих пор, Несмеяна физически ощущала ее.)

— Съел. Вон она, на полке.

— Что она делает на книжной полке?

— Читает.

— Тебе все хаханьки! — сорвалась она. — Ничего поручить нельзя!

Попсуев (она поняла это) с трудом удержался от грубого слова. После этого он весь день молчал, дулся, глядел в книги, но, судя по всему, не читал, а что-то соображал. Пообедали молча.

— В кино пойдем?

Он пожал плечами и ничего не ответил.

— Может, к Закировым заглянуть? — через полчаса спросила Несмеяна.

Попсуев и тут ничего не ответил. Ей уже хотелось скандала, крика, чего угодно, но не этого ледяного безмолвия. На миг ее пронзила догадка: «А ведь это я его заморозила!» — но всего лишь на миг; суета в мыслях вновь увела в суету дел.

— Тогда пошли в кафе! — скомандовала Несмеяна. — Выпить хочу, коньяку!

Коньяк пах клопами.

— Пять звездочек, — сказал Сергей. — Чего носят с ним?

На эстраду поднялись музыканты во главе с гривастым саксофонистом.

— Знаешь его?

— Да кто ж его не знает?





— Давно?

— С детства.

Оркестр исполнил попури, а потом музыканты положили свои инструменты и сели за столик. На эстраде остался один пианист, заиграл вальс. Гривастый подошел к их столику и обратился к Попсуеву:

— Вы позволите на танец вашу даму?

Несмеяна с улыбкой подала ему руку, и они закружились в вальсе. После танца саксофонист вернул партнершу Попсуеву и поцеловал её руку.

— Скажешь, не знакома с ним?

— Я говорила, что знаю его с детства. Он был учителем музыки в школе.

Вечер был окончательно испорчен.

Дома Попсуев сел на диван, помолчал, а потом спросил:

— Интересно, сколько ты еще будешь мучить меня?

Несмеяна улыбнулась, своей улыбкой уязвив Сергея. В сказках пишут что угодно, даже то, что Царевну Несмеяну можно рассмешить, а потом жениться на ней. А вот в жизни — черта с два! Не то что рассмешить, подвигнуть на улыбку нельзя. А улыбнется, так лучше и не надо! «У нее такое устройство лица, — рассуждал Попсуев. — Как у кошки. Кошки не улыбаются». Он вспомнил японский фильм, в котором изнасилованные и убитые самураями девушки превратились в кошек и потом встречали на глухой тропе в женском обличье своих обидчиков, завлекали их в свое жилище, и когда самураи начинали раздевать их, вгрызались им в глотку. Попсуев представил, как Несмеяна вгрызается ему в глотку, но ужаса не почувствовал, а одно лишь наслаждение. «Вот так начинается мазохизм, — подумал он. — Сколько терпеть? Сейчас обниму, не вырвется...»

— Я? Мучаю? Тебя? — задала Несмеяна извилистый змеиный вопрос, не требовавший ответа.

Опять разделалась с ним, как с мальчишкой! После этого не то что любить, а и крыть нечем. Сергей почувствовал в себе дикую ярость, охватившую его, как порыв ветра. Он подскочил с дивана.

— Да! Ты! Мучаешь! Меня! Сколько! Можно! — отбил слова Попсуев и кулаком пробил дверцу шкафа насквозь. — Сука! Это! Я! Не тебе!

От удара лопнула кожа на пальцах. Сергей сунул руку под воду. Несмеяна, морщась, обработала ему рану и перевязала руку.

— Ну и дурак же ты, Попсуев! Ей-богу, сумасшедший дурак. Как можно с тобой общаться? Да еще замуж за тебя идти...

Попсуев ничего не ответил, лег и отвернулся к стене. Несмеяна чувствовала, что Сергей внутри себя ведет очень напряженный диалог с нею, но так и не услышала от него за два часа ни единого слова. Наконец ей надоело быть глухой в собственном доме.

— Ну что ты набычился, как дитя? Хочешь побыть один, побудь! — вырвалось у нее, и она тут же пожалела об этом.

Попсуев чересчур поспешно оделся и ушел, буркнув:

— Пока. Я в общагу.

На севере, на морозе шелестит дыхание. Точно так же шелестят ледяные слова, бросаемые при расставании: после них настает север. Несмеяна встала у окна, но Сергей наверх не взглянул.

Попсуев уходил все дальше и дальше по тропе. Прямо, прямо... Все, кто провожал его, растаяли в тумане. И вот он остался один. Но впереди слышались чьи-то шаги и голоса, справа и слева в кустах и под деревьями звучал смех. То ли курили сигареты, то ли догорал костер — в полусумраке тлели огоньки. Ветерок освежил Сергею лоб, пошевелил волосы на голове. Комар сел на шею, но он не почувствовал укуса, хотя непостижимым образом видел откуда-то сверху, как комар сел ему на шею и пьет из него кровь. Он прихлопнул комара, посмотрел на руку — нет, следа крови не было, да и сама рука была бледной, даже какой-то неестественно-бледной в неверном свете луны.

— Сергей! — услышал он, вздрогнув от неожиданности. Он ожидал окрика или еще чего-нибудь в этом роде, но никак не того, что его окликнут по имени.

Попсуев остановился. К нему кто-то приближался из зарослей. Вышла женщина.

— Здравствуй, Серёженька... — Она молчала, но он услышал эти слова. От них страшно заколотилось сердце.

— Мама... — прошептал он пересохшими губами.

Открыл глаза — стена, батарея, полотенце на ней. Уже было светло. Зачесалась шея, он почесал это место, глянул на руку. На пальцах была кровь.

Неделя прошла, как повздорили. Желание увидеться с Несмеяной стало болезненно острым. Даже мысль о ней причиняла Попсуеву физическую боль. Все эти дни сдерживаемая в нем агрессивность просилась наружу, но ее не на кого было выплеснуть. «Надо выпить, — решил Сергей, — а то башка лопнет». Выпил, позвонил Татьяне и пригласил ее к себе. А когда уже пригласил, подумал оторопело: «А ведь Несмеяна не я нужен и моя страсть, ей нужно то, что я не смогу дать ей, ей нужна любовь...»

Змеинный шорох беды

В воскресенье Сергей не пришел, не позвонил, а потом всю неделю избегал Несмеяны на работе. Спать Попсуев ходил в общежитие. Несмеяна решила, что он придет в пятницу вечером, так как на утренней диспетчерской они перекинулись парой ничего не значащих фраз и даже соприкоснулись руками, и она не ощутила в нем того льда, от которого все вдруг застыло в прошлую субботу. Она запекла утку с яблоками, поставила на стол бутылку «Котнари». Ждала до одиннадцати часов. Сергей не пришел.

Ночь прошла тревожно. Почему-то всю ночь она ждала звонка. Даже не в дверь, а по телефону. Ожидание дрожало в ней, как паутина, в которой она запуталась, словно муха. Еще не прозвенел звонок, Несмеяна знала, что он прозвенит. Еще ничего не произнес глуховатый голос, она знала, что произнесет. Еще никуда сама не пошла, она знала, куда пойдет. Она знала, что это произойдет, знала до того, как это произошло. Звонку предшествовал какой-то змеинный шорох беды и мысль: «Все как-то не так».



Несмеяна проснулась и подумала о том, что вчера не закрыла свой кабинет. После обеда была конференция в ДК, и она оттуда направилась домой. Но должны были закрыть. А и не закрыли, ничего страшного, все в сейфе.

Звонок прозвенел неожиданно. Кто-то, не представившись, вызвал ее в заводское общежитие. «Господи, в субботу поспать не дадут», — проворчала Светланава, поглядев на часы, на которых стрелка только-только приблизилась к семи, но не спросила, в чем дело, и даже не поняла, мужской был голос или женский, глумливый какой-то, недобрый. Вроде знакомый, но чужой. И зачем идти — тоже не сказал.

Волнуясь, она поспешила в общежитие, даже не подумав о том, что ее кто-то разыгрывает или просто ошиблись номером. Она не хотела думать о какой-нибудь беде с Сергеем, гнала от себя эту мысль, но та вертелась, как паршивая собачонка. Что-то случилось с кем-нибудь из ее девчат, Мосиной или Завирахиной? Эти вечно учудят...

Когда Несмеяна подходила к общежитию, ей стало казаться, что звонок и голос ей приснились. Но было уже поздно, все равно пришла. «Сейчас найду, меня спросят: к кому? Отвечу: к Попсуеву... Да, конечно же, к нему! Что с ним? — Сердце сжалось в предчувствии неминуемой, уже свершившейся беды. — Он вроде как был вчера здоров. И глядел по-доброму, не колюче и не угрюмо...» Чтобы больше не думать непонятно о чем, она глядела во все глаза перед собой, но ничего не видела: расплывалась дверь, лестница.

— Я в четыреста двадцатую, к Попсуеву.

Светланову пропустили, не спросив паспорта. Бегом поднялась на четвертый этаж, чувствуя на себе чей-то взгляд, подошла к комнате № 420, хотела уже постучать, как шестым чувством поняла, что дверь не закрыта. Предчувствуя недоброе, Несмеяна справилась с дыханием, громко кашлянула и зашла.

Глазам ее предстали два голых тела на узкой кровати, не прикрытые ничем. Сергей лежал у стены на спине, женщина, обняв его и положив на него ногу, на боку. Эти голые тела, насытившиеся и уставшие за ночь, были погружены в такой сладкий сон, что никак не отреагировали на шум. Даже не пошевелились.

Светланова долго смотрела на них, тупо и без интереса, как на куриное мясо на прилавке. Тюкала в висках кровь и вертелась мысль: «Сколько белого мяса... одно мясо... словно неживое... лучше бы они умерли... или я... все равно». Она впервые испробовала на вкус слово «оторопь», оно оказалось совершенно пресным: вымоченная курятина, да еще с душиком; вот только давило, ах как давило на сердце! И так было тяжело от собственной незащищенности перед голой, неожиданной, наглой агрессией! Потом уже увидела одежду, разбросанную по полу и стульям, пустые бутылки из-под вина, огрызок яблока, распотрошенную пачку печенья. «Предал, предал... Вот она, голая правда. Как противно!» Она вышла, потом зашла вновь. Не глядя на лежащие сбоку тела — ее не интересовало, разбудила она их или нет, они для нее были мертвы, хуже, чем мертвы, они для нее были кусками куриного мяса на прилавке! — подошла к столу и на листе бумаги размашисто написала: «Одобрю выбор, проваливай навсегда».

Пришла домой, собрала вещи и книги Попсуева, затолкала их в чемодан и коробки; коробок не хватило, сделала несколько связок и выставила на площадку. На это ушел час, и все это она проделала на автомате, как оглохшая. Все замерло в ней — чувства, мысли, слова. Бросилось в глаза разве то, что вещей было совсем мало, один чемодан, а книг — куда больше. Бросилось и бросилось... бумажная душа, бумажный червь! Это теперь не имело к ней никакого отношения.

Потом сидела на диване и прислушивалась к звукам. Вдруг появилось много звуков, таких, на которые она никогда не обращала внимания. Доносился разговор со двора, явственный, будто из соседней комнаты; с причмокиванием хлопала дверь в соседнем подъезде, а в своем — с лязгом; слышались шаги, вверх, вверх, по площадке и выше — это из сороковой квартиры, а эти — из сорок второй. Слышно было, как открываются и закрываются двери троллейбуса на остановке через два дома...

Ей стало казаться, что она слышит мысли жильцов дома, и все они были ужасно гадкие и пошлые! Она вся дрожала от возбуждения и усталости. Ей хотелось уснуть, исчезнуть, взорвать все... и ничего не хотелось, ничего!

Она забылась и очнулась только вечером. За дверью слышался шум, голоса, но она старалась не слышать их и не глянула даже в глазок.

Спала она ужасно. Ей снились выставленные на площадку вещи Сергея, они били в дверь и кричали: «Мы никому не нужны! Верни нас обратно! Навсегда!» Снился белый женский зад, круглый, как глобус; казан, в котором шевелились, словно раки, мысли людей, и от них шел смрад и жирный желтый пар...

Утром вещей на площадке не оказалось. Зато сердце билось громко, точно ломилось в навеки закрытую дверь. На полу валялась ее записка. На слове «навсегда» каблук оставил четкий отпечаток, печать расставания.

В понедельник Попсуев на работу не вышел, не вышел и во вторник. Оказывается, рассказал в среду Берендей, он нагрянул к нему в воскресенье домой, весь на взводе, взлохмаченный, и стал требовать очередной отпуск с понедельника. Берендей пробовал отложить дела на завтра, но Попсуеву как вожжа под хвост.

— Не отпустишь, кричит, уволюсь к чертовой матери! Первый раз его невменяемым увидел. Я ему: куда ты, еще снег лежит. А он: тебе же лучше, вместо лета — весной иду... Подписал, чего делать.

— А куда уехал? — больше для проформы спросила Несмеяна. Они собирались провести отпуск в Прибалтике.

— Не сказал.

С Татьяной Несмеяна с тех пор не разговаривала, но и не третировала — не в ее было правилах. Да и Танька была как побитая собачонка. Похоже, Сергей бросил и ее. «Мужик — центр Вселенной», — вспомнила она его слова. Скатертью дорога, Коперник, скитайся там.

Но что бы ни предпринимала Несмеяна, не могла избавиться от картины субботнего утра и чувствовала не боль, а отвращение. Отвращение оттого, что сильное чувство, которое овладело ими обоими, и святые отношения, связавшие, казалось, их навсегда, оказались слабее сиюминутного желания.



Из записок Попсуева

Я — скотина. На мгновение разрешил *другому* вмешаться в мои мысли, как тут же воображение нарисовало Танины прелести... Меня трясло от предвкушения близости, ожидание оглушило меня. Позвонил «пончику», и через семь минут она влетела в комнату. Я забыл все. Это был не я, это был другой. Куда делись мои высокие мысли и принципы? Куда я дел Несмеяну? А когда все закончилось и я пришел в себя, увидел скабресную ухмылку *другого* и понял, что надо начинать новую жизнь, в которой не будет больше высоких мыслей и Несмеяны. Лицемер! При чем тут другой? Виноват один лишь я...

Все делать с радостью

— Это ужасно, — призналась Несмеяна тетушке, — как враз рухнет впечатление о человеке. Был до этого понятным, родным... и вдруг все рухнуло. И ничего от прежнего не осталось. Но он тот же, ничего в нем не изменилось, изменились наши отношения, хотя их еще и не было.

Время стало никаким. Аморфный день, потерявший глубину и долготу. Скучные неурядицы. Пошлые разговоры. Давка в автобусе. Дома пусто и неуютно. Хорошо — есть балкон, на который можно выйти, укутавшись в шаль, и, опершись о перила, смотреть на огни машин и сигарет, прислушиваться к разноголосице улицы, вдыхать хоть и городской, но все же свежий воздух... Как-то быстро наступила весна.

Что делать, она не знала. Проклятые вопросы не требуют ответов, хотя с чьей-то легкой руки покатилося: «Если б знал, что делать, моя фамилия была бы Чернышевский». Об одном она стала жалеть: что в то субботнее утро не сбросила их с кровати, пинками не выгнала в коридор — вот была бы картина! У нее не укладывалось в голове, что Сергей, как джигит с рынка, скачет по койкам. Забыл, что все бабы одинаковы? «И я хороша! Устроила парню пытку».

В гастрономе подошла жена Свяжского. Простодушно кругля глаза, спросила:

— Правда, что Сергей Васильевич просил у вас прощения на коленях?

— А вам-то что? — отрезала Несмеяна.

«Надо развеяться, — решила она и подала заявление на очередной отпуск. — Махну в Прибалтику. Народу там сейчас нет. Подышу, сапоги куплю, ликер попью. К Ильзе зайду. Козлика подцеплю, с бородкой, в твидовом пиджачке, с простатой, чтоб только о живописи говорить...»

Отпуск Чугунов подписал, хотя и без особых восторгов. Прошел день, и уже ничего не хотелось — ни Прибалтики, ни ликера, ни козлика с простатой. Она сдала билет и вышла на работу. И дни покатались, круглые и ровные, как колобки, и, как колобки, обреченные на конец.

Как-то вечером встретила Берендея возле подъезда. Ей показалось, что он ее специально поджидал. И вид у него был праздничный. Они поздоровались, хотя днем встречались не один раз. Поздоровались и улыбнулись друг другу, тепло, по-молодому, как улыбались бог весть когда. Уже и забылось.

— Дел нет? — спросил Берендей. — Пригласишь?

— Пошли. — Несмеяна прошла в подъезд. — А чем мне заниматься? Телик погляжу, спать лягу в десять часов. Хоть выплусь. Не могу отоспаться, кутерьма каждый день.

— Брось... кутерьма. Как он, не звонил?

— Нет. — Она почувствовала боль в груди. — А о чем? И так все ясно.

Берендей вытащил из кармана бутылку коньяка.

— А ведь у нас с тобой сегодня, Неська, юбилей: десять лет как дружим.

Несмеяна накрыла стол. Посидели, поговорили, послушали щемящие итальянские песни, под которые она, не сдержавшись, расплакалась. А потом проводила Никиту, поцеловав его в щечку, и уснула как убитая.

На следующий день Светланова с легким сердцем подала заявление об уходе («без отработки»), и Чугунов с радостью подписал его.

Из записок Попсуева

На заводе начались перемены. Выбирают заводское и цеховое начальство. Митинги, собрания, кампании, трибунная и подковерная возня. Перестали работать и лишь болтают о том, как надо работать. Лучшие выборы — когда нет выбора. Но и когда кандидатов семнадцать, выбора тоже нет. Определи в толпе, кто технарь, кто бездарь... Выход один: балаболы обещают — их и выбирают. Чтобы не отвлекали от дел и не вносили сумятицу в умы.

Марксизм вновь обращается в призрак, секретари парткома, как сто лет назад, ищут его в курилках и рюмочных. Комсомольские вожачки и конторские дети обличают старое и предлагают новое. Девяносто девять процентов граждан, развесив уши, смотрят, как один процент выворачивает им карманы.

Заводскую глыбу балаболы раскололи на куски и кусочки, и вместо единого организма образовалась кунсткамера органов. Орава кандидатов притязает на должности, которые станут для них могильными камнями.

У Берендея единственного из цеховых начальников нет соперников. В цехе еще достает мозгов, чтобы не искать ему замену. «Теперь я понимаю, почему в России то и дело возникает бардак», — сказал на диспетчерской Берендей...

Продолжаю тему через месяц. В партком, завком и выше стали поступать подметные письма «трудящихся», возмущенных моральным обликом директора завода. Графолог определил бы, что все они написаны одним почерком. Пошла волна разбирательств и разоблачений. Разбирали те, кто разоблачал. Когда набрали папку «компромата», на конференции директору поставили в вину авторитарность и злоупотребление служебным положением. Участники сессии словно взбеленились, многие были пьяны. Будь семнадцатый год, шлепнули бы Чуприну прямо на трибуне.

Иван Михайлович предусмотрительно выпустил несколько приказов о вознаграждении работников основных цехов из своего премиального фонда. На премиальные я купил по дешевке у алкаша дачу в «Маши-

ностроителе», навел Валентин Смирнов (его дача через два участка от моей). А еще неожиданно-негаданно (как я узнал, впервые в истории завода) мне, одинокому молодому специалисту, выделили квартиру из директорского фонда, двухкомнатную, что вообще фантастика. Пели, пили и плясали двадцать человек до полуночи...

Сели в лужу

Переизбрание директора прошло в атмосфере, далекой от единодушия, хотя собрание было идеально подготовлено сторонниками переизбрания.

Чуприна поначалу собирался дать «новым» отпор, но в какой-то момент решил не противостоять дурной людской стихии. Какой смысл? Эту стихию уже не направить на что-то созидательное и действительно новое. Она должна сначала снести все старое. «Гришка Мелехов понял это в двадцать лет, а уж мне-то в шестьдесят семь сам бог велит. Твой век, Ваня, прошел. Другой наступает, дурной и кровавый. В нем не будет жалости».

Директор сидел за столом и выслушивал обвинения в свой адрес, произносимые партийно-механическими и возбужденно-комсомольскими голосами. «Трусят, — думал он. — Ни одного мужика нет. Даже мысли не могут сформулировать. Да и откуда в них мысли? Неужто им передавать завод? И голландских коров забьют, а то и голодом заморят». Чуприна вдруг вспомнил, как пять лет назад был под Воронежем и там, в совхозном коровнике, увидел коров, истощенных до такой степени, что их ставили на специальные подпорки, чтобы выдоить, вернее — *выдавить* из них литр молока.

На директора с трибуны поглядывали с опаской, близко к столу не подходили, а тезисы отдавали в президиум, обходя стол кругом. Каждый раз Чуприна провожал очередного «отдуплившегося» оратора насмешливым взглядом.

Обычно Чуприна напоминал напряженного льва перед прыжком, даже когда доброжелательно выслушивал чью-то аргументацию. Большая его голова, казалось, жила отдельно от рук: руки могли что-то перелистывать, писать, жестикулировать, а в голове шел непрерывный мыслительный процесс, который планировал дела, слова, жесты. В этот момент с нее можно было ваять ту самую былинную голову, что торчит в русской степи как символ вечности непонятно для кого и для чего. Сейчас же он больше походил на льва усталого, охраняющего свой прайд, по-прежнему опасного, но понимающего, что его изгоняют — и не подросшие львы, а жалкие охотники-пигмеи с отравленными стрелами.

Когда предоставили слово ему, он вышел, огляделся по сторонам. Прошелся по всем рядам пронзительно-невидящим взглядом, не то запоминая, не то выжигая всех из памяти. Потом указал рукой на президиум:

— Вот тут, граждане, ваше новое руководство. Видите, под столом лужа?

В зале зашумели, стали приподниматься, заглядывая на сцену. В президиуме секретарь парткома встал, отодвинул стул и нагнулся под стол.

— Обоссались от страха. Жалуйте теперь его. А вообще-то... жаль, шашки нет. Встать! — рявкнул в микрофон Чуприна, ткнув кулаком в сторону президиума.

Президиум подскочил как ужаленный. В зале раздались смешки. Чуприна, не глядя ни на кого, прошел мимо них, спустился по ступенькам в зал и вышел. Президиум без сил опустился на свои места, а три четверти зала поднялись со своих мест и захлопали вслед ушедшему директору. Когда все успокоились и началась процедура выдвижения и голосования, каждый сидящий в зале почувствовал пустоту. Без старого директора опустел зал, как будто из него ушел вместе с Иваном Михайловичем весь двадцатый век.

В «Вечерке» появилась очередная заметка Кирилла Шебутного, в которой он утверждал, что после ухода Чуприны из зала «президиум и впрямь сел в лужу, собственную».

Неудачный кандидат

Попсуев не рассматривал уход Чуприны с поста директора как препятствие своему росту по службе. О карьере Сергей думал как о феерическом продвижении по должностной лестнице и никак не предполагал, что все протезе старого директора занесены в черный список. Но, поскольку борьба на заводе не закончилась и каждая партия прибирала к рукам нужных ей специалистов, Попсуев еще имел шансы на выдвижение. Его быстрому росту могла помешать лишь нехватка подлости, без которой трудно сделать замес успеха.

Кукловоды хорошо знают: стронь специалиста с мертвой точки хоть министр, спец не обязательно дойдет до победного конца. Много на его пути рвов и капканов, которые без помощи знающих людей не обойти. Однажды в буфете заводоуправления к Попсуеву подсел начальник отдела труда и зарплаты Звягин и, помешивая чай и испытующе поглядывая на него, поговорил ни о чем, а потом неожиданно предложил:

— Ну что, Сергей Васильевич, хочешь стать начальником цеха?

Попсуев знал, что Звягин — устроитель судеб еще больший, чем Дронов, и не смог удержать суетливого движения рук и выражения лица.

— Вижу — хочешь, — сказал трудовик без тени ухмылки. — А это уже полдела. Выступи-ка ты, Сергей Васильевич, с почином объединить первый и второй участки, станешь хозяином двух третей цеха, я тебе и расчеты помогу сделать — обоснуем такую экономию, что новый директор ахнет!

— Но как же за спиной Берендея? — возразил Попсуев. — Ему сказать надо. И его что, побоку?

— Почему — побоку? Вверх пойдет, в замы главного... Поверь мне, искушенному в этих делах, — настаивал действительно искушенный не только в этих, но и еще в очень многих комбинациях пронира трудовик.

— Я так не могу, — сказал Попсуев.

«Ну и дурак!» — думал трудовик, досадуя на Дронова, что тот небдуманно втянул его в явно бесперспективный проект. Но ему инстинктивно нравился Попсуев своей искренностью и честностью — тем, что

начисто отсутствовало в нем самом. Он взял еще одну чашку чая, а потом и вовсе пригласил Сергея в свой кабинет, где минут двадцать вразумлял «дитятку», что успех приходит не к тем, кто его жаждет, а к тому, кто сам рвется к нему, не боясь замараться по пути.

— Как, ты думаешь, генералами становятся? Без крови? — убеждал Звягин.

— Так то на войне, — не сдавался Попсуев. — И потом, Берендей ведь отладил цех как часы, слаженней быть не может.

— Ты все-таки подумай! — отчаявшись, бросил трудовик и пошел к начальнику НОТ Живиле, с которым уже было все оговорено, пенять на тупицу Попсуева и на Дронова, которого тоже давно пора менять.

— Значит, надо искать другого кандидата, — вздохнул научный организатор труда, ставя вопрос в своем списке возле Попсуева. — Жаль, перспективный парень, пробивной и умный.

— Да куда уж... Ладно, Свяжского пусть сменит, а там поглядим.

После дел не у дел

— Вот и все! — Чуприна стоял перед зеркалом, глядел на себя и не видел себя. — Вот и все!

— Ты чего? — испугалась жена.

— Идти, мать, некуда.

— Как — некуда? А на работу?

— Вышла моя работа. — Он подтянул штаны на грудь так, что стал похож на пожилого карапуза в коротких штанишках. — Как я тебе такой? На работе я зараз вот такой. Смешной лилипут. Все, уволился, Полина Власовна. Впереди заслуженный отдых, дача, кресло у камина, мемуары.

— Тебя ж хотели консультантом оставить.

— Им теперь другая консультация нужна, женская.

— Ведь истомишься без дела...

— Слушай, мать, не томи, а? Истомлюсь от твоего плача, Ярославна.

— Какая Ярославна? Из бухгалтерии? — не поняла Полина Власовна, но Чуприна не ответил.

Оставшись не у дел, Чуприна несколько дней чувствовал некоторое стеснение в груди, но успокаивал себя: «У меня пока отпуск». Через неделю на него накатило уныние. Сил не было смотреть утром с балкона, как люди спешат на работу, как едут машины. «Ничего, все образуется», — думал Иван Михайлович.

От нечего делать он за день утряс в ЖЭУ все дела, которые накопились у домкома за год, перекрыл въезд во двор грузовому транспорту, договорился о разбивке цветника вдоль южной стороны детсада напротив. Чуприна стал больше бывать на улице, в магазинах, ездить трамваем и троллейбусом. Когда ему на первых порах приходилось спорить с кем-нибудь в ЖЭУ, исполкоме, в трамвае или в магазине, спора не получалось. Никто не мог противостоять его яростному натиску и железной аргументации. Да и многие еще не осознали, что Чуприна уже никто. Но прошло две недели, и он почувствовал, что стал терять запал, решимость чего-то доказать и что-нибудь сделать для общего блага.

И в лицах чинуш стало появляться отчуждение. Оказалось, нет никого, кому надо было что-то доказывать, и нет никому никакого дела до общего блага.

Съездил на дачу, сгреб листья, перекопал, подправил, починил все, что требовало ремонта, но жить сычом там не смог, так как жене прописали процедуры. Тогда он вернулся в город и стал перечитывать книги. Удивительно, но они его сейчас никак не трогали. Все в них казалось не всамделишным, исключая разве что «Мертвые души» да «Историю одного города».

Несколько дней после этого Иван Михайлович пребывал в меланхолии. Ничего не хотел делать. Сидел в кресле и глядел перед собой. Какие картины вились перед его взором, он и сам вряд ли сказал бы. Они приходили и уходили как бы невзначай. Иногда думалось о дворянах, не обремененных военной или статскою службою, находящихся в отставке и не занимающихся даже крестьянами, как тот же Обломов, — несчастнейшие люди! «Это как же надо было держать в себе жизнелюбие, чтобы не расстаться от тоски с жизнью! Пить, играть в карты, донжуанить, стреляться, ездить по водам, вступать в масоны или в тайные кружки — такая скука! Если бы я, вместо того чтобы строить и запускать завод, а за ним жилой поселок, Дворец культуры, стадион, совхоз, больничный городок... вместо того чтобы раскручивать два производства, занимался бы только тем, что тосковал возле юбки да стрелялся с обидчиком или пережевывал сопли в губернском собрании, грош цена была бы мне. А так я хоть за свое прошлое чувствую удовлетворение, потому что не удовлетворен им, так как сделал меньше, чем мог, хуже, чем хотел, но все-таки сделал! И неужели все то огромное, что мы все ценой невероятных усилий сделали сообща, теперь пойдет коту под хвост?! Неужели мы сами, своими руками выкопали себе яму?»

Просыпался Иван Михайлович рано. И на этот раз проснулся, вышел на балкон; светало. В утренней тишине журчала где-то вода. В новом доме напротив на балконе третьего этажа стояли два мужика в одних трусах. В разные стороны били две мощные струи. Один из них воскликнул:

— Хорошо-то как, господи!

Чуприна криками разбудил жену:

— Глянь! Глянь! — и та успела увидеть двух подросших бельгийских мальчиков.

— Совсем сдурел, — сказала она, рукой умеряя стук сердца спроне.

— Это новое руководство завода, оно все такое, — по-детски радостно засмеялся Чуприна.

С этого момента он как заново родился, уныние стряхнул с себя: «Завтра съезжаю на дачу, а зараз схожу на завод».

Он позвонил в половине девятого по прямому проводу (телефон пока не сняли) новому директору. Того не оказалось на месте. Послышался голос.

— Але, — бросил Чуприна, — это кто?

— А вам кого угодно?

— Угодно? Я куда попал?

— Это отдел «Паблик рилейшенз», секретарь по связям с ответственностью Гузно Михаил Исаевич.

— Где директор, Гузно?

— А что вы желали бы?

— Что я желал бы, не твое дело. Отвечай сперва на мой вопрос, а потом уже задавай свой. Где директор?

— Петр Степанович у себя. Он занят.

— Передай ему, Гузно, что его хочет видеть бывший директор Нежмаша, Герой Соцтруда, лауреат Ленинской и Государственной премий, кавалер ордена «Знак Почета» и так далее... Чуприна Иван Михайлович. Понял? Повтори, угодник.

— Так это вы, Иван Михайлович? Не узнал.

— Ничего удивительного, богатым стал. Пусть позвонит мне. Телефон знает. Срочно! Ферштейн?

— Понял, Иван Михайлович!

Через несколько минут раздался звонок:

— Иван Михайлович? Это Зябликов.

— Послушай, Зябликов, что за блоха у тебя на телефоне? Звонил тебе, а попал в Гузно. Зина где?

— Уволилась, Иван Михайлович.

— Уволил, значит... Ну-ну. А общественности Гузно предъявил? Разговор есть, Пётр Степанович.

— О чем?

— Не телефонный.

— Приезжайте ко мне. После шести.

После шести Чуприна подъехал к заводууправлению, поднялся по ступеням, помнящим еще его, постоял, поглядел на проходящих людей. Многие здоровались. Вахтерша, увидев его, подскочила со своего стульчика.

— Здравствуй, Валя. Как жизнь?

— Ой, здравствуйте, Иван Михайлович! Да что жизнь? Вот обещают тридцать процентов зарплаты выдать.

— Ну-ну... — Чуприна поднялся на второй этаж.

«Скоро от всех вас и тридцати процентов не останется...»

В предбаннике сидела незнакомая девица. Не иначе Зябликов с собой прихватил из Челябинска. Чуприна открыл дверь, которую помнил до малейшей щербинки и малейшего скрипа, вошел. Зябликов сидел на его месте, сидел довольно непринужденно.

— Ну, здравствуй, Зябликов.

— Проходите, Иван Михайлович. — Зябликов встал, направился к нему, выставив руку, как консервный нож. — Садитесь.

— Да сяду, сяду, — усмехнулся Чуприна, пожимая сухую горячую ладонь. — Шторки, гляжу, новые повесил, шкафчик, стулья заменил. Даже центр музыкальный. Этот-то зачем? Стол не меняй. Спецзаказ, такой больше не сделают.

— Что привело, Иван Михайлович? — Зябликов, видно, хотел поскорее покончить с официальной частью.



— Да скука, — обрадовал его Чуприна. — Дай, думаю, загляну к директору, может, новое что? Что с двадцатым цехом? Слышал, законсервировали.

Зябликов помрачнел.

— Законсервировали, Иван Михайлович. И знаете почему?

— Скажешь, денег нет? — насмешливо спросил Чуприна.

— Нет, — не глядя на него, ответил Зябликов. Он открыл шкафчик, достал виски, виноград на блюде. — Зарплату — и ту по частям даю.

— А где деньги-то? Не говори только, что в фондах или еще какой заднице.

— Они и есть в фондах. Сейчас фонды станут на ноги и нам отвалят...

— Отвалят, отвалят... и еще добавят. Раскрыл ты, гляжу, варежку. А скорей, и варежка твоя, а?

Зябликов промолчал. Чуприна почувствовал, что еще минута, и он разнесет в своем бывшем кабинете все к чертовой матери, вот только маражаться... Он отщипнул виноградинку.

— Ладно, пошел я. Бывай, Зябликов.

— Зачем приходили-то, Иван Михайлович?

— Соскучился дюже.

— Ничего не надо?

— Ничего.

Дверь скрипнула на прощание. «Ну-ну», — успокоил ее Чуприна.

— От Зябликова. — Чуприна положил виноградинку перед секретаршей и вышел на волю.

Две сиротинушки

После отпуска Попсуев стал жить с Татьяной. Как-то само собой получилось, что он зашел в субботу к Поповым, да еще во время обеда. За столом кроме Анастасии Сергеевны и Татьяны были еще трое родственников. Обед, как он запоздало понял, был праздничный, но по какой причине, Сергей уточнять не стал. Получилось, конечно, некрасиво, но он в замешательстве не подумал о правилах приличия. Поздно было что-то менять, потому он на достаточно сухое приглашение Анастасии Сергеевны покорно сел за стол.

Татьяна, раскрасневшаяся, на него не смотрела. А после обеда, когда все ушли в гостиную, Татьяна увлекла Попсуева на кухню, закрыла дверь, кинулась ему на шею и с такой жадностью стала целовать его в губы, что он даже опешил. Зашла бабка, осуждающе поглядела на внучку и, ни слова не говоря, вышла, прикрыв за собой дверь. В этот же вечер Татьяна ушла к Сергею, а на другой день и вовсе перебралась к нему.

Почему он стал жить с ней — Попсуев не раз задавал себе этот вопрос. Через полгода, когда Татьяна уже была на сносях, расписались, и жена до родов вернулась домой. Ребенка назвали Денисом. Бабка, поздравляя Сергея, впервые поцеловала его в лоб, для чего тому пришлось согнуться перед ней. А потом даже всплакнула:

— Оба вы у меня сиротинушки, без родителей. Дай бог вам здоровья!

Пока малышу не сравнялось полгода, Сергею приходилось каждый день бывать у Анастасии Сергеевны. Та в первое время не жаловала его, но потом свыклась. Мало ли как в жизни бывает. Хорошо, хоть так закончилось, а не по-другому. Тут уж ничего не попишешь. Как бы ты ни устраивал свою судьбу, все равно подстроишься под нее. Какие планы строили дочка с зятем, а автобус взял да и свалился в ущелье.

А потом Татьяна стала ходить к Сергею, оставляя сына на бабушку, сначала на несколько часов, потом на ночь, а когда вышла на работу, то и на дни.

После отвергнутого Попсуевым заманчивого предложения стать начальником цеха санкций не последовало. Более того, Сергея очень быстро стараниями Берендея провели технологом цеха. Новое место давало простор для воплощения замыслов, но ушел задор, с которым Сергей занимался исследованиями при Несмеяне. Ей он доказывал свою состоятельность, а с Татьяной этого делать не хотелось. Но все же надо было довести дело до ума и подготовить диссертацию — вряд ли Бебеев станет защищаться после той угрозы. По большому счету Сергей был неудовлетворен работой, а выходило — и жизнью. В начальники цеха он больше не рвался. Уж очень сильно пропиталась эта должность запахом Звягина. «А мне надо это?» — все чаще задавал себе Попсуев безответный вопрос.

История общества. Очерк К. Ш. из «Нежинских былей»

Ровно через полгода после распада СССР, 26 июня 1992 года, на общем собрании садоводов был утвержден устав садоводческого некоммерческого товарищества «Машиностроитель». Общество, насчитывавшее 795 участков, и до того более сорока лет называлось «Машиностроитель» и было некоммерческим по умолчанию, поскольку заниматься коммерцией на шести сотках никому не приходило в голову. В народе общество называют «Концом света», поскольку садоводы первые годы обходились без электричества. ЛЭП-220 протянули лишь в начале шестидесятых, но память о темных временах сохранилась и по сей день. Более того, многие считают, что за Нежинском на юг и впрямь ничего нет, хотя там когда-то была Казахская ССР.

Чудо-остров посреди Бзыби, притока реки Нежи, с незапамятных времен называют Блин. Приток двумя рукавами обнимает русловый остров. Узкая протока с северной стороны несет свои воды перед крутым берегом — там переброшен пешеходный мост, соединяющий железнодорожную станцию Колодезная на сороковом километре от Нежинска с «Машиностроителем». Мост самый простой, с полусгнившим деревянным настилом, хлипкий, пляшущий, огражденный канатными перилами, но с подмостками.

Широкое русло с южной стороны острова наполовину заросло озерным камышом и белыми кувшинками, утки и чайки безбоязненно садятся на спокойную воду, приютившую несколько лодчонок с рыбаками. Рано утром, когда еще не проснутся цвета, эти места напоминают китайские

рисунки тушью. Днем на мелководье кишит малышня, за которой с берега лениво наблюдают обгоревшие на солнце мамы, а вечерами разминаются с кавалерами девицы. За рекой вдаль уходят заливные луга и рожицы. С этой стороны капитальный мост, но по трассе до города шестьдесят километров. Раз в десять—двенадцать лет во время июньского паводка вода заливает половину острова, но в остальное время тут настоящий рай.

Своим появлением на свет общество было обязано посещению этих мест высокими чинами из Москвы. День 9 октября 1948 года выдался погожим, теплым и солнечным. На пригорке к спуску к реке на фоне пронзительно-голубого неба и еще не осыпавшейся золотой листвы берез выстроилась колонна черных легковых автомобилей. Из машин один за другим выползали местные и столичные начальники в генеральских шинелях и добротных цивильных пальто, выскакивали инженеры и строители в потертых шинелях или гимнастерках, молчаливые молодые люди в плащах одного покроя. Правительственная комиссия, руководимая министром, подбирала стройплощадку под новый завод союзного значения. Собственно, место уже было выбрано, но председатель комиссии, заядлый рыбак, захотел взглянуть еще и на альтернативное местечко. Комиссия, сняв фуражки, потягивалась, вертела шеями и любовалась открывшимся видом на реку, остров и заливные луга окрест.

— Красота, зараза! — восхищенно произнес министр, обращаясь к секретарю обкома.

— При царизме тут Бенкендорф Дворец охотника хотел построить.

— Александр Христофорович?

— Кто? А, ну да... сатрап самодержца.

— Красота! — повторил министр. — Нет, вид портить не будем. Сюда барышень водить и живописать их голеньких среди камышей и уток. Охоту можно организовать. Граф любил охоту... на красоток. У самого Наполеона бабенку увел. Места-то, места! Краше, чем Сокольники. Как речка называется?

— А никак, товарищ министр.

— Никак? Вы, сибиряки, назовете так назовете! «Никак» — хорошо, но ты тут лучше сады разбей, мичуринские, лагеря пионерские. *Накакай*, словом. Ладно, вези, секретарь, в Красноречинск. — И министр, напоследок с сожалением окинув прекрасный вид, располагавший к пленэру с барышнями, кряхтя, полез в машину.

Через полгода министр поинтересовался из Первопрестольной:

— Как реализация постановления Совмина от двадцать четвертого февраля? Выделили земельный массив под садоводческое объединение? Как дела с лагерями для пионеров? Никак?..

Секретарь обкома доложил:

— Не никак! Река, говорю, не Никак, а Бзыбь называется. Нет, какая насмешка... В Абхазии это великая река, а тут так — бздынь. То есть... Бзыбь. Земельный массив выделен, товарищ министр. Геодезисты проектируют. Будет также два моста.

Через пару лет строители и работники Нежмаша летом стали трудиться еще и на своих земельных участках, а их дети посменно отдыхать в пионерском лагере имени юного партизана-разведчика Вали Котика.

За сорок лет пригородный ландшафт изменился до неузнаваемости. С высоты птичьего полета пригород походил на гигантскую свалку усадеб, домиков и будок, вытянувшуюся на сто верст от города к Казахстану, откуда по старой дружбе везли наркотики, лук и паленую водку.

В «Машиностроитель» можно попасть на электричке. Переходишь пути, идешь мимо граждан, продающих молоко в пластиковых бутылках, творог, густые, как сметана, сливки, чье-то мясо и кости с подводы, картошку, с ростками и свежую, разносолы и даже цветы. По субботам предлагают гвозди, лампочки, розетки, а то и трансформатор. Если пройти далее в кусты, могут отоварить чем-нибудь и серьезнее. В ларьке, продавщица которого уверяет, что от водки и сосисок еще никто не умер, продукты и напитки по терпимой цене.

Улочки общества носят причудливые названия, от Трех Лилий до имени Жана Габена. На Центральной идут в ряд магазин, домики председателя правления, сторожа и электрика, а также контора, где дачники платят членские взносы и узнают новости.

Крапивная лихорадка

Светлана Иосифовна, соседка Попсуева по даче, любила заниматься своими цветами и грядками спозаранок, пока не встал ее муж Михаил Николаевич, прозванный знающими людьми Колодезным Теслой, и не начинал гандобить по наковальне, а пуще — по ее мозгам. Она любила утреннюю тишину и прохладу, и любой труд в это время был ей на пользу, тогда как днем и особенно вечером от давления болела голова. Даже мелочная прополка, когда в траве еще не проснулась мошка, доставляла ей удовольствие.

Не успела Светлана Иосифовна покончить с одной грядкой, ее окликнула Петровна-Бегемотиха. Бегемотихой Петровну нарекли менты. Как-то ей возле пивного ларька пришлось доказывать трем мужикам, что у нее, как у женщины, есть право на очередь впереди них. После того как Петровна обозвала неуступчивых джентльменов козлами и те собрались в ответном слове намять ей бока, она отходила их своей хозяйственной сумкой, в которой, как потом было установлено в отделении милиции, находилось кило гречки, буханка хлеба, бутылка ликера «Абу Симбел» и три банки бычков в томатном соусе. Где бы ни оказалась Бегемотиха, а появлялась она всегда внезапно в любой точке пространства, она доказывала свое право на истину в последней инстанции. Пасовала Петровна лишь пред одним представителем сильного пола — Смирновым. Своей зычной глоткой и непредсказуемым поведением Валентин полностью дезорганизовывал даму и нагонял на нее страх.

- Свет... а Свет! — позвала Бегемотиха.
- Чего тебе?
- Чего ж ты молчала?
- Когда? — удивилась Светлана Иосифовна.
- Да что тебя интервьюер прямо на этой веранде взял?
- Ошалела, Петровна? Кто это тут меня и когда на веранде брал?



— Да вот, два дня назад. Шибутной какой-то. «О Колодезном Тесле и пользе крапивы», статья. Ништяк! И фотка — твой двор, Миша с трубой, ты за его спиной с чем-то, не пойму.

— Ну-ка, дай-кось... Это аккумулятор я держу. Когда это он нас сфотал?

— Да это у тебя надо спросить, а не у меня. Колись, Светка, дала интервью?

— Да отстань ты от меня! Никому я ничего не дала и давать не буду! А вот по шее могу и дать!

— Ты прочитай сперва, прежде чем грозиться.

Светлана Иосифовна взяла «Вечерку». Пошла за очками.

— Ты заходи, покалякаем, — кивнула она Бегемотихе.

Та с удовольствием зашла. Светлана Иосифовна стала читать.

«Светлана Иосифовна, как обычно, с утра была на грядке.

— Светлана Иосифовна? — крикнул я из-за изгороди.

— Я Светлана Иосифовна, других не держим, — распрямилась, покрутила плечами, а затем подошла ко мне хозяйка, крупная, уверенная в себе женщина, еще очень крепкая...»

— Брешет, сукин сын! Когда это меня кто окликнул из-за изгороди? — взглянула на гостью хозяйка. Та соорудила на лице недоумение. — «Очень крепкая» — это правда.

— Они же не все брехню пишут. Читай, читай...

«— Все в делах? — задал я ей довольно-таки банальный вопрос.

— Нынче кто без дела, — ответила она, — одни лишь бездельники.

Признаться, мне стало не по себе под ее пронизательным взглядом. Мое смущение еще более углубилось, когда она, потянув носом воздух, с подозрением спросила:

— Не пьете?

— Что вы! — поспешил я ее успокоить. — Ни в жисть!

— Тогда заходите, — впустила она меня во двор.

Дальше мы опускаем вступительные шаги и фразы. Вот мы сидим со Светланой Иосифовной за столом на веранде и пьем чай со смородиновым, малиновым и вишневым листом. Признаться, «Ахмад» и «Липтон» в подметки не годятся нашей обычной листве! Да еще заваренной руками обаятельной хозяйки».

Светлана Иосифовна горделиво взглянула на Бегемотиху.

«Наша беседа за третьей чашкой чая стала более непринужденной, хозяйка стала обращаться ко мне *Кирюша*, а себя разрешила величать Иосифовной. Я поинтересовался, кто был Иосиф по национальности, не грузин ли.

— Русак, — просто ответила его дочь.

Рамки заметки диктуют необходимость изложить наш разговор в виде монолога Иосифовны.

— Долго я наблюдаю мужичье — и точно знаю: всякий мужик, включая Дарвина, не от обезьяны произошел, а от самого натурального верблюда. Причем от двугорбого, с двумя мочевыми пузырями. Что тот, что этот пьют — не напьются, как в последний раз. Из чего делаю вывод: жизнь мужика — пустыня! Разница меж ними одна: верблюд ве-



дром напьется, мужик — никогда!.. Мой Михаил со странностями был еще с детства. Как не углядела я в нем этого, сама не пойму. Да разве, когда замуж идешь, на странности обращаешь внимание? Ему бы во век не жениться, а он меня подцепил. За что я ему и благодарна по гроб жизни. Всю первую свадебную ночь супруг ходил по хате и рассказывал мне о тайнах кладов, а весь медовый месяц от темна до темна гандобил железом по железу. С тех пор хуже слышать стала. За месяц из всякого хлама сгандобил раму с колесами и моторчиком. Назвал “Миш-1”, по-английски — “Микс-Ванн”. В первую же поездку врезался в крапиву — в тот год просто зверских площадей. Выехал с участка он в одних трусах, лихо так, и на полной скорости проскочил от дороги до реки, по всему склону, сквозь крапиву с репейником, а там и свалился в воду. Таратайка надежная оказалась, не заглохла. Из воды выскочил как ошпаренный, и нет бы обойти то место по воде — через него же продрался, волоча свой драндулет, обратно... Когда Миша вошел на участок, это был не Миша. Глядеть на него было страшно. Опухший, красный. Сказал: “Жгеть, зараза!” — и вылил на себя кастрюлю с молоком, не успевшим еще толком остыть. Прыгнул в бочку с водой, как Додон, и ну орать благим матом, что срежет на хрен всю крапиву в Советском Союзе к чертовой матери! Я ему тут вовремя ввернула: ты мне, говорю, сперва вон те пять будылей вырви, а уж потом иди махать на весь Союз. Вдоль забора крапива росла, выше забора. Он прыг из бочки — и ну рвать ее, а она то ли не рвется, ну никак, то ли он уж так обессилел. Рванул — да и в крапиву свалился. Чего тут началось! Схватил косу — прям “Ну, погоди!” — и давай сносить все, что торчит. Я такой прыти и таких матюков ни у одного косца не наблюдала. У нас все снес, у соседа Денисыча смахнул, потом побежал к реке косить косогор. “Ну Чапаев! — мотал головой Денисыч. — Он всегда такой?” Мы тогда только приобрели участки и начали обустраиваться по добрососедству. За три часа мой скосил весь склон. А луна была круглая, ночь светлая. Медовая, чего там, ночь! Пришел, аж трясется, коса затупилась, руки ходуном ходят, в глазах лихорадка. И звон такой идет, тоненький-тоненький, то ли от косы, то ли от него самого. Косу еле выдрала из рук. Вцепился в нее, будто тонет. Хорошо, с потом вышла крапивья отравы. Я уж тогда за себя и свою будущую жизнь в первый раз крепко задумалась. А назавтра он был розовый, как поросенок. Аж светился. “Ничего, токо сердце вот тут колотится. — Он ткнул себе под подбородок. — Выпить, однако, надо. Для дезактивации организма и снятия стресса”. Я тогда от него в первый раз услышала об этом стрессе. А к выпивке его позже Денисыч приучил, хорошо, съехал, а дачу Попсуеву продал.

— Попсуев — хороший сосед?

— Другого поискать такого! Уважительный, умный... и почти не пьет. Раза три только замечала. На него всем мужикам надо равнение держать».

— Ну, дальше там про Попсуева, неинтересно, — поднялась Бегемотиха. — Пойду хвастать всем, что со звездой знакома.

— Это с кем же?

— Угадай!

Хозяйство Денисыча

За полвека, что Михаил Николаевич гандобил с утра до вечера каждый день, он познал железо до тонкостей, не только марки и сортамент, а и все агрегаты из него, от печной трубы до газовой турбины. Был прекрасным токарем, слесарем, сварщиком, сборщиком, фрезеровщиком, кузнецом, механиком, электриком. Легко разбирался в разных схемах и в уме считал то, чему пять-шесть лет учат в институте. Все это Железный Дровосек, как прозвали его, делал и собирал своими руками, испытывал и совершенствовал. Миша не раз был бит током, разъеден кислотой, ранен стружкой и инструментом, но ничто его не брало, любая рана от железа заживала на второй день как на заговоренном.

Иван Денисыч, у которого Попсуев купил дачу, отрекомендовал Мишу как бескорыстного помощника в освоении хозяйства и разнообразном ремонте.

— Угостишь стакашкой, он и доволен, — сказал Денисыч. — Тебе тут многое ни к чему будет, так ты не скупись, давай ему все, что запроектирует. Он из любого гэдэ конфетку делает. Несколько мотоциклов собрал.

Участок был завален добром, собранным Денисычем за много лет: рулонами рубероида, петлями, щеколдами, гвоздями, дверными ручками, трубами, резиновыми шлангами, электрическими кабелями, лампами дневного света. Отдельно стояли две лежанки из операционной, зубоорудное кресло, пять баков и бачков из титана и нержавеющей стали, печь-буржуйка, три стремянки и десятиметровая лестница с биркой цеха. В ящике, в масле и заводской обертке, под пломбами хранился винт от самолета Ан-2, который Денисыч собирался водрузить на ветряк. Все это Денисыч собирался использовать на пенсии, но к пенсии его жена заболела астмой, а сам он спился, отчего пришлось продавать дачу спешно и практически за бесценок. Хорошо, хоть так продали, так как три года за ней вообще не было никакого ухода. Дали объявление в газету. Покупатель появился тут же, так как Валентин в тот же день сообщил о дешевой даче Попсуеву. Мельком оглядев дачу, которая была завалена снегом и оттого куда как хороша для показа, Сергей не стал даже заходить в дом, а поверил на слово продавцу. Денисыч рассказал ему про устройство дома, про свои запасы, утаив лишь, что счетчик он так подключил, что его мотало в другую сторону.

Михаилу Николаевичу Попсуев показал все доставшиеся ему закрытые и сказал:

— Бери, Михаил Николаевич, все, что надо. Чем больше, тем чище. Мне ничего не надо. Разве что доски сосновые да пленка.

Из записок Попсуева

Как быстро все меняется! Такое ощущение, что предыдущие двадцать лет время сжималось, как пружина, а сейчас сработало. Новое руководство повысило Берендея в замы главного инженера по технологии (это не требовало выборов), а еще через месяц строчку зама сократили. Никите Тарасовичу Дронов предложил место инженера ТБ. Не знаю,





что ответил ему Берендей, но Дронов неделю не вылезал из сортира и стал заикаться...

После Берендея и я ушел. Без Чуприны и Берендея тоска. И без Несмеяны пусто. Что делать в цехе, бороться и дальше с браком? А что мне делать с браком моим? Оказывается, уволиться — что плюнуть. Ни в тебе никаких переживаний, ни в ком-либо другом. Только обрадовались отходной, хорошо посидели, весело, и такая цепочка служебных продвижений образовалась! И ладно...

Не пробуждай воспоминаний

Неожиданно в гости зашел Чуприна.

— Привет, Аська! Вот шел мимо, дай, думаю, зайду, проведаю.

— Ой, да как здорово-то! — засуетилась Анастасия Сергеевна. — Садись, Иван Михайлович, я беляшей напекла. Пенсию назначили?

— Не спрашивай. Назначили. У охранника Сердюкова, что в инженерном корпусе отупел за двадцать лет, пенсия больше моей на четверть. Звякнул в пенсионный отдел, сказали, что рассчитали согласно коэффициентам и постановлениям. Они-то согласно, только я не согласен. В Москву звонил, там и вовсе не хотят в наши дела вникать. Имущество делят. Думают, я тут скис. Не, со мной это не пройдет. Они скоро мне свою с радостью отдадут!

Сели за стол. Выпили. Стали вспоминать молодые годы, отданные заводу. Анастасия Сергеевна прослезилась, а Чуприна толкал ее:

— Ба, да ты чего, Аська? Ты радуйся, что они были, эти годы у нас!

— Тяжело тогда все же было, Ваня, тяжело... — вздохнула она.

Конечно, тяжело. Вспомнили, как иногда хотелось все бросить к чертовой матери, все забыть, уволиться, уехать, исчезнуть. Вязкое месиво лежало на улочках, по жиже продирались к подъездам, долго отскребая ноги от налипшей грязи. Спасали сапоги, оставшиеся с войны, плащ-накидки, офицерские сумки, в которых можно было сохранить документы сухими, спасало непонятно откуда берущееся здоровье. И какой противный, нудный был дождь! Он лил целыми неделями. В такие дни и ночи все тянулось, как резиновое. Но именно тогда рождались светлые надежды, всплывали приятные воспоминания, уходила из души тревога, а из тела озноб. Откуда что бралось?..

— Вань, а где Семёнов? Дорогу что мостил, помнишь? Не вижу его давно.

— И не увидишь. Плох он. Единственный опротестовал увольнение. Зачем тебе, говорили ему — дали пособие, а так ничего не дадут. А он заладил: я уже все получил, ничего больше не надо. И это я уйду, а не меня. Вот мое заявление. Поставил в дурацкое положение руководство, не дав побыть благородным.

— Ну и правильно. Сейчас же на дуэль не вызывают.

— Кого — этих? Жаль, не пристрелил их в детстве Бендер из рогатки.

— А я недавно в киношку выбралась. Посмотрела японский фильм, «Легенду о Нараяне». Не смотрел?

- Ты же знаешь — не хожу я по кино.
- И правильно. И я после этой «Нарайяны» зареклась. Два часа показывали, стыдно сказать, то ли людей, то ли обезьян.
- Фантастика?
- Да какое там! Деревня японская всамделишная, но дикая какая-то. И люди только и заняты, что еду добывают... и это, ну... это самое...
- Едят ее?
- Тебе все есть! Секс, во!
- Ну, мать, сподобилась на старости лет! Чего занесло-то?
- Да говорили — хороший фильм. Вот и пошла. Ушла бы, да посередке сидела и никто не уходил. Все пялились на это самое. Ты постой, главное не сказала. Когда уже в самом конце зимним утром сын потащил на себе в гору старую мать — обычай такой в деревне был, стариков бросали в горах замерзать, чтоб не объедали, — я, Ваня, замерла. У меня сердце перестало стучать. Да неужто ж это люди?! Думала, умру, если он ее бросит. Не смог. А я зарыдала, стыдно сказать, хрипеть стала, задыхаться. Не помню, как меня занесли куда-то, отходили. Вышла на улицу, гляжу: кругом старики, старухи и в сторонке парни. И друг на друга не смотрят. А мне жутко: ну, думаю, сейчас парни подхватят нас и потащат в горы...
- Да какие горы тут, Ася? Успокойся.
- И ты знаешь, кого они напомнили мне, парни эти? Мальков! Вот когда мальки из икринок выводятся, глупые такие, одинаковые и бесчувственные! Синтетические! Мне кажется, они сейчас и будут всем заправлять.
- Брось, твоя Танька разве такая? И Сергей? Кстати, как он?
- А, в драмтеатр устроился, главным инженером.
- Ну чего, хорошо... Жаль, такого специалиста страна потеряла!
- Ваня, а где она, страна? Крым — и тот отдали!
- Да уж, Крым словно пробку в резиновой лодке выдернули...

Короче, плохо ей было, очень плохо

В пятницу вечером позвонила Диана Горская. В будние дни Горская работала искусствоведом, а по воскресеньям торговала на «Ярмарке выходного дня», но не предметами искусства, а китайским и турецким ширпотребом. Помимо живописи, скульптуры и ходового товара Диану живо интересовали спортивные мужчины, и первый ее вопрос был о Попсуеве:

— Как поживает мой Дорифор?

Искусствоведы любят сыпать словечками, бывшими в ходу бог знает когда. Но, поскольку Горская занималась еще и просветительством, копыеносца Дорифора, олицетворяющего канон «атлета в покое», все ее знакомые знали как соседа по площадке. Греческий воин был точь-в-точь Попсуев, разве что древнее, пониже и зачем-то с копьем.

— Он в порядке, вспоминал о тебе, — успокоила подругу Несмеяна.

— Ты все на заводе? — поинтересовалась Диана.

— Уволилась. В центр стандартизации позвали начальником отдела. Поболтали о том о сем.

— Скучно будет, заходи с мушкетером своим на кафедру вечером, чай попьем.

— Зайду, — пообещала Несмеяна. «Кстати ты пригласила меня, подруга, очень кстати», — подумала она.

Не зная, куда деть себя в воскресенье, Несмеяна отправилась в филармонию. В середине «испытательного срока» они слушали «Реквием» Моцарта, у Сергея были слезы на глазах. Пожалуй, лишь классическая музыка способна придать душевной какофонии некую гармонию. Попса с ее словоблудием противна, театр раздражает нарочитостью. Куда еще податься?

По пути в филармонию прошла мимо собора, хотела зайти, но отвратил вид испитых нищих у ворот. Подумала: «Где же твое милосердие, Несмеяна Павловна? Господи, прости!» Подала мужичкам милостыню и, перекрестившись, зашла. В храме испугалась строгого лика Христа справа от царских врат. В смятении наткнулась на церковный ларек у выхода, купила иконку Богоматери и ушла, затылком и спиной чувствуя взгляд Господа.

На этот раз исполняли «Шехеразаду» Римского-Корсакова. Удивилась, что в кассе нет очереди и есть билеты. Села в неудобное жесткое кресло. «Вон там сидели...» Пробовала любоваться переливами света в огромной хрустальной люстре над сценой, как любовалась ими с Сергеем. Прислушивалась к невнятице голосов, точно надеясь услышать знакомый голос. Чувствовала себя тревожно, то ли от звука настраиваемой невидимой скрипки, то ли от боязни, что кто-нибудь из знакомых подойдет к ней и спросит... о чем-нибудь.

На сцене рабочие двигали за кулисы рояль, библиотекарь, натываясь на стулья, раскладывая ноты на попирты, вповалку лежали огромные контрабасы, напоминавшие туши китов на берегу. Неожиданно вспомнила голые тела на кровати в то злосчастное субботнее утро. «Даже эти инструменты, с самым низким звуком, самой низкой душой, верны чистым высоким мелодиям, для которых созданы...» Несмеяна, с трудом сдерживая слезы, вышла из зала на улицу, спряталась в телефонной будке на углу и там, сняв трубку, зарыдала в нее.

В гостях

В зал Несмеяна не вернулась, пошла домой. Не зажигая света, легла на диван и под настроение включила «Адажио» Альбини. Пересчитала дни этого года, что запомнились, но уже без слез, насчитала семь и улыбнулась, вспомнив, как встретила на ярмарке Диану. «Это тоже было при нем...»

Полузабытая школьная подружка стояла за прилавком и бойко рекламировала продаваемые товары. Не виделись однокашницы несколько лет. Когда-то их объединяло многое, и жили в одном доме, несколько лет просидели за одной партой. После школы их пути разошлись. Диана окончила факультет культуры, устроилась искусствоведом в картинную галерею, преподавателем на вечерний факультет университета. Там она вела курс «Искусство Возрождения». Когда население от портретов и статуй шархнулось к выборам и прилавкам, оно подхватило и Диану,

удачно подцепившую бизнесмена, бывшего фарцовщика Алика Свиридова.

Обменявшись новостями, а по сути, едва ли не половинами своей жизни, договорились встретиться у Дианы на ее дне рождения.

— Посмотришь заодно на евроремонт, — сказала Диана. — Алик все делает как в Европе! Да не одна приходи. У нас все люди семейные. Почти.

Когда Несмеяна с Сергеем пришли на званый ужин, там уже собрались гости, веселье и подшофе. Почти все старше Попсуева лет на десять—пятнадцать. На журнальном столике в просторной прихожей стояла корзина цветов, преподнесенная супруге Свиридовым. После небольшой словесной разминки и одобрения ремонта все с удовольствием перешли к столу. Опаздывали какие-то Вакхи, разведенные, но не разошедшиеся супруги.

— Эти вечно спешат, потому вечно опаздывают, — сказала Диана. — Садимся!

А тут и Вакхи позвонили в дверь. Сразу стало шумно, как на базаре. Оказывается, Вакхи вместе с Дианой год назад оформляли выезд в Израиль, но потом все трое «по семейным обстоятельствам» раздумали.

За полтора часа собравшиеся много раз поздравили хозяйку, отдали всех яств и напитков, размякли и раскраснелись. Рассказали друг другу новости о возрастающей работе и уменьшающемся здоровье, обсудили ужасы, творящиеся в мире, после чего сосредоточились на своих детях. Говорили, как всегда, больше женщины, а мужчины, как всегда, больше закусывали, однако закуска у дам исчезала с тарелок быстрее, чем у кавалеров. Да и с катушек они слетали скорее. Во всяком случае, барышень вдруг разбирал беспричинный смех, а потом беспричинная слабость. Мужчины, необязательно футболисты, знают, что это самый удобный момент для взятия ворот.

— Не нравится мне в штанах ходить, — вздохнула Ангелина Вакх, — задница большая, переливы видны. Вообще, женщины стали безобразно толстые! В троллейбусе одну никак обойти не могла. Стоит — не баба, а гренадер какой-то! Во! — Ангелина развела руки на полную ширину. — Стоит в проходе, и не пройдешь, шире прохода! Слева зашла — нет, справа — нет! Слушай, говорю ей, где ты трусы покупаешь?

Диана, слегка скривившись от такого прозаизма, вдруг вспомнила, что Ангелина только что вернулась из Турции.

— Было чего-нибудь такого?.. — Диана повертела в воздухе пальчиками. — Как отдохнула в Турции?

— Не в Турции. В Грецию ездила.

— Там рядом, — снисходительно бросил Свиридов.

— А, зря только время потратила! Хорошо, две шубы привезла.

— Стоило в Грецию за шубой мотаться! — сказала Несмеяна. — Их вон в меховом ателье, как в Греции. И не так дорого.

— Это смотря кому, — не согласилась невзрачная дама. — Кому все дешево, тому ничего не дорого.

— Парфенон видела? — поинтересовалась Диана. — Как тебе дорический периптер с ионическим скульптурным фризом?

— Какой Парфенон? Я там два дня была. На шубы их и потратила. Да на Костракиса. Я тебе о нем говорила, — бросила Ангелина экс-супругу.

— Грека любого раздеть — он весь как в шубе. Что Кавказ, что Греция! Знаем, — зевнула Диана, погасив очаровательной улыбкой вопрошающий взгляд Свиридова. — И чего было на Костракиса два дня палить?

В ответ взметнулась бровь подруги: знать, было чего.

Горская без всякого перехода стала тараторить о какой-то дамочке (имени ее она не помнила, да и не в имени дело), которой на телевидении была посвящена вчерашняя передача. Диана скоро завладела общим вниманием и с восторгом поведала о феерическом поступке телевизионной дамы.

Сергей, улучив момент, шепнул Несмеяне на ушко:

— Тебе не надоело?

Несмеяна кивнула: было чему надоест. Искусствоведческие пассажи хозяйки дома достали ее. Можно, конечно, восхищаться женщиной, бросившей мужа, детей и внуков ради старика, когда-то красиво певшего и красиво жившего, репрессированного за это или за что-нибудь сопутствующее, а можно и не восхищаться.

— Идеальная семья — это когда есть на кого сбегать детей, — сказал Вениамин Вакх, находясь в плену детской темы.

— Раньше так и было! — подхватила Горская. — У Наташи Ростовой одиннадцать братьев и сестер было. Да-да, почитайте. Но Толстой ни строчки не написал, как граф и графиня воспитывали детей. Потому что гувернеры и няни были. А графья ели, спали да охотились.

— Еще — плясали, — заметил Попсуев, — и пили.

— Да-да! Плясали! Несь, Серж — просто Дорифор. Берегись, отобью!

Свиридов хохотнул:

— Ты лучше мне бифштекс лишний раз отбей! У дворян еще псарни были и псаря. Хозяин собак никогда не воспитывал, только ласкал. Собаки его за это любили, а псарей боялись, поскольку те возились с ними весь день. Вот это и есть модель настоящей семьи и настоящего воспитания.

— Как в псарне! — восхитилась Ангелина. — Мило!

— Странно, — сказал Сергей. — Занимайся у нас мужчина воспитанием детей круглые сутки, дети никогда не скажут ему: сэр.

Дамам чрезвычайно понравилась реплика Попсуева, хотя ее легко можно было экстраполировать и на леди.

— Еюнолеошунтирование — вспомнила! Вот чем надо всем срочно заняться! — воскликнула вдруг Ангелина.

— Кошмар! Что это? — вздрогнула невзрачная дама.

— Операция на тонком кишечнике. Укорачивают кишечник в три раза.

— О господи, да зачем? — спросила невзрачная дама.

— Чтоб похудеть и придать телу стройность.

— Для придания мыслям стройности надо эту операцию провести на мозгах, — прошептал Попсуев на ухо Несмеяне. — Все, пошли домой.

В троллейбусе Попсуев обронил:

— Столько болтать о воспитании и не сказать главного: воспитание нельзя перекидывать на дядю!

— Ты кому это говоришь? — устало спросила Несмеяна, подумав: «Воспитывать ребенка можно, когда он есть».

Приглашение кстати

Несмеяна взяла коробку конфет и в девятом часу поехала к Диане в ее частный университет. Двухэтажный особняк стоял на отшибе в парковой зоне и летом утопал в зелени, а зимой в сугробах. Занятия закончились, и преподаватели собирались пить чай.

— Это моя школьная подруга Несмеяна Павловна, начальник отдела, а это мои коллеги: Нина Васильевна, доцент, Катя, Алексей Валерьевич, доцент... Несь, а где Дорифор?

— На сборах.

— Алексей Валерьевич предпочитает кафедру дому, — добавила Диана.

Сели пить чай. Почему-то все стали говорить об участившихся грабежах. Каждый имел что рассказать, а после вольного пересказа Алексеем Валерьевичем рассказа Лескова «Грабеж» и вовсе настала ночь. Доцент собрал свой кейс и барабанил по нему пальцами. По всему было видно: ищет повод, чтоб задержаться. Дома, как узнала позже от подруги Несмеяна, у него была жена, отчего он всегда ощущал себя бездомным.

Алексей Валерьевич вернулся к столу и налил себе чаю.

— Хотите, расскажу про мой некрасивый поступок? — сказал он. — Дело этим летом было. Сплю. А в три ночи меня словно кто вверх вздернул. Потом уже понял: попугайчик в клетке орет. У меня два попугайчика. Днем они как ангелы, а на ночь сами в клетку лезут и до утра молчат. Я их не закрываю. А тут вдруг орет. Спросонья гляжу на него — чего орет, а краем глаза вижу: мимо меня к лоджии кот скользнет, а во рту у него второй попугайчик. Озверел я, вскочил — и за ним!

— Кот ваш?

— Нет. Мой не посмел бы, другой!

— Что же вы так? У кота инстинкт, — засмеялась Несмеяна.

— И у меня инстинкт. Вот с этим инстинктом я за ним в лоджию. Слышу, на соседней лоджии звуки... как вам сказать... специфические. Перегибаюсь туда, а там парочка... ну... — Алексей Валерьевич несколько раз дернул пакетик чая вверх-вниз, — сами понимаете. Я и спрашиваю у них: «А вы тут кота с попугаем не видели?»

— Ой, Алексей Валерьевич! — взвизгнула в восторге Диана. — Вы же парочку основного инстинкта лишили!

— Парочку — не думаю, а одного из них — может быть, — возразил доцент. — Напоследок расскажу еще одну историю.

— Только без ужасов, Алексей Валерьевич! — взмолилась Нина Васильевна.

— Да нет, какие ужасы. Я про себя. По молодости наивный был. В каком же это санатории было?.. А, вспомнил: в Мацесту первый раз по

путевке приехал. Пошел ванну брать, а как — не знаю. Захожу в корпус, мужики стоят. Соображают на троих. «Как ванну принимать, а то я в первый раз?» — спрашиваю их. «В первый раз? Это запросто, — отвечает один. — Заходишь. Раздеваешься догола. Лезешь в ванну. Ждешь. Потом баба заходит. Она скажет, что дальше делать. Будешь послушным, воды нальет». Я поблагодарил и направился на процедуру. «Да, — крикнул мужик. — Там на окошке пирожки лежат. Так ты, прежде чем в ванну лезть, пирожок возьми и, пока лежишь, ешь его. Только не спеши, растягивай на всю процедуру». «Хорошо», — сказал я и так и сделал. Лежу в ванне, жую пирожок. Заходит женщина в желтоватом от пятен воды халате. Я невольно руками прикрылся. А она глядит на мои руки и спрашивает: «А что это у вас там?» — «Там?» — и не знаю, что сказать. — Ну... это...» — говорю. «Что — это? Что вы едите?» — «Пирожок». — «Откуда?» — «А вон с подоконника». — «Это ж мои пирожки!»

А потом все вместе шагали по освещенной аллее на остановку автобуса и смеялись в полный голос, Несмеяна слушала очередную историю Алексея Валерьевича и думала: «Неужели и этот милый человек предал свою жену, раз так не хочет идти к ней?» Но, когда села в автобус, поняла, что исцелилась от хандры.

Из записок Попсуева

На школьном вечере я вдруг обратил внимание на девочку из седьмого класса (сам был в девятом). Она стояла возле стены, ожидая приглашения к танцу, воздушна и светла, как ангелочек. Робость и восторг охватили меня, и я молил непонятно кого, чтобы никто не подошел к ней. К ней никто не подошел. И я не подошел, и не заметил, как закончился танец, а потом и вечер. Когда потом видел ее, всякий раз радовался так сильно, что до сих пор ощущаю в себе ту радость.

Не раз задавался вопросом: почему моей «первой Роксаной» стала не она, а Катька Петрова, почему? Ведь встретить я эту девочку раньше Катьки, не Татьяна, а Несмеяна стала бы моей единственной избранницей. И никуда уже от этого не деться.

Несмеяну не видел год. Она уволилась с завода еще до моего возвращения из Свердловска. Устроилась в горсовет. Что-то у нее не срослось с чиновниками (красота — не черенок, ее не привьешь к уродству), и, говорят, она приняла горсть таблеток. Когда узнал, что умерла, думал, сердце разорвется. Не разорвалось... Потом сказали, что после клинической смерти она вернулась в центр стандартизации.

Иногда вспоминаю ее, но не как женщину, а как икону. Когда перехожу по мосту через Бзыбь, всплывает в памяти тот день, когда мы приехали на ее дачу. Всем телом ощущаю ледяное слово «вечность», которое она произнесла, глядя с моста на зеленые дали под голубым небом. Всякий раз, вспоминая о ней, содрогаюсь от озноба, даже когда от палящего зноя и нехватки влаги закручиваются листья сирени в спираль и с ивы падают вовсе не метафорические, а самые натуральные капли-слезы. Как-то подумал: эта ива — она...

Часть II.

В пути

Кто путь бы мне к вершине указал?

Данте Алигьери

Прелюдия. Я твоя первая Роксана!

Детский сад от мала до велика, от младшей группы до подготовишек жил ожиданием утренника, посвященного любимым мамам — Международному женскому дню 8 Марта.

По предложению директрисы Нины Васильевны, которая во всем любила оригинальность и высокий штиль, дети были поделены на пары. Мальчикам присвоили имена литературных героев-мужчин, девочкам — соответственно, героинь-женщин. Поскольку девочек было больше, самых младшеньких оставили без кавалеров, которых заменили шоколадками «Аленка», чему малышки были несказанно рады.

Так детсадовцы много раньше других сверстников страны узнали о том, что на свете есть Ромео и Джульетта, Елена и Парис, князь Андрей и Наташа Ростова, и вообще — изящная словесность. Поскольку детских пар оказалось больше литературных, о которых знали директриса, воспитательницы, бухгалтер, повариха и дворник вместе взятые, некоторые литературные герои были, что называется, нарасхват и шли под номерами: Тристан № 1 и Изольда № 1, Тристан № 2 и Изольда № 2...

Родителям накануне праздника вручили бумажки с присвоенными их деткам именами и пояснили, что завтра на утреннике каждый ребенок должен будет найти свою пару, ухаживать за ней (если он мальчик), танцевать только с ней, а девочка при этом — не капризничать. На листочке также было указано имя избранницы (избранника). Имена были написаны крупными печатными буквами. Многим родителям пришлось порыться на книжных полках, а то и заглянуть в библиотеку, чтобы освежить в памяти, кто, например, такие Орфей и Эвридика. Больше других повезло избранникам с именами Василиса Прекрасная и Иван-царевич, Кай и Герда, а также Золушка и Принц, но это были подопечные самой Нины Васильевны.

Серёже Попсуеву, как подготовишке, достался серьезный герой Сирано № 1 (имелся в виду Сирано де Бержерак). Судьбой (Ниной Васильевной и воспитательницей Кирой Семёновной) ему было определено не только это имя, но и дама сердца — Роксана № 1.

Мама сняла с полки пьесу Ростана и стала листать ее в поисках простенького стишка, с которым ее сын мог бы обратиться к своей пассии. Неожиданно Серёжа взял у нее из рук книгу и прочитал несколько отрывков с выражением, то есть с женским придыханием и мужским восклицанием, которым позавидовали бы и записные чтецы.

— Серёженька, ты читал эту книжку? — удивилась мама.



— Конечно! — гордо ответил сын. — Я даже много чего знаю наизусть. Хочешь, прочитаю?

— Прочту.

— Прочитаю.

— Хотя все равно. Читай.

Мальчик отложил книгу в сторону, встал и, вскинув руку, продекларировал стихи вместе с ремаркой:

— Сирано (поворачиваясь вместе со стулом к ломам, любезно).

Прошу вас об одном, прелестные особы:

Живите, радуйтесь! Своею красотой

Дарите нам мечты, спасайте нас от злобы;

Сверкайте ярче звезд ночных,

Цветите ярче роз душистых,

Будите вдохновение в артистах,

Внушайте нам стихи, — но не судите их!

— Ты мой мальчик! — растроганно произнесла мама и промокнула платочком глаз. — Да ты же моя умница. Вот завтра и расскажи этот стишок. Пошли спать.

— Я и других много знаю! — заверил сын.

— Вот и хорошо, вот и замечательно. Меньше будут косить глазом на сына циркачки...

В праздничный день было шумно и радостно. Наконец все расселись и уgomонились. Дети впереди на стульчиках и скамеечках за столиками, родители и работники сада — возле стен на стульях. Собравшихся в курс дела ввел представитель районной власти. Он произнес несколько приветственных слов от лица своего руководства, вручил грамоты и подарки заслуженным работницам дошкольного образования. Директриса зачитала доклад, посвященный истории праздника. В нем она кратко остановилась на отличии равноправия наших и мировых женщин, упомянула Клару Цеткин, Елену Гринберг и исторические решения ООН, а также заверила, что в мире борьба женщин за свои права обостряется, а у нас закончилась полной и окончательной победой торжества разума и справедливости. После этого выступили несколько благодарных отцов и матерей — и, наконец, представили слово детям. Те прочитали и пропели трогательные стишки и песенки (тут всех, разумеется, поразил декламацией Серёжа Попсуев), и только затем начался долгожданный праздник, а именно танцы и чай с лакомствами.

Мальчики и девочки держали в руках записочки, на которых были написаны их имена и имена их суженых, подходили друг к другу и спрашивали:

— Ты кто?

— Маргарита. А ты?

— Руслан. Не знаешь, где Людмила?

— Нет. А где Мастер?

— А кто это?

— Не знаю. Вот написано.

Серёжа не стал разыскивать свою даму. Он поставил стул посредине зала, встал на него и воззвал к избраннице, озвучивая как бессмертные строки, так и ремарки к ним:

— *Ле Бре:*

Но, ради бога, кто она?

Сирано:

Она? Она? Сама весна.
 Ее очей глубоких ясность
 Несет смертельную опасность.
 Сама не ведая того,
 Она — природы торжество,
 Ловушка дивная природы,
 Мой ум лишившая свободы, —
 Мускатной розы пышный цвет,
 Амура хитрого засада.
 В ее улыбке — солнца свет.
 Малейшим жестом, негой взгляда
 Блаженство рая, муки ада
 Сулит она душе моей.
 Походкой легкою своей
 Она проходит, молодая,
 Очарованьем красоты
 Богини образ воскрешая,
 В Париже, полном суеты.
 Ей не хватает лишь колчана,
 Чтоб все сказали: «Вот Диана!..»

Ле Бре:

Я понял...

Сирано:

Верен мой портрет!

Ле Бре:

Твоя кузина?

Сирано:

Да, Роксана.

После этого Серёжа добавил отсебятину:

— Я Сирано, но не любой! Я первый номер! Не второй!

И тут к Попсуеву бросилась Катя Петрова, которая жила в том же доме, что и Серёжа, только в другом подъезде:

— Я! Я твоя первая Роксана! Вот у меня написано: Роксана номер один, а ты мой Сирано номер один! Мы навсегда теперь вместе!

В роли главного инженера

В огромном двойном окне драмтеатра висело объявление: «Современному театру требуется главный инженер. Мужчина не старше 45 лет. Желателен опыт руководящей работы, а также опыт работы на электротехническом, сантехническом, вентиляционном и осветительном оборудовании».

«Оставил завод, оставляю след и в искусстве, — подумал Попсуев. — Главный, нехило».

Зашел в просторный, прохладный холл. У входа простенький стол, два стула, мусорная корзина. Тихо. Даже глухо. В нос ударил запах китайской лапши. Вахтерша, держа в одной руке кипяtilьник, второй ковырялась в пиале, вылавливая там что-то лиловое.

— Добрый день, — сказал Попсуев. — Я по объявлению, на работу. К кому?

— К кому? А вон к тому, дверь в перламутре. Что же это такое? — Она понюхала выловленный кусочек. — Морква? Чи буряк?

Дверь и впрямь была в перламутре, массивная, под потолок, казалось, за ней восседает черт знает кто. Им, как явствовало из таблички, был директор Современного театра, заслуженный работник культуры Российской Федерации Ненашев Илья Борисович.

В предбаннике с узким и высоким, как в средневековом замке, забраным решеткой окном секретарши не оказалось, и Попсуев открыл следующую дверь, пониже, темную и без финтифлюшек. Перед Попсуевым предстал — нет, не рыцарь на коне — огромный кабинет с тремя широченными окнами по трем стенам, громадной хрустальной люстрой и зелеными, явно импортными обоями в широкую золотую полосу. Пол устилал небывалых размеров зеленый же ковер, придавленный по центру гигантским столом заморского дерева, за который не стыдно было посадить самого Черномырдина. «Мебель затаскивали через окна, — подумал Попсуев. — Однако рояль тут не помешал бы, вон туда. И пять— семь рядов кресел».

— Заходите-заходите! — радушно приветствовал гостя кругленький человек, выкатывая из-за стола. — Вы Хочубинский? Харон Израйлич?

— Я мужчина не старше сорока пяти лет. Попсуев, Сергей Васильевич. По объявлению. — Попсуев махнул в сторону окна.

Круглый человек крепенько, но не сильно пожал ему руку.

— Чрезвычайно рад. Ненашев Илья Борисович. Заслуженный работник культуры рэфэ. — Усадив посетителя в одно из располагавших к приятному сидению кожаных кресел, человечек подкатил к центральному окну и поглядел на зеленый дворик. Там под раскидистыми кустами цветущих роз прохаживались дама в шляпке в стиле Ренуара и мужчина с ней под руку в стиле Тулуз-Лотрека.

— По объявлению... какому?

Попсуев снова махнул в сторону окна с улицы.

— А, по объявлению. — Ненашев ткнул пальцем в стекло. — Константин Сергеевич выгуливает Изольду Викторовну. Главреж Консер (мы так для простоты зовем его) и прима.

Попсуев понимающе кивнул:

— Тристан и Изольда.

Директорское лицо осветила улыбка:

— Года не те... Староваты. Ну да сердца-то юны!

По широкому внешнему подоконнику прохаживались говорливые голуби.

— Птицы, а?

— Да, птицы, — подал голос и Попсуев, прислушиваясь к их успокоительному воркованию. — Голуби.

— Загадили театр!

Илья Борисович постучал костяшками пальцев по стеклу и энергично помахал кулачком вслед взлетевшим птицам.

— Очень, очень приятно, Сергей Васильевич! — Директор подошел к Попсуеву, как киношный Ленин, сунул руку за обшлаг пиджака и стал покачиваться на носочках скрипучих туфелек. — Чем обязан?

— Я по объявлению... — повторил Попсуев, слегка приподнявшись с кресла и едва не бухнув: «...Владимир Ильич». — Мужчина... На главного инженера.

— А-а-а! — попридержал его коротенькой ручкой Ненашев. — Да-да. На роль главного инженера, прелестно, прелестно! — воскликнул он. — Как же, как же, имеется такая вакансия! Вакансище!

«Прелестно» у него прозвучало с придыханием: «Пхгелестно».

После того как Попсуев уточнил, нужен ли театру именно главный инженер или достаточно простого, директор воскликнул:

— Разумеется, главный, самый главный, какой вопрос! Ведь сознайтесь — простых инженеров и нет?

Закрой глаза — точно Ленин в исполнении всенародно любимых артистов. Вот только почему-то «батенька» не говорит. По всему было видно, что Илья Борисович всю жизнь культивировал в себе благожелательность к посетителям, которых если и не считал, так называл «главными», отчего и сам выглядел не менее чем главный и превратился в конце концов в эдакий колобок радушия с живыми глазками, сочными губами и элегантно грассирующим говорком. Похоже, одним этим он располагал к приятной беседе любого ходока, даже по самому щекотливому вопросу, причем так, что щекотало одного только собеседника.

Попсуев согласился, что слово «простой» выдуманно не от великого ума. Илья Борисович, как видно, привыкший при человеке *снизу* (даже самом главном) более сам говорить, чем слушать, непринужденно широкими мазками и звучным бархатистым голосом нарисовал театр военных действий по электрическому, сантехническому и прочим направлениям. Осветительную аппаратуру он и вовсе назвал «светотехническим плацдармом», причем слышалось опять же: «святотехнический». Просто вылитый Владислав Стржельчик в роли начальника Генштаба Антонова в киноэпопее Озерова «Освобождение» или, спаси господи, даже какой-нибудь наипочтеннейший иерарх РПЦ.

Не сходя с места, Ненашев тут же назначил Попсуева командующим театральным тылом. И хотя директорской решительности позавидовал бы сам Наполеон, по некоторым его словечкам, по манерам и внешнему облику видно было, что Илья Борисович глубоко чужд бастионам, рукопашным и вообще всяким боевым действиям, где проявляется мужской характер. Вряд ли когда он нюхал порох, но зато был прирожденный тыловик, выпивоха, картежник и интриган. В терминах далекого военного времени — успешная тыловая крыса, которой, конечно же, можно быть, имея только прирожденные способности к этому, соответствующую коррупцию да еще закрома.

— Окопы для солдата хороши, — вырвалось у Попсуева.

— Что вы говорите! — восхитился Ненашев. — Чем же?

— Не так кусают тыловые вши.

— Прелестно! Просится на музыку. Буонапарте, кстати, начинал свое восхождение с окопов. На заводе кем изволили служить? — поинтересовался Ненашев. — ИТР?

— ИТР... и тэ пэ. Много кем. Мастером...

— Великим? — поднял мохнатые брови Ненашев, изобразив на лице ироничное почтение.

— Зачем? Простым и старшим. — Попсуев стал загибать по-русски пальцы: — Начальником участка, технологом цеха...

— Прелестно. Гамма профессий, прелестно! Это весьма пригодится вам, весьма. Кто был никем, тот станет всем, прошу прощения за невольный каламбур, ха-ха! Главное для главного — отличить приму от рампы, а Софокла от софитов. Сдается мне, вы отличите.

— Да должен, — согласился Попсуев. — Софит от софитов отличу.

— Да что вы! И как? Множественным числом?

— Нет, единственным образом: софит — это потолок, панель такая, а софиты — светильники на этом потолке. Это меня один итальянец просветил, художник Луиджи Ванцетти.

— Не тот, что на электрическом стуле с Сакко?

— Однофамилец. — Попсуев почувствовал, что этот порхающий диалог стал слегка напрягать его своей бессмысленностью. — А мой предшественник... как бы поговорить с ним? дела принять?

— Увы, Сергей Васильевич. Принять дела от него никак нельзя. Дела-дела... как сажа бела... да и поговорить... Архангельский, увы, покинул нас. — Илья Борисович воздел глаза и тут же что-то записал себе в поминальник.

— Уехал?

Директор изобразил переживание на лице.

— Посадили? — Перед Попсуевым предстала унылая, но широкая картина хищений и растрат. «Надо мне это?» — подумал он.

— Кабы, — вздохнул Ненашев. — Убит и взят могилой. Убит разгневанным режиссером за срыв генералпробе. Представляете, совратил приму накануне прогона!

— Приму можно совратить?

— Увы, — вздохнул Илья Борисович, покачал головой и пощупал себе грудь. Заметив легкое недоумение на лице без пяти минут главного инженера, директор поспешил успокоить его: — Не беспокойтесь, Блюхера больше нет с нами.

— Сидит?

— Что вы — сидит да сидит! На театре не содют... Лежит. Там же, рядом с Архангельским. В семнадцатом секторе, между двумя цыганскими баронами. «Я — цыганский барон...» — вывел речитативом Илья Борисович, выжидающе глядя на Попсуева.

— «...Я в цыганку влюблен...» Понятно. И ладно, — сказал тот, решив не углубляться в эту запутанную историю. «Собственно, какое мне дело до того, что было до меня, — рассудил он. — Архангельский, Блюхер, бароны, прима... Так и до Немировича с Данченко можно дойти. А дальше?»



— У нас тут весьма строго с производственной дисциплиной, — ни к селу ни к городу добавил директор. — Да и с техникой безопасности. Уже столько директоров погорело на театральных пожарах. Персонал, майн херц, кого ни возьми — поджигатель, просто сволочь какая-то! Не театр, а Москва двенадцатого года, которая восемьсот, разумеется, тысяча, горит каждый день. Гиляровского бы сюда, короля репортажа.

— Может, на каждого огнетушитель повесить? — ляпнул Сергей.

— А что! — даже взвизгнул от удовольствия Ненашев. — Представлю! Костя с огнетушителем! Или Изольда! — И тут же сделал пометку в поминальнике.

— А прима — кто? — поглядев в окно на куст Ренуара, спросил Попсуев, чувствуя усталость от избытка энергии Ильи Борисовича. Почему-то вспомнились мухи на липучке, которых видел черт знает когда в заброшенной деревне под Волоколамском.

— Узнаете, скоро все узнаете, Сергей Васильевич. Да завтра уже. Начало в девять, плюс-минус фюнф минутен, не завод ведь.

— С завода я еще не уволился.

— Кайне проблем, совместите, Серёженька, совместите. В ваши годы!

Попсуев удивленно взглянул на директора, но тот его удивления не заметил.

— Да, еще, — задумался директор. — У нас тут с премиями не разбежишься, но варианты есть. В театре деньги хоть и любят, но служенье муз и прочая ерунда, в общем и целом — бескорыстно. И это надо взять за основу.

— Да, самая бескорыстная любовь — к деньгам.

— Прелестно! Об этом, кстати, говорил еще наш Ильф. — Ненашев потряс руку Попсуеву, как близкому родственнику.

«А Петров — не наш?» — хотел спросить Попсуев, но благоразумно сдержался.

— Как вы думаете, Сергей Васильевич, рояль вон туда не помещает?

— Не помещает, Илья Борисович. Даже поможет.

— И прекрасно! Завтра же закажем!

На стене крест-накрест висели две старинные рапиры.

— За заслуги? — указал Сергей на оружие.

— Да, перед отечеством. Были и мы когда-то рысаклами, — ничтоже сумняшеся ответил Ненашев и холеной рукой робко коснулся острия.

«Такой ручонкой спагетти наворачивать на вилку или банкноты считать, — подумал Попсуев, — да на шпажку оливки надевать или кубик сыра».

Радушно, с поклонами попрощались. Секретарша так и не появилась. Вахтерша живо поинтересовалась:

— Ну что, берут? Слесарем? Наконец-то! Вторую неделю засер. Завтра выходишь?

— Да, — кивнул Попсуев, решив, что ослышался — засер, наверное. Чередующиеся гласные «о», «е» фантастически обогащают язык, а «ты», «вы» — существенно упрощают.

Вышел из театра Сергей несколько подавленный. Общение с Ненашевым утомило его и наполнило раздумьями и непонятной досадой. Неужели на самого себя? «Так все-таки нехило или хило?» — думал он, а воображение рисовало какие-то странные картины, где он и Ненашев находятся вроде как и в одном месте и в одно время, но в разных мирах. Причем он видит Илью Борисовича, а тот его — нет. А может, просто и видеть не хочет...

Божеский вид примы

После репетиций народная артистка России Изольда Викторовна Крутицкая по два часа просиживала в уборной, приводя себя в божеский вид, хотя и к репетициям готовила себя не менее тщательно.

— Душись, душись, только не задушись, — завернув к прима, приговаривал Константин Сергеевич Асмолов, отмечая, что духов и мазей на туалетном и приставном столиках прибыло, а к ним масса затейливых и не очень коробочек и шкатулок. — Поехали, поехали, Изольда, сколько можно? Ведро вылила на себя. Все равно ведь смоешь.

— Ой, блин, достал, Костик! — восклицала та, разглядывая подбородок и шею и смакуя новое, вполне театральное словечко «блин», успешно сменившее похожее, но более ругательное. — Вы, мужики, как кони, все гарцуете! А мы не кони...

— И-го-го! — радостно соглашался Консер. — Вы бабы! Ты осторожнее, брякнешь на премьеру «блин»! У Моэма этого слова отродясь не было.

— Только рады будут. Массаж нужен, массаж. Никуда не годится! Без него и кураж не тот. Брыльки эти! И вообще, подтянуть все туда, к ушам...

— Что — и грудь?..

— Гурченко видел? Плисецкую? Посмотри, как?

— Крачковскую видел. О, майн гот!

— Ты тоже, что ли, зашпыхал, как Илюша? Это, знаешь ли, нехороший симптом. Да, пора подтягивать.

— Пора, мой друг, пора. Сосет внутри. Прямо пылесос. Сос! Ты готова?

— Да готова, готова, — слегка раздражалась прима. — Я всегда готова. Какие вы все-таки, мужики...

— Сволочи?

— Не я сказала. И вообще, это звание надо заслужить. Сволочь, Асмолов, звание народное.

— Согласен, согласен. — Главреж подцепил приму под руку и увлек в кафе, элитное, но народное, сравнительно недорогое.

* * *

К вечеру Илья Борисович все чаще и чаще произносил немецкие фразы и слова, а к ночи буквально сыпал ими. Темнота делала его немцем.

— Поддал! — отмечали в театре, используя этот факт кто как умел и хотел.

До театра Ненашев работал в Германии, то ли на Майне, то ли на Одере, по снабженческой части. Сносно зная немецкий язык, с немцами и соотечественниками общался только по-русски, но, как только выпивал, размягчался и «въезжал в чуждую культуру» в широком диапазоне, от «шпрехен зи дойч» до «Гитлер капут». Шпреханье вскоре превратилось в привычку, а потом и в потребность. Вследствие этого (официальная версия) настал и отрезвляющий капут: его сократили и вернули в СССР, как часть национального достояния, минуя столицу, сразу в родной город. Тут подвернулось директорское кресло в Нежинском драмтеатре. Как выпускнику института культуры и неплохому знатоку человеческих слабостей, может, и еще почему, ему не составило особых трудов занять его, хотя поначалу он был в нем откровенно мал и даже незаметен.

Главное в руководящей должности — не притворяться. Надо себя так вести, чтобы самое изощренное и самое тупое притворство выглядело одинаково естественным и непритворным. На похоронах от прочувствованных искренних слов Ильи Борисовича рыдали навзрыд, а на именинах умирали со смеху, хотя он говорил одни и те же слова и исполнял одну и ту же роль лицемера. Не видя между этими мероприятиями особой разницы (во всяком случае, душевные затраты у него были одни и те же), Ненашев везде являл собой радушного и добросердечного хозяина театра, совершенно равнодушного и к покойникам, и к живущим, исключая разве что находившихся при власти и при деньгах.

Природная смекалка, которая больше рабочей сметки на величину пронырливости, о которой в народе говорят — «без мыла влезет», и тут позволила ему стать почти незаменимым, причем для всех — для театра, чиновников, города. Уже поплыло в СМИ: «театр Ненашева», «эпоха Ненашева», а вскоре и театр (фасад с колоннами) стал эмблемой города. Уже года два, как Илья Борисович на равных с Консером решал, что ставить и кого приглашать в театр. Попсуев ему чем-то приглянулся (может быть, дикой непохожестью на человека театра), и он тут же велел изъять из окна объявление о приеме на работу.

* * *

О том, что это прима, Попсуев догадался по крику, с которым актриса металась по театру, ища какого-то паразита, судя по всему, насолившего ей. Так орать могут позволить себе разве что незаменимые примы.

— Я его изничтожу! — не замолкал ни на минуту ее хорошо поставленный грудной, стелющийся голос.

Два раза пролетая с этим возгласом мимо Попсуева, Крутицкая успевала крутануться волчком и показать фигуру (хотелось бы написать — «фигурку», но это словечко не вмещает героиню) и охватить пришельца своим негодующим — не относящимся, естественно, к нему — взглядом. При этом умудрялась одновременно изобразить на своем атласном личике вопрос «кто такой?», звучавший уже не контральто, а ближе к меццо-сопрано и даже сопрано.

Сергей вспомнил, как любил вешать лапшу на уши девицам. «Под большим секретом» он сообщал им, что, согласно выводам специальной теории относительности, изящность женщины зависит от ее темперамента. Мол, вернее всего мужчины клюют на холерический тип: чем стремительнее женщина пролетает мимо мужчины, тем миниатюрнее она ему кажется. Многие из девиц, услышав это, убыстрялись, будто обретали дополнительный заряд. А вот Изольда Викторовна, похоже, и сама дошла до этого, без подсказки.

Сигареты «Прима» имеют весьма опосредованное отношение к пристрастиям примадонн. Конечно, называть драматическую актрису примой, примадонной не совсем верно, но если она действительно примадонна и в ней бездна музыкального слуха и обаяния, а каждый ее взгляд или слово звучит как увертюра? Тогда, думаю, можно называть без натяжек. Тем не менее Изольде Викторовне кто-то регулярно подбрасывал в сумочку или сапожок смятую пачку ростовских сигарет «Прима», да еще с крупными коричневыми крошками вонючего табака, чем нередко приводил народную артистку в исступление.

Разумеется, ей льстило, что на нее последний придурок тратит свое время и воображение (да и сбережения!), и оттого с удвоенной энергией металась по театру как фурия. Ее контральто разом звенело во всех уголках здания, от подвала до чердака, в последний год почти всегда требовательно и жестко, отчего иным хотелось выскочить из театра вон. От нее прятались даже рабочие сцены, так как она пускала в ход не только язык, но и руки, а хуже того — крепкие до безобразия ногти. Даже директор с главрежем в эти часы старались на глаза ей не попадаться: еще глаза выцарапает, дура.

Ненашев в принципе не любил *бабдур* и соглашался на них лишь в силу роковой необходимости: без примы театр, увы, не театр, а бордель. А вот Консера заботило одно лишь искусство, которое без *бабдур* вообще одно извращение. В театральном искусстве, где в особом почете высокий балаган, кукольного умения звонко вскрикивать и складываться в акробатические фигурки а la Камасутра явно недостаточно. Нужна еще алчная пустота примы, каждый раз наполняемая новым непредсказуемым содержанием и отчасти женским опытом.

Изольда Викторовна, как никто другой, умела проникать в образ, наполнять им себя под завязку и щекотать тем самым нервы обывателю. Компот приходилось расхлебывать всем. И плевать, что на дне оставалась муть и червячки.

Тем временем Изольда Викторовна, не найдя начальства, начинала гневаться уже нешуточно, пока ей не подворачивался какой-нибудь театральный кнехт, на котором она и срывала свое негодование.

— А вы кто?! — Попсуев даже вздрогнул, услышав грозное восклицание за спиной.

— Дед Пихто! — ответил Сергей, взглянув на пышущую гневом даму неопределенных, значит, не юных лет, спикировавшую на него на третьем заходе. «Стервь, — отметил он, — но хороша, хотя и на закате».

— Что вы тут делаете? — Прима строго, «в образе», смотрела на него. Грудь ее нешуточно волновалась (здесь: волнение на море), а глаза и губы влажно поблескивали.

— Что?

— Что вы тут делаете, я вас спрашиваю?!

— А вам-то что? Вы кто?

Вопрос убил Изольду Викторовну. Она полагала, что ее-то уж в театре обязаны знать все наизусть. И вообще, всяк сюда входящий забудь обо всех, кроме нее. Особенно входящий с таким разворотом плеч.

— Как — кто?

— Да, кто? — Попсуев понял, что его сейчас понесет. — Какого черта, судар-рыня?! — с рокотом и хрипотцой а la lettre Высоцкий вырвался из него вопрос.

— Нет-нет, никакого. Обозналась. — Обескураженная, впервые в жизни, актриса ретировалась, но, разумеется, с благоприобретенным достоинством.

Через час нашла его, взяла за руку и как ни в чем не бывало, доверительно глядя ему в глаза, спросила воркующим голосом:

— Так вы теперь наш главный технический руководитель? Сергей Васильевич... можно — Сергей? Я Изольда, Сергей. Изольда Крутицкая. Актриса. Ведущая актриса, народная артистка театра. День и ночь веду, блин, театр к очередным творческим свершениям.

— Мне, кхм, в другую сторону. Короче, где тут щитовая? — не совсем ласково прервал Попсуев лисьи речи.

— Короче? — Прима любезно согласилась показать ему, как сразу же понял Сергей, не самый короткий путь. — Короче! Путь к любви всего короче.

— Йес, к аморэ, миа дольче, путь короче, а не дольче, — подхватил Сергей.

«Дольче» взяла его под руку и повела, расспрашивая обо всем, как старинная знакомая, даже о неведомых Попсуеву тетушках из Белгорода. При этом заразительно смеялась и прикасалась в ритме белого вальса через два шага на третий бедром. Слегка, но чувствительно, так что даже пошатывало.

Не успела прима задать Попсуеву десятка-другого вопросов, как их нашел директор.

— Щитовую ищите? Со щитом или на щите! Айн момент, Сергей Васильевич, провожу. Боюсь, Изольда Викторовна не совсем в курсе, что это такое.

Прима вспыхнула от искусственного негодования, но сдержалась.

— Я вас найду, — пообещала она Попсуеву.

— Найдет, — подтвердил Ненашев, когда та скрылась за поворотом. — Эта черта найдет.

Илья Борисович провел Попсуева до щитовой, две минуты с любопытством смотрел, как тот возится непонятно с чем, потом вернулся к себе, хлопнул коньячку и, шлепнувшись в кресло, блаженно разглядывал голубей, разгуливавших по широкому подоконнику.

— Ах, майн либе Августин, Августин, Августин, — мурлыкал он, вспоминая изумрудную лужайку на берегу то ли Эльбы, то ли Одера и белокурую фрау Эльзу в шляпке с зонтиком в таком роскошном, таком восхитительном белье, которое и снимать ни к чему. «Какая ж Изольдочка настырная баба! Отшлепать бы ее!»



Попсуев от щитовой направился в свою конуру в полуподвальном помещении. Все это время в его голове крутилось имя Изольда. «Венера Анадиомена, — подумал он о ней, — антично полновата, зато самый смак!»

Сергей чувствовал смутное беспокойство, испытанное им, когда на диспетчерской точно так же повторял имя Несмеяны. «Все они такие сладкие, женские имена, когда их в первый раз пробуешь на зубок. Дольче. Но чем дольше, тем, увы, не долъче...» Не успел Сергей додумать эту мысль, как почувствовал вдруг такую тоску, что захотелось волком завить от одиночества, от которого (он четко знал это) его никто не мог избавить, разве что одна Несмеяна.

Прима нашла Попсуева после обеда и тут же стала жаловаться на черствость начальства. Хотя у искусства а priori не может быть начальства, оно, начальство, почему-то все-таки было, и в достаточных количествах. Но только не над ней, Изольдой Крутицкой!

Сергей терпеливо слушал, поддакивал приме и после того, как она попросила дружеского участия, с готовностью откликнулся:

— К вашим услугам, сударыня!

— Мы должны с вами сдружиться. У нас это получится. Чую всеми фибрами. Есть сродство душ. Как это у вас в электротехнике — химическое сродство электронов?

— Позитронов.

— Позитронов. И общий взгляд на вещи. Вы так понимаете меня!

— Изольда Викторовна! — крикнули в конце коридора. — Вас Консер!

Крутицкая обворожительно улыбнулась Попсуеву и, грациозно качнувшись, направилась к главрежу. Каждый шаг актрисы можно было выделить в отдельное произведение искусства и в рамку. А сама — просто летящий электрон, неисчерпаемый, как атом, ищущий очередной позитрон, который от встречи с ней аннигилирует к чертовой матери. «От бедра!» — хотелось в восторге крикнуть, глядя на нее, как в авиации — «От винта!» Ей-богу, сотни мужских торсов не стоят одной ее лодыжки, а сотни извивов пропеллера — одного изгиба ее идеального бедра!

За поворотом закричали. «Как же тут интересно, — подумал Попсуев, — как в лесу. Похоже, на вахте орут. Так и есть».

— Где слесарь? Где этот чертов слесарь? — орала вахтерша за столом. — Да что же это такое: как кого ни возьмут, так алкаш!

— У вас проблемы, сударыня? — подошел Попсуев.

— Проблемы не у нас, проблемы у тебя, — огрызнулась сударыня. — С утра кто обещал устранить засор?

«Значит, ослышался», — подумал он, с досадой отмечая тем не менее, что атмосфера всеобщей вздрюченности стала его напрягать.

— Есть другие задачи, — бархатисто сказал он голосом Ильи Борисовича.

— В театре одна сверхзадача, — отрезала вахтерша, — не допускать вони!

— О! — только и смог выговорить главный инженер, навсегда усвоив стратегию всякого искусства и его главный (увы, недостижимый) результат.

— А тут что, пожар был? — В стене на месте двери зиял черный проем, внутри было все черным-черно.

— Да, возгорание, — равнодушно бросил Илья Борисович. — Сгорела пара стульчиков, дорожки, тряпки...

— Просторно, — заглянул вовнутрь Попсуев. На него пахло старой гарью.

— Зальчик. Тут два года назад выбирали руководство театра, моего предшественника. Гвалт стоял, народная стихия. Рок-опера.

— Рок? — оценил Сергей. — А вас тоже выбирали?

Ненашев снисходительно пояснил:

— Зачем же? Через месяц народный избранец ушел, а мне предложили это место.

— По объявлению?

Ненашев не расслышал.

— А что же не ремонтируют?

— Смета есть, вот и займитесь, Серёжа.

— Но я не строитель, — остановился Попсуев.

— А это так важно? — поднял брови Ненашев. — Я тоже массовик-затейник.

— Но это же строительство, СНИПы...

— О чем вы, голубчик? Какие СНИПы? Что такое СНИПы? Это внутренняя перестройка: убрали перегородочки, пол бросили, потолок подшили. Косметика. Архитектор подмахнет, согласовано.

— От внутренней перестройки страна развалилась...

— Сергей Васильевич, вы, случайно, не коммунист?

— Я сам по себе.

— Смотрите, а то я уж было оробел. Нам тут коммунизма не надо. Да и демократии. Нам нужно одно искусство.

— С его сверхзадачей.

Баварский с нижегородским

На планерке Ненашев сообщил, что ремонт малого зала его стараниями и талантом главного инженера театра завершен. Попсуев хотел уже спросить, с чего это взял Илья Борисович, что ремонт завершен, если к нему еще и не приступали, разве что разгребли пожарище, помыли да покрасили, но директор мягко пресек дискуссию, попросив завезти со склада кресла и шкафы.

— Видите — какой дизайн! — похвастал Илья Борисович, показывая рекламные проспекты. — Жуткие деньги ушли, будет чем москвичам нос утереть. Шкафы для книг и подарков... а кресла!

В этот день Сергей так и не сумел спросить у Ненашева, к чему такая спешка и как потом с мебелью доводить ремонт до ума. Но на следующий день недоумение рассеялось, когда в коридоре директор подловил его и, взяв за локоток, повел к себе. Растворив огромную фрамугу, Илья Бори-





сович насыпал на подоконник пшено из пакетика. Голуби стали топтаться чуть ли не по его рукам.

— Я решил с ними не бороться, — пояснил он. — Коньячку?

— Благодарю вас. У меня еще поворотный механизм.

— Пустяк! Колесо обождет. Это ж не колесо истории, ха-ха-ха! — Ненашев достал коньяк. Он глядел на Попсуева маслянистыми бусинками черных глаз и, похоже, что-то соображал.

После рюмки-другой отличного коньяку Попсуеву стало тепло и все безразлично — прошлое, настоящее, будущее. Гори оно!.. «Весь мир — театр». Шелестела жизнь за окном, ворковали и пихали друг друга на подоконнике голуби, ненасытные и злобные.

— Вот, Сергей Васильевич, смета на следующий год, соблаговолите подписать, вот тут.

Попсуев взял протянутые листы.

— Тут ваша фамилия. — Попсуев поднял глаза на директора. Илья Борисович зашмыгал взглядом.

— Фамилия? Мы тут все одна фамилия. Как в Сицилии, ха-ха! Я вас тут провел своим замом. Вот бэфель, приказ, ознакомьтесь. С минувшего понедельника. Распишитесь — вчерашним, вчерашним днем. А смету подписывайте сегодняшним числом.

Сергей расписался в приказе, стал изучать смету.

— А почему кресла выписываем, шкафы? Мы же завтра завозим их со склада.

— А варум? Цу велхем цвек? Зачем? С какой целью?

— То есть... как это — зачем? — Попсуев обескураженно смотрел на Ненашева.

Илья Борисович налил еще коньяку. Сергей обратил внимание, что себе он наливает меньше, чем ему.

— Серёженька, дело в том... ну, за удачу... дело в том, Сергей Васильевич, что завтра мы ничего не завезем... ни хтс.

— Не завтра, так послезавтра...

— Зи ни хт ферштеен, — мягко прервал его Ненашев и доверительно сообщил: — Никогда не завезем. Зачем? Считайте, что они фербреннен, сгорели. Еще до вас. Фойер, огонь! Шутка. Нет их. Фьють. А вам я премию выпишу, за экономию. В этом году сэкономим, без экономии никак нельзя, а завезем в следующем.

— Хорошо, вам виднее, Илья Борисович. Да и это до меня было. А до меня — хоть потоп.

— Логика инженера, главного! Ну, нох айнмаль, еще разок — и по домам. Вы, Сергей Васильевич, сегодня отдыхайте, завтра делайте этот круг. Ауфвидерзейн.

— Аривидерчи, — попрощался Попсуев.

— О, «Ла Скала»! Гуте нахт, — приложил к груди пустую бутылку Ненашев.

— На солнечных скалах... певца из «Ла Скала»... с улыбкой оскала... я пылко ласкала! — продекламировал Попсуев и, открывая протянутой рукой двери, вышел вон, не заметив секретаршу, милую особу, про которую говорили, что все при ней, даже Ненашев.

— Какой человек! — глядел вслед главному инженеру директор. — Какой матерый человечище! — И, достав новую бутылку, тут же кнопочкой вызвал секретаршу, чтобы поделиться с нею своими наблюдениями.

* * *

Попсуев нашел коробку и направился в туалет собрать разбросанные обрезки труб. Тут погас свет.

— Костик? Костя, это ты? — послышался голос примы — его Попсуев уже не спутал бы ни с каким другим. — Ты куда делся?

— Это я, — ответил Сергей, в потемках налетев на открытую дверь.

— Кто вы? — воскликнула актриса. По голосу было слышно, что она раздражена и сильно не в духе. — Это вы? Почему погас свет? Где Консер?

— Кончился, — произнес Попсуев. — Крысу не встретили?

— Крысу? Какую крысу?

— Серую. Зашла сюда. Из коридора, впереди шла-шла и зашла.

И в это время зажегся свет. Прима с воплем взлетела на стол, но Попсуев успел заметить довольно безмятежное выражение ее лица.

— Где она? — вскричала Крутицкая. — Поймайте ее, уничтожьте!

— Держите. — Попсуев протянул приме коробку. — Накинете ее на крысу, как только покажется.

Актриса с ужасом отбросила коробку, будто она уже была полна крыс.

— Ни за что!

— О мама mio, за что мне это наказание? Слезьте со стола.

— Не подталкивайте меня! Не хватайте меня за ногу! Я сама.

— Да пожалуйста, пожалуйста...

Актриса села на стол, спустила ноги. Попсуев подхватил ее на руки.

— Да вы откройте глаза, опасность миновала, — сказал он, опуская ее на пол. Прима, однако же, все еще нуждалась в защите. Сергей поцеловал ее в губы. Она словно ждала этого. «Вот же пиявка», — подумал Попсуев.

— Сладко целуешься! Где тут выход, проводи! — скомандовала актриса.

«Вот я уже и в пажах!» — подумал Сергей.

— Как я тебе? — не удержалась прима от вопроса.

— «Как все причудницы, изящна и умна», — процитировал Попсуев Ростана. — И «я люблю, конечно, ту, кто всех прекраснее!»

В коридоре оказался главреж.

— Костя! Костик! Ты почему оставил меня в этом подземелье одну, на съедение крысам?! — воскликнула Изольда.

— Тебя съешь... Да ты, голубушка, и не одна. Погляди, какой витязь рядом с тобою! Чего ты затащила меня сюда?

— Я? Тебя? Ты же позвал меня!

— Хорошо, я, — согласился Консер. — А теперь тебя, звезду, зову наверх, к звездам. Удачи, Сергей Васильевич!

— И вам того же, ваша милость! — расшаркался Попсуев.

Кошмарик

По режиссерской части конкуренцию Консеру составлял, пожалуй, один лишь режиссер (тоже заслуженный) — Иннокентий Шмарик. Он еще был руководителем театральной студии, что уравнивало его в правах с главрежем, а порой и позволяло быть на ноздрю впереди. Сам он полагал себя лучшим постановщиком в городе. Когда он говорил о здравствующих или почивших коллегах-классиках, обязательно вспоминал и о себе. Шмарик не сомневался, что люди будут долго помнить о нем, как о выдающемся деятеле театрального искусства. Не было часа, чтобы Кеша не пожаловался на жизнь, здоровье или судьбу. А еще — на завистников и бездарей, окружавших его. Те называли его по-дружески Кошмариком.

Ключевым словом его сути было слово «обида». Обида подзаряжала Кошмарика, лелеяла и вдохновляла. Он обижался на все и на всех: на жизнь, на судьбу, на несправедливость, на соседа, на спикера областной думы, на мэтра отечественной прозы, на газетного писаку, на зама губернатора, на рабочего сцены, на слякоть, на дефицит изданий произведений классики... Чего бы кто ни сказал или ни сделал, он любым своим словом или действием глубоко обижал его. Посему он называл их всех «неблагодарными». Исключая, разумеется, одного только Константина Сергеевича. Если считать еще и Станиславского, то — двух. С главрежем Шмарик общался мало и только по делу. Они улыбались друг другу, иронизировали с подковыркой, но их объединяла взаимная ненависть. Оба знали, что руководящие круги устраивал такой режиссерский тандем, поддерживавший в театре творческий заряд.

Из своей обиды Кеша высасывал все до последней капли: цветы, подарки, премии. При этом страшно зудел и раздувался, как комар. Жил этим, был счастлив и устрашал окружающих. С Кошмариком никто не хотел связываться. На нем, вопреки поговорке, никто воду не возил. Более того, возили эту воду сами, чтоб только не связываться с ним. Он же к шестидесяти годам стал местной знаменитостью и даже харизматической личностью, о которой с пиететом говорили даже в коридорах губернской власти, хотя в кабинетах и морщились.

На юбилее режиссера, который отмечали со столичным размахом, не говорил только немой посланник общества глухонемых. Но и здесь самые проникновенные слова о Шмарике были сказаны самим Шмариком. В своей заключительной благодарственной речи Кеша не упустил случая попенять Москве, которая обошла его в юбилейный год «Золотой маской».

— И почему? — спросил он у зала и залу же ответил: — Потому что настоящий талант — народный талант! А народный талант может оценить только народ! В Москве же народу нет.

Под горячие аплодисменты, свидетельствовавшие о том, что в Москве и впрямь нет народа и что приблизилось время банкета, Кошмарик покинул трибуну. На банкете Кеша царил по праву — и как виновник торжества, и как тамада, и как главный говорун. Про обиды он старался не вспоминать, больше говорил о планах и прожектах, о том, как давным-давно он мечтал поставить «Войну и мир». По юношескому замыслу, в



воздухе должны были летать, «слегка соприкасаясь рукавами», два главных персонажа: Купидон чистой любви и Дубина народной войны. В ближайшем же будущем Кошмарик мечтал воссоздать Париж, Бургундский отель, гасконцев и гордую красавицу, в которую влюблен герцог. При этом режиссер почему-то не сказал, что за пьесу собрался он ставить, ну да банкет уже был в той его части, когда названия не удерживаются в памяти. Да и секрета особого не было. Присутствующие, конечно же, сразу догадались, что речь шла о пьесе «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана — и это вам не хухры-мухры!

Кайф примы

Кошмарик не стал тянуть и на худсовете в репертуар театра протолкнул пьесу Ростана, причем в уже подготовленной осовремененной версии. Героическими усилиями режиссер и столичный драматург Иван Бернштейн вытащили героическую комедию из Парижа начала XVII века в Москву конца XX. Первые четыре действия «Обновленного Сирано» (рабочее название) происходили осенью 1993 года на улицах и в значимых местах столицы, а пятое и вовсе заглядывало в недалекое будущее — 2008 год, конкретно — в столичный аквапарк.

Что и говорить, задумка отличалась оригинальностью и смелостью. На сцене сталкивались старые и новые силы России: орущая ватага бездельников в шинелях и деловой истеблишмент в смокингах или минибикини. Половина сцен шла обнаженкой, но не полной: завлекательные места господ и дам были прикрыты лоскутками ткани и шнурочками. Кавалеры лихо дрались ногами, вскрикивая по-японски, а дамы зажигательно крутились вокруг стульев. СМИ широко анонсировали премьеру «Все равно» (так окончательно переименовали оригинал).

— Зрителю сегодня нужны натуральные переживания, не скрытые под покровом слов и одежд, — раскрыл свое кредо журналистам Кошмарик. — Чтобы лучше вжиться в образ, репетируем на натуре. Раскрепощайтесь! — добавил он своим коллегам. — Главный инженер пусть позаботится о наддуве сцены теплым воздухом и отсутствии сквозняков.

Актеры и особенно актрисы в своем репетиционном порыве как с цепи сорвались. Играть налегке было и впрямь легко: одежда и предрассудки старого воспитания больше никого не связывали. С первой же репетиции все сцены шли как по маслу, азартно, без лишних повторов, но и без ропота при них. Как правило, после репетиций парочки разбегались по своим углам и там шлифовали сцены до совершенства. Надо сказать, что репетиционный процесс захватил всю труппу театра и стал до того волнительным (словечко появилось тогда же, когда и «блин»), что участники действия перестали даже интриговать друг против друга.

Сборы обещали быть огромными. Ненашев утвердил цены на билеты в десять раз больше обычных. В городе потирали руки ценители искусства, а театралы и эротоманы всех толков и направлений ждали премьеры как праздника.

По ходу пьесы своенравная красавица Роксана в блистательном исполнении Изольды Викторovны не единожды являлась на сцене в легкой

шнуровке, что вносило в общую атмосферу спектакля дополнительный объем и краски. Главреж не мог нарадоваться на неувядаемую актрису и, как обладатель этого сокровища, подначивал Кошмарика:

— Что, Кеша, хотел бы такую бабенку?

Изольде же он то и дело повторял:

— Вот! А ты не хотела!

— Чего я не хотела? — каждый раз играла возмущение Изольда, любуясь собою в зеркале. — Я хочу всегда!

— При распределении ролей не хотела появляться на сцене голой!

— Обнаженной, Костя. Обнаженной, как Маргарита. Да и не вся я обнажена, есть и покров, вот он. — Актриса брала в щепотку шнурочки.

— А что, теперь мы сможем замахнуться и на «Маргариту», — задумывался главреж, представляя, какой фурор произведет на зрителей сцена бала, особенно если ее растянуть на полспектакля, да еще с выходом в зал. — «Золотая маска» будет наша. Губернаторская премия. Но Кошмарнику «Маргариту» я не отдам! Сам буду ставить!

— И правильно, Костик! У тебя и меня получится!

Изольда Викторовна после очередной репетиции, где она отметила пару не замеченных ею ранее торсов и иных достоинств актеров последнего призыва, приняла душ, натерлась мазями и в возбужденно-приподнятом состоянии направилась к главрежу поболтать о том о сем. По пути она встретила Попсуева, которого ни разу не видела на репетициях, и, все еще размягченная эротическими сценами и сопутствующими им чувствами, радостно подцепила главного инженера под руку, развернулась и повела к себе в уборную под предлогом ремонта торшера.

— Это кайф! — то и дело восклицала она. — Кеша — гений. Только Консеру об этом ни-ни! Действительно — в наготе кайф. Особенно когда тобой любуются. От одних только мужских глаз оргазм. Разве не так? Взгляд красавицы тоже может подвигнуть на многое! — Она окинула Попсуева таким восхищенным взглядом, что впору было тут же тащить ее в постель. — А что же вы до сих пор не удосужились посмотреть на меня?

— Да дела все, — вздохнул Попсуев, слегка обескураженный такой откровенностью. Не каждый день услышишь подобное от дам, даже народных. И вообще, от женщины Сергей не слышал еще этого слова, хотя, понятно, редко обходилось без него. — На прогоне посмотрю.

Он как-то наблюдал с балкона начало репетиции, оставившее его в некотором недоумении. На сцене кувыркался и истошно орал едва ли не весь молодежный состав труппы, парочка елозила на скамье, укрывшись плащ-палаткой, да вывалила на стойку буфета неувядаемые белые груди пятидесятипятилетней заслуженная артистка Маргарита Качалина, сипло кричавшая:

— Кому угодно пить? Пожалуйста сюда.

После того как она, похлопывая себя по груди, добавила фишку постановщиков: «Напою молоком и сиропом!» — Попсуев, не дождавшись появления Роксаны и Сирано, ушел в свой закуток и напоил себя пивом.

— А чего прогона ждать? Можно и сейчас. Готов?

— Всегда готов! — Попсуев вскинул руку, как пионер, и уселся на диван. — Ждать прогона вам не надо, уверяют нас гонады!



— Грубовато, но верно! — воскликнула Изольда, повернула ключик в двери, разделась и продемонстрировала себя так, как может продемонстрировать только народная, многими не раз любимая актриса, в конце выдохнув с блаженной улыбкой Попсуеву на ушко: — Душка.

«А Костик — старичок...» — с грустью, но без сожаления констатировала она, сыто разглядывая Сергея, как вкусное, но пока только продегустированное блюдо.

Все равно премьера «Сирано»

За несколько дней Попсуев вполне освоился в роли любовника актрисы. Ему нравилось пикироваться с ней по всяким пустякам, так как всякое слово, сказанное против, возбуждало Изольду.

— Как я понимаю Огюстину! — вздохнула Крутицкая, прихорашиваясь у зеркала.

— Кто такая? — Сергей листал альбом с фотографиями актрисы. — Огюстина кто?

— Огюстина Броан, французская актриса. Свой рабочий день начинала с молитвы Богородице: «О Мария, зачатая без греха, сделай так, чтобы я могла грешить без зачатия!»

— И как? — усмехнулся Попсуев. — Грешила?

— Грешила, — снова вздохнула прима. — Не смотри на меня так, бесстыдник! Довольно, пора на Голгофу идти!

— Раз Мария разрешила, с одобренья и грешила... Когда премьера?

— Седьмого ноября.

— Что, другого дня не нашлось? — спросил Попсуев. — Порнушку в красный день календаря казать.

— День как день, — пожала плечами Изольда Викторовна. — Не ко мне вопрос. И какая порнушка? Эротика! Плесни-ка еще в бокал.

— Ну да, искусству плевать на все, что не искусство, — сказал Попсуев.

— Не хами.

— Я скот, ничтожество, я хам. Со мною погрузимся в яму. Вот только кто же вы, мадам, отдавшись на диване хаму?

Изольда как кошка бросилась на Сергея, но тот увернулся от ногтей, подтолкнул ее в зад так, что она упала на диван, после чего поклонился и вышел.

— Сволочь! — проводила его восторженным восклицанием актриса. «Вот кого надо в директора!»

Изольда Викторовна была довольна: закрутить мужика, чтоб он был всегда готов и на иголки отвечал стихами, нужен талант. И не только его, а и ее. Прима была уверена, что с ее талантом (и, разумеется, красотой) в Современном театре рулит она, а не Костик с Ненашевым и всякие Кошмарики.

Но что бы ни думали о себе примы и режиссеры, судьба постановок не всегда решается в их кабинетах и будуарах и даже не в отделах культуры. После того как общественность узнала о том, что одиозная премьера назначена на седьмое ноября, возник скандал. Пенсионеры, среди



которых было немало заслуженных, уважаемых и влиятельных в недавнем прошлом людей, подали жалобы на лицедеев во все доступные им инстанции и иск в суд, а также устроили перед зданием театра митинг, позабавивший СМИ. Не дожидаясь вердикта суда, отреагировали заоблачные выси. Оттуда прогремело: «С премьерой повременить! Выборы на носу! Ставьте альтернативную версию, без новаций! А через год делайте что хотите».

Для постановки «альтернативного» «Сирано де Бержерака» из Латвии пригласили известного в театральных кругах режиссера Андриса Ненашевиньша. Для Кошмарика это стало шоком, но он ничего не мог поделать, так как пригласил латыша кто-то из недоступных ему международных сфер.

В театре сначала поразились необыкновенному сходству Ненашевиньша с Ильей Борисовичем, но оказалось, что Андрис — младший брат директора, Ненашев Андрей Борисович. Отличить братьев можно было по перстенькам: у «латыша» была печатка на безымянном пальце левой руки, а у сибиряка — на безымянном правой. Да и Андрис, в отличие от бархатножурчащего брата, обладал удивительно звучным, басовитым голосом, за который его иногда называли рижским Товстоноговым.

Ненашевиньш привез режиссерский сценарий, отчего у Кошмарика помимо Консера в театре появились еще два субъекта ненависти — братья Ненашевы. Чутко реагирующий на неприязнь коллег Андрей Борисович заметил Илье Борисовичу:

— Этот Кошмарик ненавидит нас братской любовью!

Вскоре в театре узнали о том, что премьеры «Все равно» не будет, но «Сирано» все равно поставят. И что сценарий повторяет пьесу Ростана, сокращенную на треть за счет второстепенных, по мнению режиссера, сцен. Часть артистов сникла, а другая (большая) воспрянула духом. Роксану по-прежнему играла одна Крутицкая, ей не составило труда перенести акцент «с плоти на душу», разве что пришлось облачиться в платье, а вот с Сирано у Ненашевиньша возникли проблемы. Два молодых артиста, игравшие в первой редакции больше телом, нежели словами и мимикой, были еще чересчур зелены для этой роли (хотя Сирано был тоже молодой человек), им явно не хватало сценического опыта, но еще больше — жизненного, а по большому счету — харизмы великого поэта-дуэлянта.

Перебрав всех потенциально подходящих актеров, Ненашевиньш остановился на заслуженном артисте России Буздееве, хотя Консер предупредил его, что пятидесятилетний мастер подвержен запоям, из которых его нельзя вытащить неделями. Однако делать было нечего, и Буздеева утвердили на эту роль, несмотря на то что он был грузноват для много голодавшего аскетичного Сирано и шпагой фехтовал, как энтомолог булавкой.

— У нас есть мастер клинка, — сказала Крутицкая, — он может подучить Буздеева.

— Ничего, обучу сам, — отклонил предложение Ненашевиньш. — Название для нашей постановки есть. Главный герой хоть и парижанин, но в нем столько гасконского, что подойдет «Сирано из Гаскони».

Главная роль главного инженера

Перед репетицией в воскресное утро Ненашевиньш сильно нервничал: Буздеев явно не справляется с ролью. «И впрямь под стать пузатым урнам пивной бочонок Монфлери! И заменить некем!.. Вот же труппа! Никого из достойных актеров в этом амплуа. Пригласить Барабанщикова из Москвы? Дополнительные расходы... Где взять? Надо с Ильей покумекать».

— Где Буздеев? — раздраженно спросил он.

— Где Буздеев?.. Буздеев где?.. — понеслось и затихло; Буздеева не было нигде.

— Буздеев в вытрезвителе, — шепнул на ухо режиссеру помощник.

— Что? В каком вытрезвителе?! — пробасил режиссер.

— На Писаревской.

— Что за Писаревская? У нас сцена в Бургундском отеле!

— Он сейчас в Вермутьском. Так у нас зовут вытрезвитель Центрального района, на Писаревской.

И тут из ложи послышалось:

— Как истый пьяница, я должен в самом деле бургундское вино в Бургундском пить отеле!

Андрис с интересом взглянул в сторону звучного голоса, но никого не увидел. Голос продолжил:

— Вот русильонское мускатное вино...

— Это что там за шутник? — задал риторический вопрос Ненашевиньш. — И долго Буздеев будет на Писаревской?

Никто не ответил. Режиссер развел руками, не зная, что сказать. Обстановка накалилась.

— А пусть Буздеева заменит Попсуев, — вдруг предложила Изольда Викторовна, — пока тот протрезвеет. Текст знает, причем всю пьесу. И взгляд на Сирано свой.

— Он что, театральное окончил? Какое? Когда?

— Нет, энергетический институт, московский.

— А, пролеткульт... С выражением говорит? Или с выражениями?

— В театральной студии сыграл несколько ролей. Гаева в «Вишневом саде», Арбенина...

— Арбенина? Хм... И где он?

Попсуев перешагнул из ложи в зал и направился к Ненашевиньшу.

— Ага, вот он. «Кто этот Сирано?» — задал вопрос Андрис, проверяя знание Попсуевым текста.

— «Преинтересный малый, — ответил Попсуев строчками из пьесы. — Головорез, отчаянный храбрец...»

— «Да кто ваш покровитель?» — произнес режиссер еще одну реплику, но Сергей и на нее ответил по тексту:

— «Никто».

— А-а, хорошо! Слова знаете. Шпагу в руках держали? Ладно, подучим.

— Так это он сам учил нас фехтовать, — сказала Крутицкая.

— Вот как! — удивился режиссер. — Возьмите шпагу. Махнемся.



— Махнемся. Крепче держите.

— Что ж не нападаете?

— Жду нападения от вас. Я к вашим услугам.

— Ну, держитесь!

— Держусь, — пробормотал Попсуев и внезапным скользящим ударом выбил шпагу из рук Андриса.

— Мастер!

— Старший. Удар «кроазе» называется, классика, правда, в спортивном, а не в сценическом фехтовании. Пальцам не больно? «Скажу вам не тая: мне надоели эти разговоры. Ступайте! Или нет, еще один вопрос! Что вы так пристально глядите на мой нос?»

— Ты глянь! У вас даже нос вырос от этой реплики!.. Достаточно. Текст знаете. Говорят, у вас свой взгляд на пьесу?

— Чтобы не гнать по сцене дикие аллюры, готов я к тексту предложить купюры, — произнес Сергей.

— Что-что? Купюры? Самому Ростану?!

— Лишь для того, чтоб выделить Роксану... — Попсуев указал на Крутицкую; та сделала книксен. — Начнем по-грибоедовски, с отцов: подсократим в отеле трусов и глупцов. Довольно будет одного Вальвера...

— А вместо шпаги — револьвера, — вдохновился на экспромт и режиссер. — Я понял... Да вы, как погляжу я, утопист!

— Вполне. Дас ист фантастиш! Ист дас меглих? Ист!

— Так... поизгалялись, перейдем на прозу.

— А напоследок вот вам розу! — Сергей протянул режиссеру короткую розу. «Какой же я молодец, — подумал он, — что не подарил розу Изольде».

— Перерыв! Полчаса. Оставьте нас с Изольдой Викторовой. Где Константин Сергеевич? А вас, господин главный инженер, я позову.

— Признаться, я растерян, — заявил Ненашевиньш главрежу и приме. — Пьесу знает изнутри. Вижу — его роль. И внешность, и голос, и вообще — дар. Чутье на текст, на партнера. Импровизирует, легко, даже изящно. Удивительно, как щедра наша страна на таланты.

— Наша, — поправила Андриса Крутицкая. — Не посягай на наших. У вас свои: Артмане, Паулс, Лиэпа...

— Они и ваши, Изольда Викторовна! — огрызнулся Ненашевиньш.

— Конечно, а то чьи же? Все они — наши! Зачем отделились?

— Изольдочка, мы отвлеклись, — вернул Консер приму в лоно театра.

— Так как Попсуев? — спросил Андрис. — Потянет?

— Чего гадать? — сказала Крутицкая, подумав: «А что если Сергею вообще играть эту роль? Одному, без Буздеева?» — Все равно Буздеев никакой. И станет ли каким надо? А Попсуев — вылитый Сирано. Опыт есть, играл в институтском театре. Пьесу еще ребенком выучил, после нее фехтовальщиком стал.

— Ну а как мне быть с вашими рекомендациями, Изольда Викторовна и Константин Сергеевич? Кто мне напел в мой горький час сомнений, брать или не брать Буздеева на роль: на него, мол, зритель прет, дамы западают, внебрачных детей одиннадцать...



— Деток хватает, — подтвердил Консер.

— Советуете мне их всех выпустить на сцену в первом действии? Ладно, делать нечего. Где главный инженер человеческих душ? Попробуем.

Когда Попсуев явился на репетицию, Ненашевиньш ограничился одним вопросом:

— А как вы видите роль Сирано, что в ней главное?

Сергей не задумываясь ответил:

— Главное в Сирано — я, потому что я — Сирано. И тогда, и сейчас. Мы с ним одно и то же.

Труппа живо отреагировала на это заявление прозелита и нестандартное решение режиссера, но удержалась от колкостей. Лейтмотивом ее смешанных чувств стало неопределенное «посмотрим». Что же касается Ненашева, он воспринял эту неожиданную весть с раздумьями: Попсуев прекрасно командовал театральным тылом, что было при его молодости и простодушии просто удивительно. Вдруг и правда войдет в труппу, надо тогда срочно искать замену. Плохо, если не войдет. Уронит планку театра и его, заслуженного работника рэфэ, скомпрометирует в глазах культурной общественности.

По здоровом размышлении Ненашев хлопнул рюмку-другую, решил не перечить брату, главрежу и приме и (на всякий случай) велел поместить в окно объявление о вакансии главного инженера. В голове Ильи Борисовича тут же возник блестящий проект, суливший ему неплохую выгоду, который он обмыл еще парой рюмок французского коньяка.

После репетиции Крутицкая (в этот вечер она была не занята) поймала Попсуева на выходе из театра, увлекла в сквер Героев Революции, усадила на скамейку под сиреневым кустом и с восторгом предалась фантазиям о предстоящей премьере, попутно делясь секретами своего профессионализма.

— Серёжа, поздравляю! Проба прошла прекрасно. Андрис доволен. Я сотворила очередное чудо — тебя. Не тни одеяло на себя, не мешай партнерам являть свой гений на сцене. Хотя нет, мешай. Мне ты все равно не помешаешь. И не кипи на сцене, зрителя подводи к кипению.

Попсуев выслушал монолог покровительницы не без чувства благодарности и молча кивал, соглашаясь с ней. Он поймал себя на том, что его эмоции повторяют переживания трехлетней давности, когда он триумфально выступил на инженерной диспетчерской и поймал удивленный взгляд Несмеяны.

Из сквера парочка направилась в ресторан «Центральный». Изольда Викторовна чувствовала себя на вершине блаженства. Никогда еще ей не было так легко и радостно. Глаза актрисы сияли, и Сергей не мог не отметить чистоты и ясности этого сияния. «Да тут все нешуточно», — подумал он.

После плотного ужина будущая звезда сцены удостоилась чести быть принятой в доме примы. Там все прошло на ура, вот только одно наблюдение, сказанное Сергеем, не дало Изольде забыться крепким сном:

— Я уверен, кузина, в себе и тебя не подведу, но айн момент смущает. Из фехтовального опыта знаю: самый коварный соперник — «чай-

ник», новичок. Так может ткнуть, что потом с воспалением надкостницы под хирургический нож пойдешь...

«Да нет, — все же успокоила себя актриса. — Какой новичок? Столько лет уже пробовал себя в разных жанрах. Станем ближе, обучу его всем тонкостям ремесла». Изольда не хотела признаться самой себе, что ближе стать им уже и нельзя, и так — дальше некуда. А когда Сергей стал называть ее, как Сирано Роксану, кузиной, в ее душе родились такие теплые чувства к нему, какие она могла испытать разве что к собственно-му дитяти, которого у нее, как у всякой великой актрисы, не было.

По старой привычке Попсуев встал рано, потихоньку покинул жилище Изольды и направился домой. «Чего же Таньке сказать?» — вяло соображал он. Чувствовал ли он что-то похожее на раскаяние? Нет — и удивлялся себе, почему не чувствовал. «Наверняка беспокоилась, где я. Ну и что? Я уже два месяца дома ночую через день, пора привыкнуть...»

— Это я, — сказал он, позвонив в дверь.

Дверь открылась. Похоже, Татьяна не ложилась спать. Не сказав ни слова, она скрылась в спальне. Попсуев прошел на кухню, включил чайник. Зашла Татьяна, встала перед окном и, глядя во двор, стала задавать бессмысленные вопросы:

— Нагулялся? Что будем делать? Что молчишь? Когда ты вчера...

— Позвонили?

— ...пошел к Изольде домой, я поняла, что тебе не нужен больше наш дом.

Попсуев ничего не ответил. Попил чай. Прошелся по квартире, побросал в сумку нужные ему вещи и сказал:

— Живи тут, а я на дачу. Днями репетировать буду, роль предложили.

На дачу Сергей не поехал, поселился в театральном подвале, в своей мастерской. Там можно было какое-то время жить, экономя время на пути с дачи в театр и обратно, да и нервы.

Из записок Попсуева

Неужели семья разрушает человека? Ведь очень многие мужчины и женщины вступают в брак целомудренными. Я, конечно, не святой, да и Татьяна, но помыслы-то у нас были чистые! Во всяком случае, у Таньки. Как в оптике при сложении двух световых волн возникает чередование темных и светлых полос, так и в семье даже супругов-ангелов ожидают не только светлые, но и окаянные дни. Разойдись они, уже чистыми не останутся. Или все же человек разрушает семью? И как это я дошел до этой мысли? Или до дела?..

Его клинок неуловим

Вопреки опасениям Ненашева, на премьере «Сирано из Гаскони» был аншлаги. Билеты — конечно, уже не по удесятеренной, по двойной цене — разошлись в три дня. На ТВ накануне прошла информация о спектакле, а в «Вечерке» Кирилл Шебутной пообещал нежинцам неза-



бываемое зрелище и истинное эстетическое удовольствие от просмотра бессмертной комедии Эдмона Ростана. Журналист доверительно сообщил, что на спектакле будет столичный гость — народный артист РФ Григорий Барабанщиков, знакомый зрителям по многим киноролям. Шепотом перечислил ведущих артистов, занятых в спектакле, но вместо Попсуева назвал некоего Эркюля Савиньена, гастролера из графства Керси (Франция), потомка русских эмигрантов первой волны. Так, кстати, было указано и в театральных программках и афишах. (Как оказалось потом, Илья Борисович выплатил Савиньену сумму, достаточную для покрытия скромных нужд чуть ли не половины труппы.)

Перед спектаклем Крутицкая спросила Консера:

— А ты в курсе, что вечером будет сам Барабанщиков?

— Откуда знаешь? — напрягся главреж.

— Разведка донесла. В том месяце делегация от московских театров была. Вот там нашелся человек, который устроил это. Вчера в «Вечерке» написали. Говорят, он из аэропорта напрямиком в театр придет.

— Ну, это честь! Это же после Петра Горина эталон Сирано. Изольдочка, не подкачай.

— Ха! Думаешь, он меня едет смотреть? Зачем ему еще одна Роксана? Ему Бержерак нужен, у него Бержерак в груди. Как и у Попсуева, — в раздумьях добавила актриса.

— Умыкнул у нас Попсуева, — с деланной скорбью произнес Консер. — Оправится ли от этого удара провинция?

— Ты, я гляжу, лицемер хлеще Ненашева.

— Учителя, — вздохнул Костя, взглянув на портрет тезки. — Великие учителя! Интересно, откуда он, народный, узнал об артисте из народа?

— От народа, от кого же еще.

— Сдается мне, у этого народа женское лицо. Изольдочка, шерше ля фам, конкурентки завелись.

— Но это же отлично!

— Да ты прямо сама Сирано в юбке.

— А ты сомневался?

* * *

Несмотря на то что Сергей мог мобилизоваться перед соревнованиями и экзаменами, ночь перед премьерой он спал плохо. Уже целый месяц Попсуева обуревали мысли, что зря ввязался в эту романтическую историю. Он никак не мог понять, изменился ли его взгляд на де Бержерака или он сам не тянет своим нутром на эту роль. К тому же в нем с каждым днем росла необъяснимая тревога, которая (он знал это) никогда не приходила к нему попусту, а всегда несла неприятность или беду. От этого в Попсуеве росло раздражение и неудовлетворенность. Последние репетиции и прогон, однако, прошли гладко.

На премьеру Сергей явился на взводе, лихорадочно страстный и, как это было в лучших его сабельных боях, «порвал соперника» — партнеров и публику. Зал ревел, а труппа, исключая Кошмарика и его юных беззе-

мельных кнехтов, не смогла сдержать слез восторга. Крутицкая же, Консер и братья Ненашевы поздравили друг друга с грандиозным успехом, закрепленным директорской фразой: «Завтра, родные мои, порадуемся еще и премиальным».

Из записок Попсуева

Сирано верил в остроту своего ума и шпаги — и больше ни во что. А я? Ни ума, ни шпаги, инфантильный Буратино из кукольного театра. Разве я не подлец? Зачем согласился на предложение Ненашева? «Серёженька! Мне удачная мысль в голову пришла. Вас пока в театральном мире не знают, да и публике вы не знакомы. А что если нам выступить под другим именем? Скажем, французского актера, которого мы пригласим оттуда, а? Сына и внука русского эмигранта. Это сегодня в тренде. На него пойдут. А мы потом эту тайну общественности раскроем. Опять же — рейтинг повысится. Я даже знаю, как его зовут. Эркюль Савиньен!» Наверняка задумал очередную пакость, а я покрываю ее! Бержерак прибил бы прохиндея за одно лишь использование его имени. Имеет ли право мерзавец в окружении мерзавцев играть благородство?..

От автора

Премьера «Сирано из Гаскони» стала легендой в культурной жизни Нежинска. До сих пор никто не знает, почему был всего один спектакль с участием Эркюля Савиньена. В театре поговаривали, что это был их главный инженер Попсуев, но точных доказательств сему не осталось. Руководство театра как воды в рот набрало, актеры пожимали плечами, а самого Попсуева в театре не оказалось. Сказали: уволился. Заметка Кирилла Шебутного тоже не пролила свет на эту странную, даже уникальную историю.

«Григорий Барабанщиков о премьере Современного театра». Заметка Шебутного

Позавчера на премьере героической комедии «Сирано из Гаскони» по пьесе Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» побывал народный артист России Григорий Барабанщиков. Зритель знает его как замечательного исполнителя многих театральных ролей в пьесах русских и зарубежных драматургов и писателей, знает многие его кинороли. Безусловно, и Сирано де Бержерак в его исполнении стал классикой. Кому, как не Барабанщикову, было оценить мастерство наших постановщиков и актерской труппы?

В целом московский артист спектаклем остался доволен. Отметив незначительные оплошности, очень высоко оценил режиссерскую работу Андриса Ненашевиньша, с восхищением отозвался о работе примы Изольды Крутицкой и неизвестного нашему зрителю актера, выступив-

шего под именем Эркюля Савиньена (предполагают, что это гастролер из Франции, безукоризненно владеющий русским языком). Особо мастер сцены отметил тонкую душевную организацию и «изящную взрываемость» исполнителя, своеобразно назвав ее «приемистостью артиста, форсажем исполнения». (Это замечание Барабанщикова говорит о нем еще и как о технаре, хорошо знакомом с автомобилями и самолетами.) «Все на месте — движения, речь, мимика, акценты, рефлексия... Я потрясен», — признался Григорий Григорьевич.

Барабанщиков отметил также, что Савиньен переиграл партнеров-мужчин, но не привычным в этой роли пафосом, романтичностью или сумасбродством, а тонкостью, лиризмом и глубокой душевной порядочностью — вещью сегодня немислимою. В результате нам была явлена не романтическая комедия или героическая драма, как это принято ожидать от постановки этой пьесы, а высокая трагедия непонятого человека, христиански смирившегося со своим местом у чужих ног. Переиграл не нарочито, не по отсутствию актерского опыта, великодушно щадящего коллег, а по своей человеческой значительности и чистоте. Ведь зрителя не обманешь. Зритель, как ребенок (а в театре все мы становимся детьми), видит сразу же доброго и чистого человека. И нос Сирано вовсе не гоголевский Нос, он тут вообще не играет никакой роли. Разве что маска, которой тут же хочется сказать: «Маска, я тебя знаю». Савиньен показал, что дух настолько выше плоти, что в принципе никак не стыкуется с нею. На земле нет места божественной любви. А земную любовь Сирано не приемлет.

Через день после премьеры я собирался взять интервью у Эркюля Савиньена, но его в Нежинске не оказалось, исчез. Открыв энциклопедию, я неожиданно для себя обнаружил, что полное имя поэта XVII века было Эркюль Савиньен Сирано де Бержерак. Что этим хотел сказать актер, выступивший под именем Савиньен? Он его однофамилец? Родственник? Или сам Сирано де Бержерак?..

(Окончание следует.)



Андрей АНТОНОВ

ЗАПАСНЫЕ ДАРЫ

Гусь

Над вятской окраиной гусь пролетал,
Такой одинокий и слабый,
Что с неба на воду с размаху упал —
Туда, где на мостиках бабы

С глухою досадой терзали белье,
Но, видя падение птицы,
Оставили древнее дело свое,
И были суровы их лица.

И что-то такое в нем было от них,
От тяги к покою и крову,
Что сам по себе заплетается стих
И жизни скрепляет основу.

И гусь, словно пава, поплыл по воде,
Животным подобием плуга,
Равняя крылом борозду к борозде
На пажити водного круга.

Казалось, он плыл к неземным берегам,
И мира привычный порядок,
Качнувшись, поплыл по озерным кругам
И стал непонятен и сладок!

Тяжелым плечом раздвигая залив,
Он пел, напрягаясь, как пахарь,
Темнея среди обездвиженных ив
Застиранной серой рубахой.

Повеяло в сердце нездешним теплом,
И бабы, всплакнувши немного,
Припомнили все, что сияло в былом
И вечно хранилось у Бога.

Веселые дни на коленях отца,
И тяжесть косы на затылке,
И белый платок потолка у лица
В родильной горячей парилке.

И бабам уже никогда не забыть
Явления мира иного,
И будет их мучить, и жечь, и томить
Поэзии вещее слово.

Нежность

*Хлебе Сладчайший, уврачуй уста сердца моего,
да чувствую во мне любви Твоя сладость!*

Амвросий Медиоланский

Только нежность, только нежность
И немножечко восторга.
Роковая неизбежность
Скудных лакомств Горпромторга.

Горка липкой карамели
И дешевые пастилки —
Всё, что в детстве мы имели
За бутылки, за бутылки.

Ах, смешная продавщица,
Мы-то знали: там, на складе,
За коробками томится
Слон зефирный в шоколаде.

Нам об этом сторож милый
Каждый вечер у окошка
Говорил, как из могилы,
Обещая дать немножко.

Нам казалось: в целом мире
Не найти воздушней сласти!
Шоколадные зефиры —
Горпромторговские страсти.



Так через земной прилавок
В страшных опытах съедобных
Открывалась Божья слава
И восторги преподобных:

Евхаристии прекрасной
Отдаленное обличье,
Без единой смертной гласной
Славословное величье.

Но мое стихотворенье
О тебе, моя родная,
Только нежность и терпенье,
Только участь неземная.

А хотелось бы, хотелось
За коробками, на складе,
Вытирать платочком белым
Твои губы в шоколаде.

Запасные дары

Посвящается богадельне им. царевича Алексея

В подъезде старушками пахло,
В железных кастрюлях цветы
Томились в предчувствии Пасхи,
Как в ветхом пределе скоты.

Прожженный диван на площадке
В табачном дыму угорал.
Сверкали Иудины пятки,
И Бог на кресте умирал.

Пожарная лестница в небо
Рвалась параллельно душе.
Но это сравненье нелепым
В Пяток показалось уже.

Звонок кукарекнул трикраты.
Тяжелая бухнула дверь.
И вздрогнул во сне прокуратор:
Покоя не будет теперь.

Хозяйка без лишних вопросов
Ппустила меня за порог,
Платком запечатала косы,
И комнату высветил Бог.

На столике, сдвинув лекарства,
Я грешной рукою открыл
Свидетельства Божьего Царства
Под вздохами ангельских крыл.

Молитвы прослушав сурово,
Старушка под епитрахиль
Склонилась и плакала снова
О детях погибших Рахиль:

«В колхозе работала, пела,
Плясала. Роскошно жила!»
Я шил исповедное дело,
А Правда сжигала дотла.

Сухарик Причастия в чаше
Оживотворил кипятком.
И сердце божественных брашен
Вкусило в Великий Пятак.

С причастницей, с вербной сестрицей
Простившись, я вышел в подъезд.
За башнями темной столицы
Виделся заснеженный крест.

Машины сверкали боками,
Пугая прохожих за так,
И не было между веками
Зазора хотя бы с пятак.

Старуха закрыла фрамугу,
И в малосемейной глуши
Псалом потянула по кругу,
Не чувствуя в теле души.

И время, и память, и вечность
Всё мимо сознанья текли,
Качая бетонный скворечник
На зябнущей ветке земли.

* * *

На сельском кладбище среди сварных оградок,
 Цементных столбиков с задачками на счет,
 Наивных надписей и сиротливых грядок
 Мне, как живущему, все мирное поет.

Поют тюльпанчики в железном обрамленье,
 И пироги поют, вобравшие, как твердь,
 В себя земную соль трудов и вдохновенья,
 И то, что в простоте мы называем «смерть».

И облака с утра галдят без передышки,
 И где-то на краю, в провалах черных дыр,
 Убогий электрон, как будто из-под крышки,
 Тонюсенько пищит, оправдывая мир.

И как же мне не петь, когда кругом веселье?
 На этом кладбище такая благодать!
 Здесь каждый божий день справляют новоселье,
 Сажают цветники и учатся считать!

И весь объем небес, испытывая тягу
 Движения земли, поет о том о сем,
 И вышитый крестом погост, подобный флагу,
 Нарядной ветхостью скрывает глинозем.

Но я не буду петь. Молчат на пепелище.
 Безмолвствует душа у гробовых ворот
 И, приходя сюда, не обретает пищи,
 А только всех друзей по имени зовет.

Братский памятник художникам Васнецовым

Два зеленых человечка
 С медными боками
 У музейного крылечка
 Говорят с веками.

По насесту пьедестала
 Мелкими шагами
 Они топчутся устало
 Вместе с голубками.

То налево, то направо
Ходят друг за дружкой...
Вот она, земная слава,
Медная полушка!

На виду у всех прохожих
Их существованье
На гражданский акт похоже,
То есть на прощанье.

По ночам они, как с блюда,
Пьют луны заварку.
Может, все же приживутся,
Одолеют Парку?

Я не против монументов.
Надо — значит надо:
Для старушек и студентов
На аллеях сада.

Сядешь рядом, в сень дубровы,
Отдохнешь сердечно
И с беспечностью здоровой
Затрубишь о вечном.

Господи, пошли немного
Радости нездешней.
И классического слога,
И скворца в скворешню!

Спят младенцы под покровом
Греческих традиций.
Пахнет кренделем медовым,
Кофейком с корицей,

Духовитым шоколадом,
Лавром и газоном.
Все живет одним укладом
На пространстве оном.

Жизнь кудахчет газировкой,
Лезет из бутылки.
Солнце крепкой монтировкой
Потчует затылки.



На скамейках дремлют бабки
В вязаных жакетах.
Детвора играет в прятки
На исходе лета.

А у братьев на запятках
Маятно и сиро.
Хлыновская моя Вятка,
Кировская лира.

Письмо с Кавказа

Мама, ты получишь похоронку,
Думаю, недели через три,
Распишись и отложи в сторонку
И с моей душой поговори.

Завтра в планах новая атака,
Будет давка у небесных врат.
Поле загустеет красным маком,
Только Бог ни в чем не виноват.

Каждого Он встретит как героя
И Победой наградит за смерть.
Ненависть железом землю роет,
А любовь распахивает твердь.

Ты сюда не ездь с извещением,
По вагонам не ищи меня,
«С возвращеньем, сын мой, с возвращеньем» —
Так скажи у Вечного огня!

В храм придешь — платком чернее смоли
Головы своей не покрывай,
После жатвы колосков на поле
Хватит на солдатский каравай.

Общей болью, как пасхальной чашей,
Дух скорбящий будет примирен,
Птичьи гнезда на вершинах башен
Оградит содружество знамен.

Материнский подвиг твой окончен,
Нынче Бог печется обо мне.
И звучат божественней и громче
Голоса убитых на войне.

Иона

*...и был Иона во чреве этого кита
три дня и три ночи.*

Ион. 2:1

Опустело вагонное чрево.
Я один. Никого больше нет.
Волны плещутся справа и слева,
И закрыт на замок туалет.

Как улитки, свернулись матрасы,
Облепили кораллы окно.
Вес удельный моей биомассы
Тянет душу на самое дно.

Жребий брошен, и рыжей телицы
Теплый пепел не выест глаза.
Над цветком ассирийской столицы
Собирается в небе гроза.

Ниневия сильна и богата,
И поэту в уме не сложить
Тот прожиточный минимум злата,
Чтоб достойно сатрапам блажить.

Этот город стоит на шарнирах
И качается, как акробат.
На словах ему служит полмира,
А на деле он лыс и горбат!

Он готов ежегодно седмицу
Свои персти в шкатулке хранить
И в шелковых хитонах молиться,
Жемчуга собирая на нить.

А в моей незабвенной Отчизне
Дети сладкий жуют поролон,
И железная проволока жизни
На граненый накручена лом...

.....

Сквозь потухшую линзу природы
Замаячил порядок иной.
Расступились летейские воды,
Это, видно, послали за мной.

Проводница зевнула открыто,
Положила на столик билет.

«До свиданья, пустое корыто,
Где три дня полоскался поэт!»

Солнце било в глаза с непривычки,
На платформе снежок подмерзал,
И, ныряя под мост, электрички
Теребили гудками вокзал.

Гость

Прот. Леониду Сафронову

Гость пришел. На ботинки его
Я смотрю как на черные дыры.
И мне хочется больше всего
В темный лес убежать из квартиры.

А потом оказалось: не гость,
Старый друг из деревни транзитом.
Он привез виноградную гроздь
В стеклотаре, лозою повитой.

Он расскажет: такие дела,
Мол, шатался всю ночь по округе
И стихов написал до зела,
Если хочешь, прочтем на досуге.

Мой ответ будет — праздничный стол
И ночлега земное гнездовье.
Разве нужен поэтам рассол,
Когда мир занесен в предисловье?

А поутру заварим чаек
От души и продолжим сказанья,
Так что жизни солдатский паек
Станет сладостней, чем подаянье.

Этот день не раскрошишь, как хлеб.
Не прольешь, как вино, ненароком.
Друг прищурится, словно ослеп.
Вдруг застынет, подобно пророкам.

И, обнявшись, как числа в дробях,
Потрясая друг друга за плечи,
Эту жизнь, эту смерть, этот прах
Оправдаем, как повод для встречи.

Павел ПОНОМАРЁВ

СПЛИН

Р а с с к а з

Обычно меня будит хозяйка. Не тормошит, не говорит — вставай, студент, так всю жизнь проспшишь, — просто я чувствую, что она рядом, что ее грузное тело в несвежем халате загораживает худосочный утренний свет, просачивающийся в низкое окно кухни, где я сплю на старом диване. Но главное — запах. Запах беспокойного сна, пота, несбывшихся надежд одинокой пожилой женщины. Сквозь дрему слышу, как она ворошит кочергой в печке, гасит последние угли: боится пожара. Шлепает дверцей холодильника, пуская в комнату запах тухлятины, щелкает выключателем чайника. Чайник начинает шипеть — это музыка утра. Раздается нарочито громкий деревянный хлопок двери, ведущей в сенцы: хозяйка вышла в сортир. Тогда я встаю.

Сегодня я проснулся сам. Открыл глаза, увидел тоскливую предутреннюю темноту, теплую и пыльную. Никто не ходит в халате, не ворошит в печке, не дышит тяжело, сипло, не пахнет лекарствами. «Хорошо», — подумал я, закрыл глаза и попытался уснуть. Но уснуть не получилось. За моими веками затеплились, напряглись сотнями капилляров полные трезвости, покоя и бесконечной скуки глаза юноши. Я открыл их снова и вспомнил, что сегодня воскресенье, выходной, что не нужно идти на учебу, и стало совсем тоскливо. «Зачем все, чем бы таким заняться, куда пойти?..» — мерцало в моей голове. Вдруг я подумал, что можно как-то изменить грядущий день, сделать что-то иначе, выскочить из накатанной колеи. Например, уйти пораньше, до того, как поднимется хозяйка и начнет свой ежедневный обряд.

Размякшее за ночь тело прислушалось к непривычному для него импульсу живой мысли и зашевелилось. Я надел джинсы, натянул теплые носки, кофту, наскоро умылся под рукомойником — без света, в январской предутренней тьме. Тянет согреть чаю, привык. Пощупал холодное железо чайника, почесал затылок. Нет, нельзя. Стоит лишь включить чайник — и утро начнется, минуя рассвет, таков закон. А мне нужно уйти незаметно, втихаря, как никогда прежде. В этом, я чувствовал, есть своего рода таинство. Таинство побега.

На дворе еще ночь. Траурно-волшебная сибирская ночь. В свете дальнего фонаря роятся снежные пчелы. Они всюду. Они больно жалят

меня в лицо и в руки. Тело заранее ежится от избытка остекленевшей тьмы, зовет обратно, в тепло. Но чем больше жалоб от плоти, тем упрямей становится мысль о необходимости идти вперед.

Вот и ограда. Пытаюсь выйти. Калитка не поддается, занесена по горло жгучим темно-лиловым снегом. По-хорошему, надо бы взять лопату, расчистить калитку и прокопать дорожки — от домашней двери до сортира и на улицу. Только не сегодня. Как тать, я перелажу через хлипкий дощатый забор, прыгаю в сугроб. Мне кажется, что хозяйка стоит и смотрит на меня в сумерках комнаты, с той стороны окна. Хуже, если смотрит и улыбается, страшнее...

Вот я и на улице. Пальцы рук коченеют, совесть безмолвствует. Что дальше?.. Поселок досматривает последние сны. Над крышами домов чернеют остывшие к утру печные трубы, из которых вот-вот начнет куриться ароматный древесный дым. Кое-где уже затеплились окна желтым уютным светом. Жаворонки проснулись, чтобы почистить снег и накормить собак. Приятно, наверное, работяге после трудовой недели так вот раненько встать, выйти во двор покурить, медленно сознавая, втягивая носом вместе с морозным духом сладость и быстротечность воскресного дня.

Скользю стертymi подошвами по льду, ощущая мерзкую влагу подмоченных снегом носков. Обувь самая дешевая, купленная на старом рынке в прошлом году. Жаль выкидывать, как память о первой стипендии, да и где взять денег на новые? Перехожу улицу. Фонари напряженно разглядывают съеденный шинами, оголившийся местами асфальт. Кругом никого. Совсем скоро в конце поселка, за одиноким тополем, появится «кулек»: в прошлом — культпросветучилище, а ныне колледж культуры, где уже полтора года я учусь на театральном отделении. Красим декорации, показываем зверей, корчим из себя гениев. Зачем учусь — непонятно. «Ученье — свет, а неученье — культпросвет», — шутят старожилы. Надо было куда-то поступать после школы, а в армию, мягко говоря, не хотелось. Ну да, а еще — чтобы оправдать, так сказать, надежды пьяницы и неудачника, руководителя школьного театрального кружка Петра Евгеньича. Спасибо ему, конечно. Переехал в другой город — большой, «престижный» сравнительно с тем городком, где я вырос. Оторвался хилыми корешками от родительской земли, да здесь что-то не прижился. Может, рано еще, а может, не судьба.

Ночь отступает. Город обретает привычные геометрические формы. Заметил: даже когда хочешь, всегда упускаешь тот мистический миг, когда тьма растворяется в воздухе и оттуда же проступает тихий, но всеобъемлющий свет. Словно кто-то невидимый на мгновение помрачает твой ум, чтобы уберечь тайну.

Справа различаю торец бывшего детдома, мрачно зияющего из темноты окнами-глазницами. Здание старое. Чем древнее и мутнее история здания, тем оно притягательнее. Говорят, прежде тут была женская тюрьма, а до тюрьмы — госпиталь, в войну. Теперь рядом с домом аккуратно, штабелями сложены стройматериалы: сайдинг, доски, кирпич. Чудится что-то отвратительно яркое и полезное: банк или супермаркет. Впрочем, какое мне дело до всего этого?

Останавливаюсь напротив музыкального корпуса. Всего их два. Этот — кирпичный, похожий на казарму, сляпанный когда-то самими студентами. И главный — салатный, в три этажа, отсюда его не видно. Стою курю. Ноги коченеют под летними джинсами, тело подрагивает в легких конвульсиях — это от худобы. Долго гляжу в коридорную тьму сквозь окно музкорпуса, что-то должен вспомнить и предпринять... Ну да, точно: Колян-трубач. Сегодня ведь его дежурство. Идти мне некуда. Обратно я точно не пойду, кафе до девяти закрыты, надо что-то делать.

Стучу в окно. Оглядываюсь по сторонам. Меня не покидает чувство преследования. Внутренне я готов увидеть силуэт хозяйки с лопатой, надвигающийся из молочных сумерек улицы.

Коридор осветился, нервно мигая лампами. Колян, в трусах и тапочках, лениво приближается к окну. Он бесстрашен, он никого и ничего не боится, кроме одного — что у него однажды не встанет. Увидев меня, Колян морщится и делает ленивый жест, чтобы я шел к двери корпуса. Не решившись идти через главный вход, охраняемый вторым сторожем, лезу через коварный, с острыми пиками, забор.

— Никитос, какого хрена?! — поприветствовал меня Колян. Его бычий взгляд требует пояснений. Но теперь и во всем мире нет ничего сложнее, чем объяснить Коляну причину моего бегства. Я и сам-то не понимаю — зачем.

Беседуем через приоткрытую железную дверь.

— Такие дела, Колян, замерзаю. — Мое окаменевшее лицо являет подобие улыбки.

— Тебя че, хозяйка прогнала? — без сочувствия, но с некоторым любопытством спрашивает Колян.

— Не-е, — улыбаюсь, — ночевал тут у чувака одного. Хозяйка с утра пораньше на рынок ушла. А ключи дома оставил.

— С бабами надо ночевать, а не с чуваками! — широко лыбится трубач.

Смеется он редко и страшно.

— Короче, Никит, — Колян морщит лоб, придумывая убедительную отмазку; улыбка вянет, — я тут не один. Подцепил давеча театралочку вашу. Ну эта, курносая... — Его тонкие губы плотоядно кривятся.

— Да не, я понимаю... Как дежурство-то, воры не лазят? — пытаюсь шутить.

Колян, поняв, что его не побеспокоят, делает «вольно» в теплом тамбуре и тоже шутит:

— Тут кроме моей «Ямахи» нефиг брать. А че на складе, я скоро сам на цветмет отнесу.

Попрощались, обменялись себе на уме взглядами и разошлись.

Теперь надо придумывать, куда пойти. А в голове пусто... и на улице — студено и пусто. Светает. Направляюсь в центр города. Возможно, пока дойду, откроются кафе — в центре их много — и там можно будет погреться, выпить чаю. Есть еще одна задумка, куда пойти, но пока она табу, туда мне пока нежелательно...



Во дворах встречаются дворники. Лиц не видно, только темные спины и неспешные маятники рук. В воздухе — скрежет лопат.

— Бог в помощь, — говорю одному.

Молчит. Скрежещет по льду: скр-рж-ж-жух, скр-рж-ж-жух... Я тоже так скрежетал. Мне говорили: «Бог в помощь». Я отвечал: «Спасибо» — и застенчиво улыбался. Мне нравилось работать дворником. Но потом я устал: сессия кипела, снег валил и валил, днем и ночью. Я возненавидел снег. И меня уволили. Год назад. Теперь я люблю снег, и мне приятно наблюдать за дворниками. Они — другие: приходят в тишину улиц, делают добро — и уходят.

После гнетущих пятиэтажных кварталов широкий главный проспект, как всегда неожиданно, вырос изумрудными фасадами в классическом стиле, с некоторой претензией на Невский, но скорее в гоголевской, чем в какой-либо иной интерпретации. Я невольно останавливаюсь, вытряхиваю сигарету из пачки. Еще горят фонари — мерцающей тропой уходят вниз к замерзшей реке; еще мерещатся в складках нездешней архитектуры тени едва ли трезвых демонов и поэтов, скрывшихся в потайные жилища от банальной зари.

Послonyaвшись по безлюдному центру, ничего путного не нашел, кроме привокзального круглосуточного кафе. Над входом новогодними гирляндами мигает вывеска — «У Ашота». В снегу бездомная кошка из целлофана выгрызает кусочки шаурмы. Вхожу. Сажусь за грязный пластиковый столик в форме оранжевого круга — почти солнце. От входной двери несет стужей и выхлопными газами: входят и выходят похмельные частники с лицами вчерашних эков и подчеркнута трезвые водители рейсовых автобусов — солидные пузатые мужики, зашедшие выпить кофе. Те и другие посылают взаимные враждебные токи — ухмылочки, взгляды, воздух меж ними наэлектризован. Вообще, я заметил, вокзал — зона повышенного напряжения мужских инстинктов.

Мокрой тряпкой возит по полу женщина в синей фуфайке и повязанном почти на глаза дешевом платке. Кажется, ей все равно, что происходит вокруг, даже то, что она в данный момент делает, чавкая тряпкой. С ней не шутят мужчины, не сторонятся, вежливо извиняясь, случайные посетители. Ее задевают, проходят по мытому, наступают на тряпку, опрокидывают ведро с водой — ей по-прежнему все равно. Я жалею ее. Потом вижу, как она переоблачается: скидывает фуфайку, разматывает платок, поправляет прическу, кладет одежду куда-то под стойку, надевает фартучек. Она становится той, к кому я сейчас подойду, чтобы купить горячего чая, отсчитаю мелочь, не поднимая глаз. Нет, я слишком застенчив для этого. Как-нибудь перетерплю, согреюсь.

Погрев руки, одну в другой, достаю мобильник, звоню Смайлу. Прислушиваюсь, надеюсь на лучшее с той стороны. Услужливый женский голос: абонент временно недоступен... Вот лажа! А хорошо бы теперь к Смайлу, в его теплую трехкомнатную квартиру с кофеваркой и аквариумными рыбками. Квартира, конечно, не его, родительская. Смайл — один из многих здешних моих приятелей; познакомились, кажется, на местном рок-концерте. Вообще-то Смайл — мажор и нытик (хотя сам

он называет себя хипстером), я таких не очень люблю. Но как-то так получилось, что мы сладили, стали вместе *пропинывать* свободное время. У него были деньги, у меня — тяжелая юность. Я научил его пить водку, приправляя беседу неформальскими байками о злых гопниках. Спел ему пару собственных песен с сибирским надрывом, отчего он еще больше меня зауважал. Разумеется, водка, сигареты «Парламент», закуска — за его счет. Я ему между делом вещал, что вообще-то закуска — не главное, что слушать надо «Гражданскую оборону» и «Аквариум», чтобы что-то понимать в жизни, а не всякую там «кислоту», что прикид — это гнилые понты, а главное — что ты такое есть как сущность. Он доверчиво кивал, храбрился, сопел в аккуратную бороду, опрокидывал содержимое стаканчика в рот, поблескивая брекетами, после чего беспомощно щупал руками воздух. На его месте я бы давно послал меня к черту. Но непостижима суть человеческих отношений. Может, теперь-то он меня и послал, молчаливым дав понять, что всему есть предел и что он имеет право на тепличную жизнь. Не всем же рвать на себе тельняшку, кто-то ведь должен иметь теплый вязаный свитер и последней модели «яблоко» в кармане. Явиться ни свет ни заря в воскресенье — похарчевать, погреться, поцедить истины — каждый сможет. Неужто прозрел?.. Да нет, просто отключил телефон. С кем не бывает.

Глядя на желтоватое, безжизненное лицо буфетчицы за стойкой, вспоминаю о хозяйке. Вероятно, теперь она уже проснулась. Сидя на кровати, закинула пару горьких таблеток в рот, запила тут же водой из стакана, нашарила тапки, прошла через темный зал на кухню, запахивая халат, чтобы я чего-нибудь не разглядел, включила свет, мельком взглянула на диван, остановилась. Вытягивает губы, чтобы оживить мысль, лицо выражает настороженность и удивление. Вот она думает: куда он мог деться? Обнаружив дырявое креслице, не занятое одеждой, отсекает мысль о сортире. Наверное, что-то произносит вслух. Интересно, что именно: «И куда в такую рань подался?» или «В церковь, что ли? да не должен»? Потом открывает холодильник, видит нетронутую палку колбасы, должно быть, довольно улыбается в эту минуту. Не спеша режет толстыми кругляшками колбасу для рыжего кота, другую часть откладывает на завтрак, прикрыв чистой салфеткой, шумно и удовлетворенно вздыхает, накидывает пальтецо и... идет в сортир. Так-так... Дальше интереснее... Входную дверь открывает не сразу. Наваливается всем своим добром и медленно сдвигает хренову кучу нападавшего за ночь снега. Вот тут-то и кульминация... Можно было бы углубиться в прелести драматургии и насладиться сюжетом, если бы не фатальное возвращение и развязка, корнем которой являюсь я сам.

Ход мыслей смазало появление новых посетителей за соседним столиком — двое рослых мужчин с бритыми черепами, в коричневых дубленках и совсем юная девушка, похожая на студентку, в легком пальто. Буфетчица принесла им кофе и пельмени в одноразовых тарелках. Странно, но я только теперь слышу радио, которое, по всей видимости, играло и прежде. Из фонающих динамиков женский приторный голос тянет что-то о неземной любви, загорелом незнакомце и диком пляже. Мужчины тем

временем потчуют девушку пельменями, соревнуясь в скабрёзных комплиментах на плохом русском, что, впрочем, никак не отражается на ее мучном лице с нелепо застывшей улыбкой. В какой-то момент девушка ловит мой взгляд и задерживает на нем свой, еще детский, но со сквозящей отрешенностью от всего, как если бы она смотрела в голую январскую степь. Спутанные светлые волосы, небрежно стянутые резинкой, едва заметный шрамик над бровью, плохо прикрытый челкой, — сиротская бесприютность и степная пустота во взгляде рассказывали о ней больше, чем могли бы рассказать ее девичьи дневники.

— Че смотришь, э-э! — обернувшись, звучно рыкнул на меня один из ее спутников. От его дубленки повеяло запахом свежей свиной кожи; к горлу подступила тошнота.

Я опустил глаза, потянулся за сотовым. Буфетчица, оставив мытье посуды, скучно смотрит сквозь нас, куда-то в крайний угол, где стоит ее швабра. Своим чутьем она точно уловила, что продолжения не будет, и вернулась к работе.

Мужчина еще долго остывал, грозно поворачивался в мою уязвимую сторону и что-то гортанно экал своему приятелю, прерывисто и дико смеясь. На девушку я больше не смотрел, уставился в телефон и без конца набирал Смайла.

Выйдя из кафе, я заметил, что уже рассвело. Бугристый свинцово-серый потолок навис над сибирским городом. Жгучий ветерок играет мусорной дрянью под ногами; за зданием вокзала трубят ранние поезда. От этих звуков сладко щемит сердце, как от музыки Баха. Наверно, имей я в кармане лишнюю пару штук, то взял бы билет не задумываясь. Куда? Да неважно куда — в русскую даль. Но тогда бы я сидел в теплой плацкарте, пил горячий чай с сахаром (в стакане бы усыпляюще позванивала ложечка) и глядел в окно.

Перед самым носом пролетает пустой желтый трамвай. Вот, блин, осторожнее бы надо... С оглядкой перехожу дорогу. Мне почему-то всегда казалось, что попасть под трамвай страшнее, чем под любой другой вид транспорта. В том смысле, что если автобус или легковушка тупо сбивают несчастного, то трамвай непременно затягивает под свое паучье нутро, волочет и медленно, жутко изничтожает...

Надо бы поесть. Холод и голод хорошо рифмуются, но скверно действуют на рассудок. Сворачиваю в университетский сквер, отороченный низкорослыми ржавыми елями. Самое время подсчитать деньги. Когда некуда пойти, когда тело сжимается единой судорогой, чтобы согреться, приятно думать, что в твоём кармане есть несколько мятых бумажек и горсть разномастной мелочи. Счистив снежную шапку рукавом, сажусь на ближайшую лавочку, перебираю бумажки — не густо; мелочь не трогаю, заглядываю в пачку — три сигареты и один пожухлый бычок с прошлого дня. Жить можно. Гляжу по сторонам. Не так уж далеко я забрел: прозрачные гудки со стороны вокзала все еще зовут меня. Через дорогу в духе современной архитектуры, из стекла и железа, магазин «Книжный мир». Вывеску так и не сняли. Раньше я частенько тут бывал, пока книжный магазин не превратился в торговый центр со всякого рода отделами

и общепитом. Брал интересную книжку, садился на мягкий диван у прозрачной стены и нередко засиживался до закрытия. Милые консультантки в форменных синих юбочках, обычно из студенток, не очень-то меня жаловали. По долгу службы им приходилось говорить скучные вещи: что здесь не библиотека, что если выбрали, то нужно купить... К чему это я? Зачем этот словесный зуд в костяном шаре, прикрытом нелепой шапочкой? Почему мысль идет на поводу у зрения, когда всем своим существом я нахожусь в привокзальной кафешке: отхлебываю чай, глажу, точно сухую траву, девичьи волосы, наказываю обидчика ногами, слушаю мучительные гудки, зовущие не куда-нибудь — домой, за сотни верст, кривыми заснеженными путями? Зачем я сижу здесь один, в центре города, среди незнакомых и чуждых мне людей? Мне холодно, одиноко. Пожалуй, я уже достаточно страдаю и мерзну, чтобы выкушать шкалик дешевой водки. Небо молчит, совесть по-прежнему безмолвствует. Хм... вот она — цель. Теперь-то я в силах собраться в живой мускул, в силах хоть немного приглушить январскую пустоту идей, стать мигающей точкой на экране вселенского навигатора.

Смотрю на ботинки, по щиколотку занесенные снегом.

Незаметный, спрятанный во дворах продуктовый магазинчик с облезлой дверью — артефакт советской эпохи. Его посетители — странные люди с ускользающей идентичностью и пенсионеры, живущие неподалеку в монументальных сталинках. Всегдашняя продавщица тетя Зина — крупная характерная женщина с принципами и черным барашком на голове. Когда я прихожу за водкой, она, следуя параноидальному кодексу, первым делом спрашивает у меня паспорт, а уж потом — как дела, учеба и «эх, жизнь, жизнь». Продвигаясь по знакомому маршруту, я испытываю легкую аритмию, как перед театральным показом. И чем ближе к магазину, тем меньше мне хочется свернуть, пройти мимо, и приходится выдумывать что-то новое о несуществующем родственнике, ветеране чеченской войны, заглушающем водкой ноющую душевную боль. Я не раз себя спрашивал: ну на кой тебе эти фантазии, почему именно сюда, мало ли поблизости магазинов? И не находил ответа.

История с ветераном складывается на редкость удачно — вот уже виднеется угол дома с обледеневшей водосточной трубой, заснеженные фигуры пенсионеров с пакетами и клюками; осталось лишь добавить в новый рассказ щепоть сантиментов, подытожить концовку безотрадностью моей миссии и невозможностью что-либо изменить. Да, как-то так...

Останавливаюсь. Вижу, что пенсионеры идут, печально похрустывая снежком, — от запустенья, от запертой красной двери, схваченной узкой металлической скобой и запечатанной навесным замком. Обломатушки, значит: прикрыли магазинчик. А жаль. Какую историю выдумал для тети Зины!.. Что ж, придется идти за водкой в другое место. Там хоть и хреново с человеческим фактором, без душевности, зато выбор богатый.

Иду и думаю, что не прочь бы теперь зайти в гости к своему вымышленному герою. Наверняка он живет в одном из этих дворов, в какой-нибудь убогой малосемейке: лежит на диване с включенным телевизором, дремлет. Просыпаясь, смотрит вполглаза на экран, плюется, матерится

сквозь зубы, идет на кухню покурить, ставит на газ чайник, подолгу глядит в окно. Раз в месяц к нему приходит почтальонша с пенсией, одинокая женщина за сорок с усталыми, некогда голубыми глазами. Ветеран, хромя, плетется к двери. Не глядя, точно рекламные листовки, берет у нее деньги и вежливо приглашает на чай. Обычно почтальонша отказывает, кивая на тяжелую рабочую сумку, но иногда остается. Тогда, усадив гостью за стол и налив чая, ветеран начинает рассказывать о своей книге, которую пишет вот уже десять лет, — нет, не о войне, о сибирской природе, о деревне, о детстве. Название книге он уже придумал — «Летние сны». Когда рассказывает — размашисто жестикулирует, пытаюсь подобрать точные по смыслу слова, чтобы выразить суть книги. В эти минуты он счастлив. Женщина с тревогой наблюдает за произвольными махами его жилистых смуглых, покрытых шрамами рук, парящих над хрупким фарфором, но слушает внимательно, с интересом.

Молоко, сыр, колбаса, мясо, хлеб, угрюмая рожа консультанта, водка... Мне сюда. Беру классический набор: шкалик «Беленькой», пачку «Максима», кирпичик бородинского и горчицу. Становлюсь в очередь.

— Пакет считать?

— Угу.

— Посмотрите десять рублей.

— Нету, увы... — искренне сожалею я. Для убедительности имитирую поиск денег в кармане куртки.

Если б не матерный трепет обветренных губ девушки за кассой, впопугу думать, что таких собирают где-нибудь в Японии, на высокотехнологичном заводе, а затем экспортируют в особых ящиках для нужд мирового потребителя.

Даровое тепло, скопленное в супермаркете, довольно скоро съел беспризорный уличный холод. Желтый пакетик с приятной тяжестью путается в ногах. Окутанный морозной серостью город словно бы вымер. В такие дни люди предпочитают сидеть дома, погрузившись в компы, телефоны, плазмы, изредка выходя за покупками, выбираясь в гости, в кино. Потому что за окном никому не нужная пустота, вместо неба — свинцово-серый потолок, и он давит. Мало кто задумывается, что совсем рядом, в трех—пяти километрах от точки тепла, пресловутого уюта, поют степные ветра, торчат кривые деревца, за которыми не спрятаться, не согреться. И окажись былью то кино, в котором исчезают города и человеческие блага и небеса сорят прахом над мерзлой землей, — худшее дело скакать голым под деревцами, звать о помощи, размазывать сопли по лицу, сеять проклятья, когда такая тишина вокруг, когда сама красота стелет белые простыни для обманутого мыслящего зверька. Уснуть, самое верное — уснуть в покое и увидеть Бога.

А вот и место моих созерцаний — единственная неохраняемая стройка в этом районе. Выявить это помогла естественная потребность, когда однажды я искал место для прятков в одного, запасшись крепленным пивом. Место оказалось подходящим.

За бетонным забором сереет кирпичное спиралеобразное строение, напоминающее Вавилонскую башню. Если учесть, что, по слухам, строит-

ся финансовое учреждение для помощи физическим лицам, то метафора архитектора выглядит вполне убедительно.

Что меня немного смущает — это заставить в облюбованном убежище бездомных людей. Не говорю — бомжей, потому что называть обездомленных людей с помощью аббревиатуры скверно. От этого душа гниет. Правда, есть надежда, что в такой мороз туда вряд ли кто-нибудь сунется. Я не мизантроп, но раз я никому не нужен, даже мажору Смайлу, который до последнего времени зависел от меня больше, чем от своего айфона, то уж лучше остаться одному, без постороннего присутствия. Ведь сегодня у меня, хех, необычный день, аж праздник какой-то...

Лезу в оконный проем «башни». Внутри будущего офиса валяются пивные бутылки, газеты с характерными пятнами, битый кирпич. Сооружаю сиденье из досок, стелю сверху картон. Вроде замуровался. Достаяю из пакета хлеб, горчицу в пластиковой упаковке, шкалик. Кладу продукты на относительно чистый картон. Минуту просто сижу, без движений, смотрю в серый квадрат окна: снег идет, снежок. Тихо так идет, над то полями.

Делаю первый глоток — сахарный такой, жгучий. Не закусываю, жду, пока водка согреет живот (живот — значит жизнь), а от живота согреются руки, ноги, глаза, ногти, волосы на голове, а там и душа. И в этот чудесный момент слышу — музыка. Красивая такая музыка, старинная, и понимаю, что это Иван Севастьяныч родной. Узнаю — концерт для двух скрипок с оркестром ре минор. И музыка эта словно бы из меня самого прорастает, из самого живота, и делается так хорошо на сердце, сладко. И тополя, словно ракеты какие, отрываются от земли и летят, летят... А рука, подлая, лезет в карман. Ну кто там еще? А-а, мажорище недолайканное, ну, здравствуй...

— Привет, Никита, звонил?

— Я-то? Звонил, ага, — говорю просто, без обиды; в голове еще звучит музыка.

— Я сегодня на бизнес-тренинге весь день. Телефон в отключке. Мастер тут классный из Москвы приехал. Так что сегодня вряд ли куда...

— Понятно... Ты ж себя музыке хотел посвятить, синтезатор дорогуций купил. На кой тебе эти тренинги? Пошли бухать!

Нет, бухать мне с ним что-то перехотелось. А постебаться над деловым юношей — в самый раз. Я прикладываюсь к бутылке, улыбаюсь, гляжу на картину с зимним пейзажем, кем-то повешенную на стену.

— Ну-у... музыкой много не заработаешь, — по-деловому замямлил Смайл; видно, набрался-таки науки от мастера, — надо реальные дела делать.

— Какие дела, Федя? Ты на истфаке учишься, высшее образование получаешь, в отличие от меня. Я, может, хочу, чтобы ты моих детей русской истории учил, прививал им любовь к Родине...

— Какой еще Родине? — ухмыляется Смайл.

— А такой. Ты Соловьёва, Ключевского, Бердяева для чего читал, чтобы экзамен сдать? Или чтоб понять, как жизнь наша устроена...

— Ясно. Ты пьян.



— Я трезвее, чем все твои друзья-веганы вместе взятые, я в башне сижу. Знаешь, о какой башне речь? Не знаешь. Если не одумаешься — это твоя судьба. Я, можно сказать, в твоём будущем офисе сижу, на досках. Но ты не бойсь, тут ребята-гастарбайтеры подшаманят, выгребут, евро-ремонт сделают, пока ты свой универ кончишь. Бороду сбреешь, будешь сидеть в пиджаке и в галстуке. Секретарша с упругой жопой будет тебе кофе приносить на подносе. Будешь ее трахать по большим праздникам, если повезет. А тебе обязательно повезет. Ты ведь Смайл — улыбон, так сказать, символ современной жизни. А холод... Знаешь, что такое холод?

— Послушай, Никита. Мне некогда выслушивать твой пьяный бред. Сейчас кофе-брейк, а потом еще семинар до шести вечера. Так что извини, пока...

— Кофе-брейк, блин. Тебе чего, русских слов не хватает? Ты словарь Даля-то почитай...

Отключился. Вот мудак... И что я на него напал? Ведь действительно — человек делом занят, и будущее у него вполне реалистичное прорисовывается, не то что у меня: этакий провинциальный сюр в трех действиях с предсказуемым финалом. Нет, в актеры я точно не пойду. Уж лучше сторожем где-нибудь отсидеться за пять тысяч, рассказыки пописывать, чай гонять, подальше от людей, от их самоуверенных физиономий, от всей этой колготни. Я бы, может, и теперь все бросил и затворился, если бы не обещание родителям доучиться, получить никому не нужные «корочки». Кто бы знал, как мучительно всякий раз идти на почту за родительскими деньгами и трогательным письмецом с приветами и рисунками младшей сестры. Да, смешно и грустно — бумажное письмецо в бумажном конверте. Как хочется провалиться в глубокую яму по пути к неизбежному, когда идешь и вождельно смакуешь уже мысленно приобретенное, выпитое и съеденное, понимая, что им там самим живется несладко.

Опустошенный шкалик прозвенел по кирпичным осколкам и замер. Я отломил кусочек от бородинского хлеба, макнул его в горчицу и стал медленно жевать, думая о том, что делать дальше. Полумысли, как слепые мышата, сталкиваются в потемках сознания, не рождая идеи. Похоже, придется нарушить табу и воспользоваться запасным вариантом. Но для начала нужно выбраться отсюда. Как-то уж слишком хорошо стало: тело размякло, глаза смыкаются против воли, в темноте мгновенно проваливаешься в манящее забытьё. Нет-нет, надо сгребаться — и вон из этой дыры. Только бы хватило сил выползти из окна...

Хватило. Иду достаточно твердо, но не настолько, чтобы казаться трезвым порядочным гражданином. Я кажусь себе то вольной птицей, парящей над заснеженным городом, то зимним червячком, прячущимся в сугробе от черных сапог... Электрик убавил свет. Впору сказать — смеркалось... и ускорить шаг, чтобы поскорей добраться до цели и тем самым уклониться от пугающих приступов, вытекающих из «синдрома мнимого освобождения». Да, таков мой диагноз. Я уже чувствую, как к горлу подступает горькая словесная отрыжка из ненужных вопросов и желчи. Глаза по-волчьи высматривают жертву. Приступы вопрошания — так можно назвать мое теперешнее состояние. Из клинического опы-

та известно, что лечится столь редкое заболевание исконным народным средством — дюлями. А у меня скоро показ, нельзя мне. Еще пара кварталов — и я буду в безопасности... Господи, только бы не встретиться с теми, кто по образу и подобию Твоему...

Старушка божий одуванчик, зачем ты идешь в мою сторону, почему не сидишь дома у телевизора, не вяжешь носочки?..

— Простите, можно задать вам вопрос? Только один. Вы верите в любовь?

— Ой-ой... — Старушка поскальзывается, шлепается об лед. Я помогаю ей встать, отряхиваю от снега, ласково убеждаю не бояться.

— Я уж и не помню, сыночек, с чем ее едят.

Извиняюсь, извиняюсь еще раз, почти плачу. Уронил бабушку словом, говнюк.

Две молоденькие девушки гуляют под фонарями, звонко хохочут, не подозревают. Притягиваюсь пьянящим блеском их красивых глупеньких глаз.

— Девушки, вы верите в любовь?

Смеются, говорят — верим, снова смеются.

— Поцелуйте же меня, несчастного!

Смеются, говорят — нет, не поцелуем, уходят.

Вот идут два пацана, одинаковых с лица, молчат, мрачно курят, надвигаются.

— Ребят, извините, вы в любовь верите?

— Пошел ты...

Все правильно, иду, близится исцеление. Тут дойти-то — всего ничего.

Из-за угла выплывает темное пятно — чернорысый батюшка в полушубке, с кротким взором; идет тихой поступью, точно по воде.

— Батюшка, вы... это... в любовь верите?

— А как же, — охотно отвечает поп сквозь заиндевелую бороду. — Бог есть любовь, молодой человек.

— Значит, и меня, грешного, вы тоже любите?

— Христос всех заведцал любить, даже врагов.

— Тогда обнимите меня покрепче, мне холодно.

Я подхожу к нему. Батюшка брезгливо отталкивает меня ладонями, облаченными в кожаные перчатки. Я падаю в сугроб. Вижу звездное небо над головой при временном бесчувствии нравственного закона внутри меня. Батюшка проворно уходит, оглядываясь и бормоча нечто непозволительное его сану.

Поднимаюсь, чувствую боль в спине: видимо, упал на кусок льда... или что там обычно закапывают в снег. Дурацкий вопрос, дурацкий случай избавления от припадка через мягкие ладони священника. Лучше бы оставил синяк — по крайней мере, это стало бы веской причиной моего появления у... «У» — двадцать первая буква алфавита. Убийца, ушлепок, упырь, унавозить, уберечь, усовестить, упредить, угод, ускорение, увалень... Так, увалень, без четка заявляться не стоит. Чем будешь оправдываться перед неизбежным, чем будешь заполнять неловкую тишину?



Заныриваю в магазин. Беру «Беленькую» на последние деньги и шоколадку «Альпен Гольд», в которую, по слухам, добавляют сушеных африканских пауков. Для особого вкуса, наверное. А может, и так, по приколу — подсластить горечи нашей жизни.

Пятый подъезд. Дом с аркой. Помню, стало быть. Постоять, что ли, покурить по традиции. Курю, кручу головой. Описывать совершенно нечего. Разве что деревья. Но деревья — они и в Африке деревья, что их описывать?

Приближается неизвестный, открывает плачущую дверь. Захожу следом. Подъезд. Обычный такой подъезд со ступеньками, почтовыми ящиками. На подоконниках цветочки. Значит, не обычный подъезд. Поднимаюсь на третий этаж. Помню. Добротная металлическая дверь. Звоночек рядом. Надо ли звонить в звоночек? Надо. Куда теперь мне... Звоню в звоночек. Жду.

Открывает. Или мне кажется... Нет, открывает. Смотрит и видит. Меня. Надо же...

— Привет... — говорит Марго.

— Привет. Это тебе, — протягиваю шоколад, глупо улыбаюсь.

— Заходи.

Надо ли сказать, что она изменилась... Длинный шелковый халат, умело очерчивающий стройное тело, крашенные светлые волосы, пирсинг в носу, в левом ухе пара серебряных колец, тату в виде иероглифа на шее. Мало что осталось от прежней дикарки в джинсе и фенечках. В квартире пахнет восточными благовониями, усыпляюще играет медитативная музыка.

— Не стой столбом, садись. — Провожает в просторную кухню под хайтек, кивает куда можно приземлиться.

Она, она — только она так может говорить!..

Молчу. Осматриваюсь, чувствую себя идиотом.

— Сколько не виделись — год, два... не помню... — лениво цедит она.

Раньше так не говорила. Зачем теперь говорит?..

— Год и три месяца. У тебя выпить можно?

Стеснительно вынимаю из пакета четок. Предлагаю:

— Выпьешь?

Равнодушно смотрит на водку, отказывается. Молча достает миниатюрную рюмочку из кухонного шкафа, вытирает салфеткой.

У меня двоится в глазах. Образ стройной блондинки перехлестывает смешливая ведьмочка, певшая когда-то Янку под расстроенную гитару: «А мы пойдем с тобою погуляем по трамвайным рельсам...» Сходили, погуляли. Пару лет назад она перебралась в этот город, поступила в университет. Теперь ни с кем почти не общается из старых знакомых.

В ванной шумит вода. Зачем она включила воду? Собралась мыться или забыла выключить? Снова думаю не о том...

— Марго, у тебя там вода...

— Знаю. Как ты?

— Я нормально. Учусь на актера, расту, так сказать, духовно.

— Вижу... как растешь. Ветчину будешь?

— Не откажусь.

Ухаживает за мной. Красивая такая, стройная. Когда она, склонившись над столом, резала ветчину, халатик растворился и обнажил две ее беленькие груди. Я их не знаю. Знаю только уши, шею, обветренные губы, пропахшие дымом волосы, руки. На чердаке ее дома, где мы целовались, были голуби, сумерки и узкое оконце, выходящее на главную площадь...

— А помнишь, мы с тобой...

— Только без ностальгии. Хорошо? — оборвала Марго. — Она нировать на прошлое — хуже всего. Поэтому я с нашими и не общаюсь. Кого ни встретить: помнишь то, помнишь это... А в будущее лень заглянуть? Тогда ведь делать что-то придется, шевелиться. Это не спирт по подворотням шукать да на звезды пялиться.

— И чем тебе звезды не угодили... Ладно, не буду. Воду выключи, платить же...

— Забей.

Я выпил раз, потом второй, третий... Марго сидела, скрестив ноги, на мягком диванчике у окна и копалась в планшете. Медитативная музыка действовала на нервы, подташнивало от благовоний, но я молчал, соблюдая обычаи гостеприимства. Пованивали мои дырявые носки, спрятавшиеся глубоко под стулом. Происходившее казалось дурным сном, от которого нельзя было отмахнуться. Я думал: зачем я здесь, не пора ли уже сваливать? Смущенно поглядывал на красавицу Марго; она меня не замечала.

Что-то щелкнуло в ванной, шум воды умолк, растворилась дверь. Из ванной вышел благоухающий полубог лет двадцати пяти, прикрывая срам большим махровым полотенцем. Он с улыбкой взглянул на меня и тихо удалился в соседнюю комнату. Марго не изменилась в лице, даже не шевельнулась.

— Значит, так теперь любят... — грустно промямлил я.

— Ты о чем? — не отрываясь от планшета, спросила Марго.

— О звездах...

Марго едко улыбнулась. Сказала:

— Ты вопросы пришел задавать?

— Нет. В гости. Я что-то плохо стал соображать в последнее время...

— В смысле?

Я выпил еще рюмочку, занюхал кусочком ветчины. Вправил вывихнутый взгляд, сконцентрировался, посмотрел на Марго.

— Вот ты говоришь, что не надо ворошить прошлое. Что это от слабости... Ну а зачем тогда все это с нами происходило? Кто это выдумал? Ведь тогда я был по-настоящему счастлив. Скажешь, это было что-то вроде сна юности? Может, и так. Но этот сон был прекрасен. Наше скитание по чердакам, по опасным городским улочкам в хипповском прикиде... Тогда достаточно было просто быть, чтобы мир с легкостью делился с тобой своими тайнами. Нас лелеяло степное солнце, укрывали

от опасности высокие тополя, город не выдавливал злыми вопросами из пространства, душа не призывала к бегству. Помнишь? «Сама ложилась мята нам под ноги, и птицам с нами было по дороге, и рыбы поднимались по реке...» А теперь ничего не понятно... Теперь лишь стало очевидно, что «судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке». Гнусавый ментор соткался из пустоты, чтобы внушить новые законы для новой жизни в мире, где нет места чуду...

— Ну-у, затынул балладу... Сентиментальничаешь, как старик. Тебе самому не стремно? — Марго вынула тонкую сигарету из пачки, закурила.

— Мне не стремно. Можно? — показываю на пачку «Максима».

— Кури... спрашиваешь...

Я запалил сигарету, несколько повращал в раздумье глазами и продолжил:

— Марго, жизнь бесконечно разнообразна. Только с возрастом люди предпочитают многомерности живой жизни плоскость картона. И весьма этим довольны. Созерцание уступает место счету, беспечность — выгоде и порядку. Я не говорю, что все должны лежать на травке и глядеть в облака... Хотя в этом нет ничего дурного. Но когда я слышу от сверстников разговоры о выгодной пенсионной сделке с банком, меня реально тошнит. Я ищу урну. Они правильные ребята, они еще мало думают о профессии — не говорю «деле жизни», но уже помышляют о гребаной пенсии. Интересно, а место на кладбище себе кто-нибудь заказывает в двадцать лет? Так сказать, впрок. Не удивлюсь, если такие найдутся.

Марго пускает нитевидные кольца в пространство, округляя клубничные губки, потом, чуть зажмурившись, говорит:

— Красиво излагаешь. Наверно, думаешь много. А думать не надо, надо жить. Вот ты что собираешься делать после своего училища? Только не говори, что в актеры пойдешь. Из тебя актер — как из меня домохозяйка.

— В актеры я и не собираюсь. Так, занесла нелегкая... Да мало ли интересных занятий. Может, писателем стану.

— И много ты написал, писатель? — улыбочиво жмурится Марго.

— Пока ничего. Для начала нужно пощупать воздух, понаблюдать.

— И что, есть открытия?

— Ну... есть кое-что. На рассказик наберется.

— Как напишешь, скинешь на почту? — не то серьезно, не то в шутку спросила Марго.

— А как же, тебе — первой, — двусмысленно ответил я.

Тем временем на кухне образовался полубог с неизменной улыбкой, уже одетый и причесанный на стилижный манер. Он мягко, по-кошачьи приблизился к Марго, чмокнул ее в щеку, шепнул на ухо:

— Все было супер, солнце.

Солнце мурлыкнуло что-то в ответ, засияло и отправилось провожать гостя.

Теперь надо уходить. Шкалик пуст. В душе тоже пусто и сумрачно, как за окном. Уж слишком все походит на дешевый спектакль с плохими

актерами. Глупо ждать цветенья от дерева, всеу спиленного и брошенного в костер слепым дурачком. Слепой — это время.

Когда я уходил, мы едва не столкнулись с ней лбами в потемках коридора. Мне показалось, будто на секунду она стала прежней Марго, вскрикнув:

— Елы-палы, Га-Ноцри! Чуть не шваркнулись! — и засмеялась — легко, звонко, как прежде. Га-Ноцри — так она меня называла в чердачные времена. Видно, растерялась, не успела сообразить, что теперь мы другие, и смущенная память, точно пыжом, выстрелила ветхим запыленным именем.

— Марго, спасибо тебе. Пойду я...

— Еще придешь? — как-то спокойно, странно спросила она.

— Не знаю... Как получится... Возможно... — сбивчиво отвечал я, шагая вниз по ступеням.

Оказавшись на первом этаже, я услышал последнее:

— Рассказ не забудь скинуть, писатель!

Я не ответил. Где-то наверху лязгнул дверной засов, а дерзкое эхо ее слов поглотили стены.

* * *

Обратно идти было легко. Колкий морозец вытравил хмельную мусть из души. Вечерние сумерки были иные — суетливые и гулкие. В них словно бы кто-то торопился совершить несовершенное, доделать то, что замыслил с утра, но не доделал, промотался зря. Стоит ли терзаться из-за этого, ведь завтра наступит точно такой же день. И так дальше...

Я подошел к калитке — в окошке горел свет, на снегу темнели глубокие хозяйкины следы, дорожки были не чищены. Я потопал ботинками, чтобы отбить снег, зашел в темные сенцы, затем — в теплую кухню. Страх не было. Я задумал начать новую жизнь без страха и прошлого. Будь что будет. Мне все равно.

Из зала вышла хозяйка. Лицо ее было заплаканным и от этого казалось добрым.

— Рыжик помер, — всхлинула она и, обмякнув, присела на диван.

Я бегло осмотрел комнату, ожидая увидеть на полу мертвого кота. Но увидел лишь его оранжевый коврик и пустую вылизанную миску. Я печально вздохнул, как нас учили, и повесил куртку на крючок.

— Похоронила на огороде, в самом углу. Весь день землю колукала... — тяжело вздыхала хозяйка.

— Жалко, тетя Маш. Хороший был кот, — посочувствовал я. — Я, наверно, пойду, снежок почищу...

— Поешь сперва. Я там щи в холодильнике оставила... После почишь.

Ближе к ночи мы сидели с ней в зале под беззвучное мерцание телевизора. Она рассказывала мне о своей жизни, о спившемся муже, о том, что когда-то работала библиотекарем, а в детстве играла на скрипке. Я внимательно слушал, пил чай и взрослел...

Надежда ПУЗЫРЕВСКАЯ

РОДОСЛОВНАЯ

* * *

Был у отца за городом участок,
который громко назывался сад.
Предметом умных споров о мещанстве
служил он мне двенадцать лет подряд.
Была б нужда таскать большие лейки,
под жарким солнцем биться с сорняком —
ведь помидоры стоили копейки
в воскресный день на рынке городском!
А он гордился собственным салатом
на самодельном строганом столе...
Была мне, горожанке, непонятна
крестьянская привязанность к земле.
Но до сих пор еще я помню ясно:
закатным светом залито крыльцо,
спокойно, как у пахаря, прекрасно
заметно постаревшее лицо...
Еще с погоста помню путь обратный,
где он остался навсегда лежать...
В тот страшный год собрали мама с братом
отцовских яблонь первый урожай.

* * *

Мне сегодня нестерпимо горько...
Ветер листья путает с травой.
Лес мой, лес, зеленые иголки,
верный друг и утешитель мой.

Сколько мы с тобою вместе спели,
а всего, наверное, не спеть...
Вот и я узнала: в самом деле
кроме жизни существует смерть.

Мне сегодня нестерпимо грустно:
 я теперь осталась без отца.
 А из-под земли восходят грузди,
 и полям брусники нет конца...

* * *

Как давно здесь все знакомо
 и любимо мной давно:
 горы дров у частокола,
 к речке низкое окно,
 песни грустные девчонок
 у окраины села,
 что от яблонь да черемух,
 как зимой, белым-бела,
 золотых полей затишье,
 за которым вдруг — гроза,
 деревенских ребятишек
 васильковые глаза,
 теплый, вкусный запах хлеба,
 сено свежее в стогу,
 и веснушчатое небо,
 и ромашки на лугу...

* * *

Не только светлым видится оно —
 и никуда от этого не деться, —
 когда опять, как старое кино,
 я в памяти прокручиваю детство.
 ...Иконы лик, колеблемый свечой,
 и небосвод неласковый и мглистый.
 Фанатик дед плюет через плечо
 и прокликает маму-коммунистку.
 И, только остаемся мы вдвоем,
 опять старик плетет свои «интриги»:
 становятся мне первым букварем
 церковные таинственные книги.
 От дум не детских пухнет голова,
 и по ночам рыдаю я в подушку.
 А ну как мама вовсе не права
 и продала нечистой силе душу?
 Я истово поклоню с дедом бью,
 а страшный кто-то за стеной смеется.

И маму я, и дедушку люблю,
на части сердце маленькое рвется.
...Давно мой дед ушел к своим богам
и там, должно быть, успокоил душу.
А я все помню тени по углам
и мокрую холодную подушку.

* * *

Слова их доходят до нас с трудом,
ведь нынче умнее родителей каждый...
Но вот они — письма в родильный дом,
где я на весь мир закричала однажды.

Отцовские письма: карандашом,
обрывки каких-то бумаг непригодных.
Восторженно: «Машенька, я нашел,
антоновку вам отыскал я сегодня!»

И столько здесь радости, боже мой!
О яблоко, символ любви и жизни...
А послевоенный сорок седьмой
шагал за окном по моей Отчизне.

* * *

Все думала: когда-нибудь засяду
и я за родословную свою.
Вот обойду всех родственников кряду
и в прошлое завесу отворю.
Все недосуг: семья, работа, книги
о родословных — не моей чета...
Сложились в годы крошечные миги,
и вот уже незримая черта
нас разделяет с теми, кто когда-то
мог приоткрыть мне занавес веков,
и незаметно как-то, непонятно
в родне моей не стало стариков.
И не к кому теперь идти с расспросами —
смешеньем чьих неведомых кровей
явились в мир глаза мои раскосые,
грузинский профиль матери моей...

Представляем молодых

Екатерина УСОВА

ОАЗИС

Рассказ

Эта публикация омской школьницы Екатерины Усовой — дело не совсем обычное: если 13-летние поэты — явление нередкое, то прозаиков в этом возрасте практически не бывает, ведь мало кто способен при таком невеликом жизненном опыте написать интересную, «взрослую» прозу.

Мы желаем Екатерине больших творческих успехов.

Редакция

«Наступите на мышь — и вы оставите на Вечности вмятину величиной с Великий Каньон».

«— Из-за такой малости! Из-за бабочки! — закричал Экельс. Она упала на пол — изящное маленькое создание, способное нарушить равновесие, повалились маленькие костяшки домино... большие костяшки... огромные костяшки, соединенные цепью неисчислимых лет, составляющих Время».

Рэй Брэдбери. «И грянул гром»

Через пустырь летний водопровод тянули верхом, наспех бросая ржавые гнутые трубы на разнокалиберные столбики, оставшиеся от старой изгороди. Мрачный дядя Коля ловко орудовал плоскогубцами и проволокой, соединяя трубы кусками старого шланга. Дядя Коля никогда не увлекался математикой, но собранный им водопровод издалека имел форму вполне добротной синусоиды. Однако нас интересует не форма обобщенной трубы, а то, что прямо посередине пустыря в ней образовалась небольшая течь.

— Затянет, — уверил дядя Коля своего худосочного помощника.

Затянуло, да не совсем. Оставшаяся тоненькая струйка дала возможность родиться этому рассказу, напитав его межстрочное пространство своей живительной влагой. Кстати, если бы мне случилось выдумать

такой сюжет, я бы для правдоподобия обязательно сместила течь с середины. Но сдвигать что-то в реальных событиях — рискованное дело. Может нарушиться незримая, но интуитивно угадываемая гармония. Передали действительности горло — вот вам и литературный фальцет!

Лето выдалось засушливое. Поднявшаяся по весне трава пожухла и нехотя полегла, как ложится захворавший ребенок в больничную койку. Некогда зеленый пустырь теперь был окрашен в цвета полупустыни. Как будто какая-то злая сила вытянула жизненные соки из бесчисленных стеблей и листьев.

Пустырь... пустырь... А слышно: пусто... упырь... пусто... упырь...

И только под моросью водопровода пышной шапкой качалась растительность. Рваные края млеющего под солнцем оазиса наглядно показывали изумрудными стрелками, в какую сторону ветер чаще сносил капли воды, и по ним можно было объяснять школьникам, что такое роза ветров. Многочисленные насекомые утоляли здесь жажду, отдыхали во влажной тени и уносились прочь, подчиняясь неумолимому инстинкту. А вот жадно грызущая листья мохнатая жирная гусеница не хотела да и не могла никуда улететь. Она только ела, ела и ела... Время от времени неэластичная кожа уже не вмещала разбухшее тело, и тогда гусеница меняла ее на размер побольше, чтобы с еще большим рвением предаться обжорству. Казалось, этому не будет конца. Но конец бывает всему. Настал день, когда гусеница забыла про еду и стала подыскивать укромное местечко, где можно было надежно спрятаться. Она прикрепила нитью к приглянувшемуся стеблю и окружила себя коконом из шелка. Гусеницы не стало. Теперь это была очень хорошо замаскировавшаяся куколка, удивительным образом сливавшаяся с окружающей растительностью. Неискушенный глаз ни за что бы ее не обнаружил. Но еще более удивительным было то волшебство, которое творилось внутри нее. Под слоем старых шкур то, что было жирной, отталкивающей (и даже гадкой!) гусеницей, превращалось в восхитительный шедевр природы — в бабочку.

Бабочки, как правило, появляются на свет ранним утром, чтобы до полуденного зноя их крылья успели расправиться и окрепнуть. Но опытный биолог еще накануне вечером может предсказать это событие. Только где ж ему, биологу, было взяться на пустыре? Вместо него соответствующим вечером появилось другое лицо — мастер той самой бригады ремонтников, в которой работал дядя Коля. Он вышел из машины, посмотрел на веселую струйку, долго говорил сидящим в машине об экономии воды, о том, что капающий кран в сутки... в месяц... в год... И хотя у мастера было с собой все для того, чтобы устранить течь, он уехал, ограничившись крайне эмоциональной лекцией. Ох уж эта табель о царских и нецарских делах!

Когда солнце поднялось над верхушками деревьев, из куколки появилась бабочка. Зацепившись за опустевшую оболочку, она расправила мокрые, смятые крылья. Легкий ветерок заботливо обдувал новорожден-

ную фею лесов и полей. Вот крылья приняли нужную форму, теперь осталось подождать несколько часов, пока они просохнут, затвердеют и будут готовы к первому полету.

На утренней разрядке мастер начал было менторским тоном отчитывать дядю Колю за дырявый водопровод, но крайне невпечатлительный слесарь молча встал и пошел устранять огрехи, не дав проявиться красноречию начальства во всей красе. По дороге дядя Коля заглянул в магазин, обсудил с мужиками погоду, рыбалку, важные международные события и последние деревенские сплетни. Дорога к пустырю проходила мимо дома дяди Коли, и нет ничего удивительного в том, что он забежал выпить кружку чая со свежим вареньем. Любил дядя Коля свежее варенье! Зимнее было уже не то...

Когда флегматичный слесарь добрался до пустыря, солнце начинало припекать не на шутку. Оценив течь, дядя Коля занес ботинок над влажной зеленью, стараясь не наступить в лужицу, и тут из-под его ноги, сверкая яркими красками, выпорхнула бабочка! Совершая грациозный танец, она полетела в объятия мира, даря ему свою хрупкую красоту.

Чему-то улыбаясь, дядя Коля заделал течь и, насвистывая простенький мотивчик, пошел на обед.

Оазиса не стало.



Андрей ШЕВЦОВ

**«ГДЕ ЛЕПЕЧЕТ РЕБЕНОК
И КЛОХЧЕТ СТАРИК...»**

* * *

Я видел в глазах ингаирской татарки
Поэта, диван и бутылку «Кадарки».
О злая татарка! Косички, как змейки,
Ползли на лицо мне в той малосемейке...

Соседка Светлана входила неожиданно,
Как в лирику Анны Ахматовой — Жданов.
«Купи сапоги! — говорила Диане. —
О, кто это спит у тебя на диване?»

Мне снились лимоны, желтевшие ярко...
До этого — сладко вливалась «Кадарка»
И злая татарка с пружинистым телом
Скакала на мне, как умела — умело...

И доски скрипели в той малосемейке,
А снег заметал голубые скамейки,
И два фонаря нам светили устало,
А утром их света не стало, не стало.

* * *

Я сегодня вошел в то пространство стиха,
Где наивная речь и проста, и тиха:
Где кричит свое «клии» на кедре желна...
Где сырыми губами лопочет волна...
Где на крышу «грибка» приземляется снег...

Где ложится под землю и спит человек...
Где течет по листу, высыхая, роса...
Где жужжит и жужжит в сером шаре оса...
Где доверчивость до и плескание ля...
Где скрипит, но вращается наша Земля...
Где лепечет ребенок и клохчет старик...

Я сегодня, как царь, в эти сферы проник.

* * *

Летала панночка в гробу,
над берегом летала,
а я на глиняном горбу
рвал серьги краснотала;
потом сплавлялась по реке,
ловила щук на кашу,
а я, как палец на руке,
все прижимал Наташу;

втянула в «лодку» двух сомов,
забросив косы в воду,
а я, как уд среди умов,
молился богу Роду;
и ведьмы волосы, как смоль,
текли по водной глади,
а я золотую канифоль
разглядывал и гладил;

макушки сосен на ветру
плескались в небе синем,
ключица ныла: поутру
в избу войдет Есенин,
духмяный Хлебников в печи
зашелестит дровами,
и древнерусские мечи
завоют комарами;

и Вий с Вийоном спляшут в такт,
и будет брага литься...
Я выйду на Тобольский тракт,
чтоб с кистенем родиться.





* * *

Владиславу Корнилову

Был клевер белым между гряд,
стал клевер красным.
По-птичьи ветви говорят
под небом ясным.

Цветут в теплице огурцы,
навоза — жижа.
И облака плывут с Янцзы
в сады Парижа.

Как воск, стекает по лучам
тепло от солнца...
Не в дверь, а в душу по ночам
тоска скребется.

По леске спустится паук,
завоеет псина.
И жить тогда, мой милый друг,
невыносимо...

Был клевер красным у плетня,
стал клевер белым...
И все мерещится петля
с узлом умелым.

В такую ночь рванешь во двор,
сбивая стулья,
а там из желоба в упор
глядит горгулья.

* * *

Иду в микровельветовом пальто,
прокручивая шарик под ногами,
и Западно-Сибирское плато
скрипит под широченными шагами.

Встречаю девушку, веду ее в кино
забора вдоль, где надпись черным: «Вымпел»
И льется свет, как красное вино;
духи пьянят; шатаюсь, будто выпил.

Заходим в гипермаркет «Карусель»,
шучу про базис, но и там, повыше,
клюют попкорн... И мы, как караси,
вплываем в зал в ТЦ под самой крышей:

и вот — о том, что счастье за горой,
не за горой, быть может... И свободен,
как птица в небе, лишний тот герой,
жене и жизни, в общем, неугоден;

и вот учитель пьет уже с утра,
летит, как самолетик, на качелях,
географ глобус пропил, та-ра-ра,
засохла Кама в киноакварелях.



Сергей ПАПКОВ

ГОЛОС ОТЧАЯНИЯ

*Обращение сибирских писателей
к секретарю крайкома Р. И. Эйхе летом 1933 года*

Судьба провинциального писателя, поэта, художника и вообще творческого человека в сталинском государстве столь же своеобразна, как и сама история советской культуры. Это не только пример выживания в тяжелых материальных условиях, в условиях постоянной угрозы в момент потерять все, что создается годами творческого труда, но еще и поразительный опыт взаимоотношений с государством, испытание неотвратимого и удушающего диктата деспотической власти, проникающего в повседневные интересы художника и даже в его психологию. В глубинной России — особая атмосфера. В отличие от столиц здесь всегда было меньше политической и творческой свободы, гораздо беднее жизненные ресурсы и больше зависимости художника от воли и вкусов бюрократии. В подобных условиях творческая личность быстрее растрчивает свой природный потенциал и нередко становится частью общей системы сервильности, а ее язык — главный инструмент самовыражения — превращается в разновидность советского официоза.

В публикуемом ниже материале мы знакомим читателя с документом, раскрывающим малоизвестную сторону жизни сибирских писателей и поэтов в 1930-х годах, в эпоху борьбы за продуктовый паек и за «большие колхозные романы». Этот документ — письмо-обращение молодых литераторов к секретарю Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) Роберту Эйхе* с набором творческих предложений, жалоб и личных просьб.

Письмо было рождено характерными событиями переживаемой эпохи. Коллективизация деревни уничтожила производство продуктов питания в стране вместе с частью самих производителей, а колхозы еще не превратились в «фабрики зерна и мяса». Поэтому постоянный голод и материальная нужда стали нормой для большинства людей. Всеобщее бедствие, конечно, не обошло стороной и формирующийся слой советских писателей. Именно этой проблеме — личного физического выживания в условиях голода, а заодно и поддержке писательского труда — посвящено обращение литераторов к главному лицу в советской иерархии в Сибири.

* **Эйхе Роберт Индрикович** — советский партийный и государственный деятель. В 1925—1929 гг. — председатель Сибирского крайисполкома. В 1929—1937 гг. — 1-й секретарь Сибкрайкома (с 1930 г. — Запсибкрайкома) ВКП(б); одновременно — 1-й секретарь Новосибирского горкома ВКП(б) (с мая 1937 г.). С октября 1937 г. по апрель 1938 г. — нарком земледелия СССР. Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) (1935—1938). В апреле 1938 г. арестован по обвинению в антисоветской деятельности. В феврале 1940 г. расстрелян в Москве.



Молодые литераторы, адресовавшиеся к Эйхе, сегодня хорошо нам известны. Среди них — Глеб Пушкарёв, Кондратий Урманов, Владимир Вихлянецв, Георгий Вяткин, Афанасий Когтелов, Георгий Павлов, Илья Мухачёв, Василий Непомнящих и другие. Однако в 1933 г. у них еще нет широкого признания, они только вступают в литературную жизнь. Они полны творческих сил и широких замыслов, готовы, как сами подчеркивают, служить литературе, создавать смелые и глубокие произведения о новой советской жизни, меняющемся быте и новом поколении счастливых людей.

Но не все идет гладко. На пути молодой литературы и ее творцов встают непреодолимые трудности, о которых не знали и при царском режиме. Эти трудности вовсе не творческого характера; они порождены царящим советским хаосом и всеобщим дефицитом: нет ни бумаги, ни издателей, ни бытовых условий для повседневного труда, нет даже нормального пропитания. Все это куда-то внезапно исчезло, хотя еще несколько лет назад существовало, обеспечивая естественный рост советской литературы в провинции.

Очевидно, что положение литераторов достигло нестерпимой остроты, и они решили писать главному партначальнику. В подготовленном ими документе любопытным является все от начала до конца: и замысел, и содержание, и стилистическая форма. Основное, что обращает на себя внимание, — это полная, почти физическая зависимость творческих деятелей от тех, кто распоряжается благами. За скупыми, но выразительными строками письма отчетливо видна глубина проблемы: чтобы начать серьезную литературную работу, нужно добиться покровительства властей, нужно попасть в какой-нибудь счастливый список на получение прожиточного пайка, без которого ни романы, ни поэмы не пишутся.

Нетрудно увидеть также, что письмо готовилось без особого внимания к стилистическим деталям и, вероятно, в некоторой спешке. В нем нет ни яркого писательского слога, ни оригинальных оборотов. Здесь присутствует иной подход. Это — советская челобитная, составленная в критический момент, и потому форма здесь особого рода. Стилистика письма отчетливо напоминает партийно-бюрократический язык и лишь подчеркивает стремление авторов быть более понятными и близкими хозяину. Отсюда — необычный для пишущих людей суконный стиль и словесные обороты: «проработка основных задач», «поднятие квалификации», «развертывание творческой работы», «углубление тематики» и т. п. Кроме того, по какому-то особому правилу авторы пишут с прописной буквы слова «Крайком», «КрайИсполком», «Горком» и даже «Закрытый распределитель», придавая этим символам власти и сытости почти сакральный характер.

Рассчитывая на поддержку секретаря Эйхе, литераторы рассказывают ему о деталях своего труда и о том, что труд их может быть полезен партии для «перевоспитания душ». Но для этого требуется некоторый минимум: возможность издавать свою газету, печатать журналы и книги в Сибири, иметь бумагу (хотя бы самого низкого качества) и, наконец, решить материально-бытовые проблемы. Этой части послания уделяется очень серьезное внимание. Авторы скрупулезно разбирают факты своих потерь в ежедневном питании, отмечают различия в категориях пайков («литер А», «литер Б»), перечисляют номера отведенных для них столовых. Становится ясно, что их жизненная ситуация действительно настолько тяжела, что всякие творческие планы становятся трудноисполнимы.



На просьбы писателей и поэтов Эйхе ответил вполне в духе времени, очевидно так, как и должен был отреагировать полномочный большевистский хозяин. На первой странице обращения он написал: «Тов. Колотилову*. Нужно этот вопрос внести на бюро. Причем по основным вопросам необходимо вынести положительное решение. Р. Эйхе».

Текст письма-обращения воспроизводится без каких-либо правок и изменений, с сохранением особенностей стилистики и орфографии первоисточника.

* * *

Секретарю краевого комитета ВКП(б)
Тов. ЭЙХЕ

Дорогой Роберт Индрикович!

Зная, какое огромное значение придает коммунистическая партия вопросам художественной литературы и то, что Иосиф Виссарионович Сталин лично сам проводил ряд встреч с советскими писателями по проработке основных задач, стоящих перед советской художественной литературой, мы — писатели Зап. Сиб. Края решили обратиться к Вам, Роберт Индрикович, с настоящим письмом с тем, чтобы осветить ряд моментов, тормозящих развертывание творческой работы здесь, в Зап. Сиб. Крае.

Если до постановления ЦК от 23-го апреля 1932 г. о перестройке литературно-художественных организаций, здесь в Зап. Сиб. Крае существовали различные организации и группы (АПП, РОПК, ВССП, ЛОКАФ и т. д.), работавшие в нездоровой обстановке выдвигания одних и затирания других, в обстановке недоверия писателям-производственникам, не входившим в РАПП, то после постановления ЦК от 23-его апреля 1932 г. это положение резко изменилось. Стерлись искусственные перегородки и все писатели были объединены возле Оргкомитета ССП**.

Постановление ЦК от 23-го апреля 1932 г. сыграло огромную роль в части поднятия и оживления творческой работы, поднятия квалификации писателя, углубления тематики и политических установок произведения, а также в части возвращения писателей-производственников, отошедших, по независящим от них обстоятельствам, от литературы, к творческой работе.

В итоге одного только года мы видим ряд крупных полотен и произведений, сделанных писателями Зап. Сиб. Края. Писатель Коптелов А. закончил роман «Светлая кровь» о Туркисе и Казакстане и сейчас пишет новый роман «Великое кочевье», рисующий перестройку Ойротии. Г. Павлов закончил пьесу о Кузнецкстрое «Мартин и Жанес»; В. Вихляндцев — пьесу «Страна процветания», Г. Пушкарев заканчивает производственную пьесу «Ошибка инженера Шацкого» и для детского театра «Отряд партизана Ломова». Поэт Непом-

* Колотилев Александр Иванович — партийный работник. В 1931—1933 гг. — заведующий культ.-проп. отделом Запсибкрайкома ВКП(б). В июле 1937 г. арестован по обвинению в антисоветской деятельности. В октябре 1937 г. расстрелян в Новосибирске.

** Речь идет о радикальной перестройке творческих объединений в СССР в 1932 г. по инициативе и при участии Сталина, завершившейся ликвидацией конкурировавших и часто враждовавших друг с другом различных писательских организаций, а также объединением всех литераторов в единый Союз советских писателей (ССП). Эти меры, оформленные постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций», привели к тому, что писательское сообщество окончательно попало под партийно-государственный контроль. Оргкомитеты — временные руководящие органы в региональных организациях ССП.



нящих выпустил из печати два сборника стихов «Покорение тайги» (Новосибирск) и «Огнеупор» (Москва). Поэт Мухачёв печатает сборник своих стихов и т. д. Местным ОГИЗом* намечено в плане 14 названий сибирских писателей.

Если сравнить продукцию этого года с предыдущими годами, то мы видим: сухой, едва влачащий существование журнал «Сибирские Огни» задерживался сдачей в печать из-за отсутствия материала, сейчас «Сибирские Огни» обеспечены материалом более чем на $\frac{1}{2}$ года.

За последние годы не выпущено ни одной книги сибирских писателей, кроме 3—4 сборников случайных отрезков и кусков из произведений разных писателей Края. Теперь мы знаем, в портфеле ОГИЗа более 10 готовых к печати рукописей.

Все это говорит об огромнейшем значении постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля в деле развертывания художественной литературы.

Но, Роберт Индрикович, надо прямо сказать, что в качественном отношении мы добились еще малого, мы бьемся за качество, мы бьемся за глубину и выдержанность произведения. Нашу продукцию этого года трудно даже сравнивать с продукцией предыдущих лет. Продукция сегодня значительно выросла, далеко шагнула вперед в смысле техники, классовой выдержки, углубленности содержания и т. д.

И это понятно. Писатель, наблюдавший жизнь из окна, отошел в область предания. Писатель сейчас непосредственно работает на производстве, в колхозе, совхозе, он изучает жизнь, производство там и только после этого, после анализа всего виденного, собранного, изученного на литературе и материале, садится за работу. Писатель Ф. Бубеннов сам был инициатором и организатором колхоза «Сибирские Огни» в Троицком районе. Писатель Непомнящих месяц жил с бригадами в колхозном поле. Писатели Итин, Кудрявцев, Алексеев, Мухачёв непосредственно работали с колхозниками. Тоже и на производстве. Писатель Гиршликович ездил с выездной редакцией по колхозам. Наконец, группа писателей принимала активное участие по обслуживанию колхозного съезда, за что была премирована редакцией газеты «Советская Сибирь».

Организуются постоянные выезды, командировки, поездки с редакцией «Советской Сибири». Встречи с рабочими и колхозниками. Непосредственная живая связь, общение с производством, с живыми людьми. Вот это-то и дало писателю новый настоящий материал для крупных, продуманных произведений.

Но в работе сибирского писателя встречается ряд огромнейших трудностей, о которых мы считаем необходимым сказать здесь с определенной целью привлечь внимание к ним партии и общественности, с целью разрешения их в Краевом масштабе и частично затронуть чисто бытовые условия писателя, которые также мешают творческой работе писателя.

Оргкомитет объединяет до 10 крупных литературных групп в городах и рабочих поселках и более 40 литературных кружков в колхозах, совхозах, на производствах и т. д. Надо прямо сказать, что литкружков в Крае не 40, а сотни, но они еще не учтены, не учтены и Оргкомитетом. Мы узнаем, что в разных районных газетах выходят литстранички, что в различных районах работают литкружки и работают неплохо. Ряд литкружков сыграл значительную роль в посевной кампании, а сейчас готовятся к уборочной. Мы знаем, что с помощью литкружков ликвидировались прорывы на производстве (Сталинск) и т. д.

* ОГИЗ — Объединение государственных книжно-журнальных издательств, существовавшее с 1930 по 1949 г.

Этой массой, чрезвычайно важной, активной, нужной массой необходимо руководить, а мы не имеем своего органа, своей многотиражки — литгазеты. Омск выпустил 6 номеров литературной газеты, в Троицком районе выходит литгазета, в Уст-Чарышской пристани раз в пятидневку выходит литстраничка. В колхозных кружках выходят рукописные литгазеты. В их руководстве много неправильностей, искажений, но Зап. Сиб. Краевой Оргкомитет не имеет своей газеты, не может охватить их своим руководством. Отдел печати и Комитет по делам печати говорят, что на эту газету нет бумаги. Но обратимся к простому подсчету. При тираже в 2000 при выходе газеты 2 раза в месяц потребуется 24 стопы бумаги в год. Мы не претендуем на белую бумагу, мы согласны на водорослеву, мы пойдем на газетный срыв*. Но нельзя массовое литературное движение оставить без руководства. Те письма, которые мы рассылаем сейчас по 40 точкам — отнимут бумаги больше, чем литгазета.

Вот это первый вопрос, который мы считаем насущнейшим и необходимым поставить перед Вами, перед Крайкомом партии.

Второй вопрос об издательстве. Мы уже говорили о том, что в плане Краевого ОГИЗа поставлено 14 названий сибирских писателей. Заключены договора, 80 % рукописей сдано авторами в ОГИЗ, и вот сейчас, когда уже часть рукописей набрана, КрайГИЗ из Москвы предлагает снять совсем 8 названий, очевидно потому только, что в своих заголовках они не имеют слова «Сибирь». Роман Коптелова «Светлая кровь» снимают, а очерки начинающего писателя Пушина «Наступление на север» — оставляют, а ведь «Светлая кровь» — решение проблемы Турксиба.

В то же время, когда сибирские писатели шлют свои произведения в Москву, им возвращают их рукописи обратно с надписью: «у вас есть свое издательство».

Получается заколдованный круг: КрайОГИЗ (Москва) зачеркивает планы, ОГИЗ (Москва) возвращает рукописи для напечатания здесь. Из плана 20 названий детской книжки КрайГИЗ зачеркнул все 20, оставив Сибирь без детской книги. Правда, Зап. Сиб. Огиз продолжает печатать сибирских писателей вопреки запрещению центра, но ведь это не гарантия, что завтра КрайГИЗ не прекратит высылку бумаги, закроет счета ОГИЗа за то, что он не подчиняется требованиям КрайГИЗа. Такие случаи уже бывали.

В ближайшие месяцы Зап. Сиб. Край встанет перед вопросом составления издательского плана на 1934 г. и весьма возможно, что из плана 1934 г. всю художественную литературу КрайГИЗ вычеркнет бесповоротно.

Мы ставили неоднократно этот вопрос на Оргкомитете, мы пытались поставить его через газету «Советская Сибирь», мы написали по этому поводу обстоятельное письмо в центральный Оргкомитет, но почему-то это письмо Оргкомитетом не было отослано в Москву.

Вопрос об издании художественной литературы, особенно после постановления ЦК от 23 апреля 1932 г. в связи с развертыванием литературной работы на местах имеет чрезвычайное значение и мы считаем необходимым поставить его перед Вами. Мнение Краевого Комитета Партии о необходимости издания художественной литературы в Западной Сибири будет иметь большое значение для местного ОГИЗа и КрайОГИЗа в Москве.

Теперь несколько слов о полиграфии Зап. Сиб. Края. Типографии Края находятся в ужасном состоянии. Для издания доброкачественной продукции нет

* Газетный срыв — отходы типографского производства, макулатура.

совершенно никакого оборудования. Машины переходят в полную ветхость. Нужно немедленно ставить вопрос о переоборудовании типографий, о снабжении их новыми машинами.

Художественная литература в наших условиях не может иметь того технического оформления, как центральная.

Переходя к вопросу о дальнейшем развертывании советской художественной литературы в Крае, мы считаем нужным остановиться на следующих двух моментах.

В художественной литературе слишком мало отражен наш край. А между тем Зап. Сиб. Край, закончивший победоносно посевную кампанию, строящий (так в тексте. — С. П.) Кузбасс, Кузнецкстрой имеет все права на более значительное освещение его в литературе.

Если мы обратимся к Москве, то увидим, что сотни писателей в этом году разъехались по всему СССР с заданиями Наркоматов исследовать ту или другую область народного хозяйства СССР.

Но Западная Сибирь совершенно не изучается своими писателями, которые лучше и больше знают свой Край и которые с помощью соответствующих отделов и специалистов могли бы дать ценный материал.

Мы полагали бы, что Краевые организации должны привлечь сибирских писателей к написанию ряда серьезных книг о Зап. Сиб. Крае. Такая книга нужна и наши Краевые организации должны подумать о создании ее путем увязки ее с сибирскими писателями, путем выделения на это нужных средств и предоставления длительных командировок в колхозы, совхозы и предприятия.

И второй момент, не терпящий отлагательств — обслуживание писателями осенне-уборочной кампании.

Краевые организации должны учесть это обстоятельство с тем, чтобы советские писатели края командировались на уборочную за счет тех учреждений, где они работают (не считая командировку за отпуск), а писатели живущие исключительно на литературный труд — за счет КрайЗУ*.

Вот те основные моменты, которые по нашему мнению, помогут делу развертывания советской художественной литературы в Крае.

Разрешите теперь остановиться на ряде материально-бытовых моментов, которые не только не способствуют работе, но тормозят, а подчас и останавливают ее.

Не говоря уже о Москве, где писатели поставлены Правительственными установлениями в прекрасное положение: даны квартиры, специально писательский паек и т. д., в Северо-Кавказском и Уральском краях сделали много для писателя.

Этого нет пока у нас в Западно-Сибирском Крае.

Начнем с квартирных условий.

Писатель Урманов — автор книги «Гневные годы» и др. живет с женой в каморке в 4 кв. метра. Каждый год его пытаются выбросить из этой каморки судом, был случай, когда милиция выбросила все вещи т. Урманова и куда-то увезла их. Только вмешательство прокурора и «Советской Сибири» заставили милицию вернуть вещи обратно. Два года т. Урманов из-за квартирных условий не может закончить большого колхозного романа.

Такое же положение у писателя Ершова.

* КрайЗУ — краевое земельное управление.

Писатель Пушкарёв для работы над литературным произведением вынужден отсылать семью в деревню, иначе в его квартире нельзя работать.

Нечто подобное имеется и у других писателей.

Не один раз мы обращались в КрайИсполком, в Горсовет за разрешением жилищного вопроса, но он так и остается висящим в воздухе. Правда, писатели Кудрявцев и Итин получили квартиры в доме профсоюзов, Мухачёв комнату в доме строительства, Абрамович — в стандартном доме, но это явилось лишь частичным разрешением вопроса.

В Ростове н/Д, Москве, в Свердловске писатели обеспечены квартирами полностью.

Мы просили бы здесь хотя бы о частичном снабжении нас квартирами, а затем о включении нас в строящиеся (так в тексте. — С. П.) дома общежития, куда нас не принимают, так как мы не имеем юридического лица и средств на вложение их в строительство. Мы не отказываемся от выкупа квартиры, но денег на строительство дать не можем.

Второй очень большой бытовой вопрос — питания и снабжения предметами широкого потребления. Он имеет большую историю. В 1932 г., после встречи с Секретарем Крайкома ВКП(б), тов. Лаврентием*, 18 писателей активистов (из общего числа в 38 человек), было прикреплено к Закрытому распределителю КрайИсполкома Лит. Б и два — лит. А. Мы получали муку, масло сахар, крупы и т. д. В декабре 1932 г. этот распределитель перешел к Акорту** и положение писателей резко ухудшилось. Из 18 чел. в распределителе было оставлено только 14 и то по последней категории. Писателям прекратили выдачу муки, масла, сахара и др. прод., в то время как шоферам, бухгалтерам эти продукты выдаются в этом же распределителе. Мы пользуемся только рынком.

В 1932 г. мы получали 40 обедов в столовой № 8, 12 — в столовой № 7 и 12 — в столовой № 9. В этом году нам дали 31 обед в столовой № 8 и 8 обедов в стол. № 9. Большинство из нас не получают никаких обедов. В мае Акорт пытался вычеркнуть и последних из нас и только вмешательство пом. Секретаря КрайИсполкома заставило их отказаться от этой мысли.

В первых числах апреля Оргкомитет обратился в КрайИсполком с особым письмом, в котором просил принять делегацию писателей. День приема делегации переносился по меньшей мере раз 10. Делегация писателей была принята Зам. Председателя КрайИсполкома тов. Зайцевым*** только 2-го июня, где изложила все эти положения. Тов. Зайцев обещал «что-нибудь сделать» для улучшения снабжения писателей, но принять делегацию для ответа отказывается до сих пор. Прошло три месяца со дня письма в КрайИсполком и месяц после посещения тов. Зайцева, но все остается в прежнем положении.

* **Картвелишвили Лаврентий Иосифович** — 2-й секретарь Запсибкрайкома ВКП(б) в 1931—1933 гг. В 1933—1936 гг. — 1-й секретарь Дальневосточного крайкома ВКП(б), затем — секретарь Крымского обкома ВКП(б). В июле 1937 г. арестован по обвинению в антисоветской деятельности. Расстрелян.

** «Акорт» — Акционерное общество розничной торговли. Действовало в Сибири с 1926 по 1934 г. Ликвидировано в результате введения государственной монополии на торговлю в СССР.

*** **Зайцев Иван Георгиевич** — в 1927—1930 гг. — председатель Новосибирского окружного исполкома, в 1930—1934 гг. — 1-й зам. председателя Западно-Сибирского крайисполкома. Осенью 1934 г. был снят с должности за «полную бесхозяйственность, обман государства, разложение финансовой дисциплины в ХОЗО [хоз. отдел крайисполкома], исключен из ВКП(б) «за буржуазное перерождение и использование служебного положения в личных интересах». Позднее был восстановлен. В 1934—1936 гг. — зам. пред. Ойротского облисполкома. В августе 1938 г. арестован по обвинению в антисоветской деятельности. Военным трибуналом СибВО 26.04.1939 г. приговорен к ВМН. Расстрелян.

Мы все — члены профсоюза, но мы лишены многих прав членов профсоюза. Организации получают снабжение через коллективы, имеют право пошивки одежды, обуви и т. д., но мы не объединены в Местком и потому лишены права на эти привилегии. Горком писателей, существующий во всех Краевых центрах — здесь до сих пор не организован.

Все эти вопросы ставились неоднократно на заседаниях Оргкомитета, поручалось их разрешить нашим руководителям, но все оставалось и остается на бумаге.

Вот почему, Роберт Индрикович, сознавая, что мы должны были все эти вопросы поставить перед Оргкомитетом, мы все же решились обратиться с этим письмом к Вам.

Такое материально-бытовое положение ведет к нехорошей тенденции, к стремлению писателя уйти в другие края и области.

В середине мая Оргкомитет получил из Москвы письмо за подписью писателей Е. Пермитина, Н. Чертовой, М. Никитина и Л. Сейфуллиной, в котором говорилось о больном писателе П. Стрижкове. Письмо заканчивалось словами о том, что ряд писателей-сибиряков уехали в Москву раньше времени потому, что в Сибири они не имели ни квартир, ни снабжения. В Москве же они нашли и то и другое. Среди писателей нередко можно услышать:

— Надо уезжать из Сибири... хотя бы на Урал.

Мы считаем эти настроения нездоровыми. А. М. Горький правильно писал в письме В. Итину, что необходимо «воспитание областной культурной интеллигенции».

Наше творчество связано с социалистической Сибирью. Мы хотим, чтобы наши произведения «перевоспитывали души», о чем говорил Иосиф Виссарионович в беседе с советскими писателями в октябре 1932 г.

Пушкарёв, В. Вихлянцеv, Гудошников, Георгий Павлов,
Г. Куликов, И. Мухачёв, Кондр. Урманов, А. Коптелов,
Г. Вяткин, Ник. Титов, Вас. Непомнящих

Источник: ГАНО. Ф. П. 3. Оп. 13. Д. 109. Л. 239—244.



Екатерина КРАСИЛЬНИКОВА

РЕВОЛЮЦИЯ, ПАМЯТЬ, БЕСПАМЯТСТВО

*Годовщины Великого Октября в Западной Сибири
в 1920 — 1930-х гг.*

«И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди» — строки этой песни еще недавно были хорошо знакомы каждому советскому человеку, регулярно участвовавшему в торжествах, посвященных годовщинам Великой Октябрьской социалистической революции. С распадом Советского Союза прервалась традиция грандиозных массовых празднований с военными парадами, демонстрациями, митингами и пышными застольями. В 90-х гг. еще многие продолжали праздновать, но скорее неформально, в контексте общей ностальгии по советскому. Однако кухонные посиделки с хоровым исполнением революционных песен под баян не могли удовлетворить постсоветского человека, почти инстинктивно рвавшегося слиться с толпой в массовом шествии к сакральному месту, где ежегодно оживает память о чем-то еще больном и особенно важном для всех. Отмененный культ Октября требовал замены, которая на сегодняшний день, очевидно, состоялась. Традиции национальной политической культуры, связанные с формировавшимися долгими десятилетиями традициями культуры памяти, получили новое выражение в торжествах, посвященных Великой Победе. Политическая подоплека роста культа Победы — тема другого исследования, однако обращение к этому сюжету не случайно. Очевидно сходство сценариев главного советского и главного современного государственных праздников. Впрочем, и в дореволюционный период сценарии были аналогичными. Содержательная сторона торжеств, безусловно, меняется. Однако нельзя не заметить, что дореволюционные государственные праздники, которые не могли обойтись без религиозной составляющей и крестного хода, в чем-то сущностном похожи на атеистические годовщины Великого Октября с демонстрациями и массовыми посещениями братских могил, а празднование семидесятилетия Победы не достигло бы ожидаемого эффекта грандиозности и всенародности без массового участия россиян в шествиях бессмертных полков по всей стране.

В начале 1990-х С. А. Алексиевич написала в предисловии к «Зачарованной смертью»: «Теперь нам известно, что мы принадлежали к особому типу человеческой генерации, единожды возможному, неповторимому». Этот «неповторимый тип» сформировался в период между Гражданской и Великой Отечественной войнами. То был человек, живший интересами коллектива, веривший в социалистические идеалы и светлое будущее, обожествлявший Ленина и революцию, романтик, погруженный в героику, готовый отдать жизнь за Родину. Но «всесильная» ли советская власть сделала этого человека таким? Неужели вековые традиции дореволюционной русской культуры были перечеркнуты большевиками и забыты? Могли ли сами большевики отречься от памяти своего



поколения и бытовавших до него практик ее увековечивания? При всей сложности поставленных вопросов попытаемся дать возможный ответ, обратившись к важнейшему советскому месту памяти — к Великому Октябрю. При этом остановимся на том историческом этапе, когда закладывался стандарт Октябрьских торжеств, когда еще не состоялось победы над фашизмом, а общество лишь жило в ожидании новой войны.

Под воздействием каких факторов менялся главный политический праздник страны в межвоенное время? Какие идеологические «месседжи» советская власть адресовала обществу посредством празднования памятной даты? В чем именно советские торжества, посвященные памятным датам эпохальных событий, оставались похожими на «царские дни»? Действительно ли большевики стремились изменить характер торжеств, создать собственную праздничную традицию, заложить основы новой культуры памяти? Какие символы памяти, использовавшиеся советской властью в ходе праздничных торжеств, были собственно советскими, а не заимствованными у прошлых поколений? Наконец, как народ воспринимал октябрьские коммеморации? Таков круг вопросов, который будет рассмотрен в данной статье. И важным нам представляется обратить внимание именно на Сибирь и сибиряков. Еще до революции Н. М. Ядринцев убедительно доказал наличие «сибирского областного типа», обладавшего особыми ментальными чертами. Позже сибиряки пережили колчаковщину, именно в Сибири в 1930 г. началось массовое раскулачивание, здесь в годы индустриализации с нуля строились крупные промышленные объекты. Эти и другие факторы задавали особое отношение сибиряков к годовщинам Октября, празднования которых все очевиднее были нацелены на унификацию исторической памяти всего советского общества.

Источниками данного исследования послужила, прежде всего, делопроизводственная документация советских органов власти и партийных органов, ныне хранящаяся как в сибирских, так и в центральных архивах. О празднованиях 7 Ноября неизменно писали местные городские газеты, репортажи из которых также стали предметом нашего анализа. Сюжеты о годовщинах Великого Октября в Сибири содержат и мемуары, отражающие восприятие торжеств. Любой праздник имеет много функций и аспектов. Но у праздников, приуроченных к памятным датам, более всего выражена их коммеморативная составляющая, то есть связанная с сознательной деятельностью общества, направленной на увековечивание памяти о значимых событиях и персонах. Именно коммеморативный аспект Октябрьских торжеств является предметом нашего исследования.

До революции в круг государственных праздников входили как религиозные, так и светские торжества, для которых были характерны богослужения в присутствии административных властей, представителей городских учреждений, почетных гостей, учащихся и прихожан. В имперское время политические торжества вписывались в календарь ежегодных христианских праздников. В сценариях массовых дореволюционных политических торжеств обязательно присутствовали религиозные действия, отражавшие консервативные идеологические установки власти. Таким образом, политический праздник, по форме похожий на религиозный, должен был восприниматься подданными как священнодействие. Дореволюционным политическим праздникам была присуща и коммеморативная составляющая. Более того, большинство из них являлись памятными датами о неких важных для империи событиях (победа над Наполеоном, покорение Сибири и пр.).

Еще до Октябрьской революции в городах Российской империи сложился сценарный шаблон государственных праздников, который позже использовали

и большевики. В качестве примера грандиозного монархического праздника начала XX в. целесообразно указать 300-летие Дома Романовых (21 февраля 1913 г.). В Барнауле празднества начинались 20 февраля с панихиды по «в Бозе почившим Императорам всероссийским» в Дмитриевском храме. В Томске праздничную программу юбилейного дня открыла аналогичная панихида в здании городской думы «по усопшим Царствующего дома» и молебен о здравствующих. После молебна в Барнауле состоялся крестный ход и молебен на Полковой площади, после чего был исполнен гимн. Торжественная часть завершилась церемониальным маршем воинских частей. Вторая часть праздника, длившаяся до часа ночи на ярко иллюминированных площадях и центральных улицах города, была рассчитана на широкие слои населения, для которого устраивались гулянья, зрелища, показы кино на исторические темы и спектакли. Особое внимание уделялось работе с учащейся молодежью: в школах и гимназиях были организованы праздники с угощением и раздачей бесплатных брошюр по истории Дома Романовых.

Факторами изменения праздничных коммемораций стали в первую очередь собственно политические события, оцененные в дальнейшем носителями власти как «эпохальные»: Февральская революция и свержение самодержавия, Октябрьская революция, победы периода Гражданской войны, образование СССР. Еще в марте 1917 г. Временным правительством были отменены «царские дни». В 1918 г. большевики провели первые после Октябрьской революции советские торжества: День Великой Русской Революции (12 марта) и День рабочих (1 мая). Также и в период Гражданской войны большевики уделяли пристальное внимание политическим торжествам, которые рассматривались как важное средство пропаганды. Свои политические праздники были и у противоборствовавшей стороны.

В Западной Сибири новый большевистский праздничный календарь начал утверждаться сразу после освобождения от колчаковщины, в частности, уже в 1920 г. массово праздновали третью годовщину Октябрьской революции. Вообще же круг политических праздников, общих для страны, был определен в 1919 г. К таковым добавлялись и региональные торжества, к примеру годовщины освобождения населенных пунктов от белогвардейцев. К 1928 г. официально в календаре как праздники и дни отдыха были отмечены: 22 января — день памяти В. И. Ленина и Кровавого воскресенья; 12 марта — день низвержения самодержавия; 18 марта — день Парижской коммуны, 1 мая — день Интернационала; 1 июля — день Союза ССР; 7 ноября — день пролетарской революции. Каждый год политические торжества выражали новое актуальное идеологическое содержание, резко изменившееся в 1929 г. По мнению Е. М. Добренко, именно на этапе «Великого перелома» появилось новое концептуальное представление о политическом празднике, поскольку «революционно-романтический проект уравнительного коммунизма сменился традиционно-национальным, имперско-милитаристским, полицейским, иерархическим».

Второй важный фактор изменения праздничных коммемораций — утверждение атеизма в официальной культуре и антирелигиозная пропаганда. В начале 20-х гг. в официальном календаре традиционные религиозные праздники (Рождество, Пасха, Духов день, Благовещение, Преображение, Вознесение, Успение, Крещение) еще уживались с новыми политическими торжествами. В современной историографии это сосуществование интерпретируется неоднозначно. С одной стороны, оно расценивается как проявление осторожности советской власти, опасавшейся вызвать волну народного возмущения резкой отменой религиозных праздников на государственном уровне. С другой позиции



это объясняется намеренным сохранением религиозных праздников наравне с политическими для закрепления новых, еще непривычных народу праздников в рамках старого календаря, построенного на основе циклического (церковного) понимания времени.

С 1929 г. усилились гонения на церковь, с этого момента религиозные праздники больше не являлись выходными днями. Большевики старались искоренить их и из приватной жизни населения страны. Церковь стала восприниматься как конкурент на консервативном идеологическом поле, что и привело к окончательному запрету на массовые религиозные торжества. Между тем опыт организации религиозных и «царских» празднеств оказался востребованным как в 1920-х, так и в 1930-х гг., что проявилось и в подходах к репрезентации исторического прошлого в ходе массовых официальных торжеств.

Утверждение атеистического мировоззрения повлияло на характер содержания самих коммемораций. Бог более не мог рассматриваться как субъект истории, смерть понималась материалистически, ни царь, ни вождь мирового пролетариата не могли расцениваться как божи помазанники на троне. Однако советская власть не спешила резко повернуться спиной к религиозной традиции в сфере коммемораций, поскольку эта традиция прочно владела сознанием россиян. В итоге новые коммеморации могли лишь внешне отличаться от старых религиозных. В другом варианте согласования традиционных и новационных составляющих коммемораций возникали квазирелигиозные коммеморации — похожие на религиозные внешне, но атеистические в сущности.

Наконец, в качестве третьего фактора изменений в сфере праздничных коммемораций мы выделяем коренные изменения в интеллектуальной культуре, прежде всего в отечественной историографии. Под идеологическим воздействием в гуманитаристике утверждался новый исторический нарратив, основанный на марксистском мировоззрении, для которого была характерна вера в социально-экономический прогресс, признание народных масс в качестве субъекта истории, а революции в качестве ее движущей силы. Этот интеллектуальный фактор сыграл серьезную роль в формировании специфики культа Октябрьской революции, которая понималась как пролетарская (социалистическая), т. е. революция «высшего типа», в ходе которой осуществляется переход от капитализма к социализму и коммунизму.

Организатор и лидер советской исторической науки М. Н. Покровский в первой половине 1920-х гг. говорил, что в Октябрьской революции выразилась прежде всего классовая борьба за саму власть, а не за ее демократические изменения. Остановимся подробнее на характеристиках, которые давал революционному движению в России этот ученый — революционер, заместитель наркома просвещения РСФСР, руководивший в разные годы Коммунистической академией, Институтом истории АН СССР, Институтом красной профессуры, автор многотиражного марксистского учебного пособия «Русская история в самом сжатом очерке».

Специфику Октябрьской революции он характеризовал следующим образом: «Колоссальный размах борьбы определился прежде всего тем, что нигде ранее противоположности старого и нового не были так резки, расстояние между старым и новым не было так громадно, как это было у нас... У нас пришлось бить по самому древнему рыцарскому замку, какой только остался в Европе, из современных осадных орудий, в несколько часов способных вдребезги разнести каменную стену» (1925 г.). Об Октябрьской революции Покровский рассуждал в категориях сотворения, революция в его представлении не являлась стихийной, она была предварительно «написана» В. И. Лениным, которого

Покровский называл «завершителем русской революции вообще». Революция, по мнению Покровского, была удачной, поскольку опиралась на правильную марксистскую теорию. Михаил Николаевич писал: «Марксистская схема Октябрьской революции только одна — по этой схеме она осуществилась, по этой схеме будет написана ее история».

Наличие схемы предполагает также и знание будущего, которое можно уверенно прогнозировать. Однако Покровский далек от мистицизма предопределенности. В его понимании «светлое будущее» достижимо лишь при условии приложения правильных, теоретически обоснованных усилий народных масс. Именно это актуальное для 1920-х гг. представление задает отношение к годовщинам Октября как к контрольным датам проверки соответствия народных усилий марксистской схеме исторического развития общества. Сам Покровский называет революцию «меркой человеческих ожиданий» и дает пример оценки достижений классовой борьбы пролетариата от Первой русской революции до Октябрьской революции.

К концу 1930-х гг. складывается представление об Октябрьской революции, отраженное в «Кратком курсе истории ВКП(б)». Этот учебник излагал единственную «правильную» версию истории страны. Он выступал сильнейшим средством идеологического воспитания молодого поколения строителей социализма. Революция в «Кратком курсе» характеризуется как «социалистическая» и «пролетарская». Главный результат революции понимается как установление нового типа государства: социалистического и советского. Утверждается, что революция имела более чем эпохальное значение, что она «открыла новую эру в истории человечества — эру пролетарских революций». Так усиливается мысль, базирующаяся, несомненно, на христианском понимании времени, об Октябре как о начале нового мира, отрицающего старый мир с присущими ему ценностями господствовавших классов. Выходит, что Октябрь занимает место традиционного Рождества Христова в праздничном календаре и восприятии времени вообще.

Отчетливо заметно влияние экономических условий и контекстов повседневной жизни населения страны на «окторжества». В 1920 г. праздник устраивался в условиях войны, голода и дровяного кризиса. Разруха не позволяла устраивать пышных торжеств. ЦК РКП(б) постановил отказаться 7 ноября от демонстраций, шествий и парадов из-за материальных проблем. Сиббюро добилось разрешения лишь на торжества в сибирских городах и на их украшение. Однако в этом и в следующем годах не было демонстраций, празднества 7 ноября ограничивались митингами, торжественными собраниями в клубах, концертами и бесплатными революционными спектаклями.

В 1920 г. в Новониколаевске произошло хищение дорогостоящей красной материи, предназначенной для украшения города. В 1921 г. западносибирские города вовсе не получили средств на декорирование зданий и братских могил, организаторам праздника предложили воспользоваться прошлогодними украшениями. Зато уже в 1923 г. праздничное декорирование стало гораздо разнообразнее: появилась иллюминация, многочисленные лозунги, зелень и цветы. В 1924 г. Новониколаевск получил для декорирования 2000 м только красной материи. В 1926 г. в Томске братскую могилу к 7 ноября украсили флагами, зеленью, красной материей, желтым песком, красными звездами и цветными лампочками.

В 1930-х гг. декорирование улиц и зданий стало более пышным. Власть не жалела средств на внешние эффекты. Однако очевидна тенденция к постепенному исчезновению из декора элементов коммеморативного характера. В 1934 г. украшение Новосибирска предполагало размещение фигуры В. И. Ле-



нина на крыше здания крайкома, а на фасаде — портретов членов Политбюро ЦК ВКП(б). В центре этой композиции предсказуемо красовался огромный портрет И. В. Сталина. Праздничный декор 1936—1937 гг., готовившийся клубами Омска, отражал новую актуальную тему сталинской Конституции.

В городах Западной Сибири на примере октябрьских торжеств четко прослеживается советская политика памяти. Говоря о социальном и политическом значении праздника вообще, известный французский историк М. Озуф поясняет: «Праздники организуют время и образуют костяк повседневной жизни... Они мощным усилием скрепляют людское сообщество... Сотворение праздника — точки, где сливаются желание и знание, где воспитание масс подчиняется радости — соединяет политику с психологией, эстетику с моралью, пропаганду с религией». По словам томского политолога А. И. Щербинина, «календарь находится на границе истории и памяти, превращая первую во вторую, задавая траекторию восприятия истории (и политики как истории творимой)». Праздник буквально «впечатывает» событие в память. Поэтому так велика его роль в деле формирования и поддержания коллективной памяти о важных, с точки зрения власти, политических событиях.

Политический смысл октябрьских торжеств менялся со временем. В 1920 г., когда Гражданская война еще продолжалась, большевикам представлялось важным «объяснить, кто такие коммунисты», чем они отличаются от меньшевиков и эсеров, доказать, что большевики «не грабители и не разбойники». Для этого использовались рассказы о недавнем прошлом. От пропагандистов требовалось перечисление заслуг и достижений большевиков за последние три года: «все богатства, созданные трудящимися, переданы в руки трудового народа», «социалистическому строительству дан огромный толчок», «заложен фундамент всеобщего начального образования» и т. д. Особенную актуальность пропаганда обретала в связи с тем, что октябрьские торжества по времени совпадали с началом продразверсток, вызывавших контрреволюционные настроения в хлебных селах. Насилие над крестьянами вызывало отклик и в городах. Ноябрьские сводки о политических настроениях фиксировали, в частности, недовольство солдат, отбывавших службу в Омске, тем, что «дома у отцов, матерей и жен отбирают хлеб, сено, коров и лошадей». Поэтому в начале 1920-х гг. в рамках октябрьских торжеств большевикам было необходимо оправдаться, смягчить социально-политические противоречия и волнения, попытаться сформировать в обществе представление о своих товарищах, павших в боях, как о героях, широко растиражировать идею высочайшей цены, заплаченной большевиками за победу над врагами.

К каждой памятной дате октябрьская комиссия формулировала новые «ударные точки пропаганды», связанные с актуальными политическими задачами. К примеру, в 1920 г. в качестве таких точек были заявлены тезисы о помощи фронту и о подъеме производительности труда. В 1921 г. акцент делался на необходимости перехода от задач обороны к задачам хозяйственного строительства. В 1923 г. важнейшими были выбраны темы «Роль РКП в Октябре» и «Октябрь как предпосылка к созданию СССР» и т. д.

Для пропаганды в эти дни обязательно использовались исторические рассказы, позволявшие продемонстрировать прогресс, показать движение от старого к новому и лучшему. В Сибири начала 1920-х гг. существовали особые идеологические задачи. После ареста А. В. Колчака в нашем регионе началась активная мемориализация жертв и героев военно-революционных событий, а также важнейших сражений Красной армии с армией Колчака. Показательно, что в Сибири до 1922 г. октябрьские торжества совмещали с празднованием

победы над колчаковщиной. Октябрьские праздники были одновременно и поминальными днями, когда восхваляли погибших героев и проклинали врагов. Аналогично в 1924 г. в ходе «окторжеств» поминали В. И. Ленина, особенно акцентируя его роль в революции. Как и в случае с героями Гражданской войны, это поминовение имело мобилизационное значение: 7 Ноября стало поводом не столько для выражения скорби о гибели вождя, сколько для того, чтобы во всеуслышание повторить, что дело его живо и никогда не умрет.

После прихода к власти И. В. Сталина утратили актуальность идеи героической жертвенности революционного поколения. С середины 1920-х гг. основная идеологическая задача торжеств состояла уже не в поминовении жертв революции, а в формировании у населения убеждения в прогрессивном развитии страны. Отныне сравнение жизни общества «при царе» и «на современном этапе» становится доминантной темой торжеств. Важно подчеркнуть, что во второй половине 1920-х гг. Октябрьская революция именовалась еще «Октябрьским переворотом», ей не приписывалось эпохального значения. Торжества были ориентированы лишь на популяризацию идеи «Октябрьского переворота как первого этапа диктатуры пролетариата в борьбе пролетариата всех стран».

К началу 1930-х гг. пропаганда ставила перед населением новую боевую задачу борьбы за советскую индустрию. Коммеморативная составляющая октябрьских торжеств несколько ослабла по сравнению с предыдущим десятилетием. Теперь праздник был четко ориентирован на современность и на будущие успехи. Уже в 1930 г. главное содержание октябрьских торжеств определялось как пропаганда пятилетки, культурной революции, решений XVI партсъезда. Более очевидной стала и тенденция подавления сибирского нарратива революции и Гражданской войны общесоветским нарративом.

Двадцатилетний юбилей Октябрьской революции (1937 г.) детально исследован американским историком К. Петроне, которая показала, что праздничная риторика базировалась на идее разрыва с дореволюционным прошлым, которое изображалось — в отличие от «радостного» настоящего — в самых мрачных красках. Наше исследование показывает, что это противопоставление прошлого и настоящего использовалось и десятью годами ранее. Однако эта «радость» по поводу социальных достижений в СССР противоречила нерешенности материальных проблем населения. Американский историк подчеркивает неудовлетворенность значительной части населения лживой риторикой и тревогу организаторов торжеств, опасавшихся возможных саботажей в праздничные дни, вызванных недовольством пропагандой. Поиск средств убеждения населения в благополучии современности предполагал разработку новых способов «проработки прошлого». В этой связи К. Петроне упоминает о произошедшем именно к двадцатилетию Октября возрождении позитивной исторической памяти о некоторых героях дореволюционной истории.

Ею замечено, что в 1937 г. власть использовала фигуры памяти А. С. Пушкина и Петра Великого для пропаганды патриотизма, «продления» русской истории, служившего фактором легитимации власти большевиков, которым было якобы «чуждо варварское уничтожение истинно ценного культурно-исторического наследия». Положительный образ Петра I был нужен также для оправдания сильной, бескомпромиссной власти и трудностей, которые переживало общество, усиленно занятое борьбой за повышение боеспособности армии и индустриализацией. Юбилейные торжества также ярко отразили новое видение роли И. В. Сталина в Октябрьской революции. После осуждения в 1936—1937 гг. Л. Б. Каменева, Г. Е. Зиновьева, Л. Д. Троцкого, А. И. Рыкова и Г. Л. Пятакова пропагандисты повсеместно заявляли, что эти люди «срывали



революцию», а единственным честным соратником Ленина был только Сталин. Преувеличивался также его вклад в победу в Гражданской войне. По словам немецкого историка Н. Тумаркин, почитание Ленина в середине 1930-х гг. происходило уже в контексте почитания Сталина. Гиперболизация роли Сталина в военно-революционных событиях наиболее ярко отразилась в художественном фильме А. Я. Каплера «Ленин в Октябре» (1937 г.), к которому мы еще вернемся.

Праздник давал государству возможность использовать множество различных средств реализации политики памяти. Массовые торжества включали в себя разнообразные сценарные элементы: от официальных торжественных заседаний правительства до неформальных народных гуляний; нужные большевикам исторические рассказы звучали с трибун на митингах, излагались в камерной обстановке вечеров воспоминаний, публиковались в газетах и журналах, обретали формы художественных образов в театре и кино, зашифровывались в политическую символику, становившуюся с годами привычной и неотъемлемой от торжеств.

Власть вела постоянную работу над тем, чтобы расширить перечень форм реализации политики памяти. В частности, уже в середине 1920-х гг. партийное руководство признало «шаблонность» форм октябрьских торжеств, повторявшихся из года в год. К десятилетнему юбилею революции было решено разнообразить содержание торжественных выступлений и других мероприятий сведениями о революционных событиях на местах, а также актуализировать во время праздника значение революционных памятников. Это решение было подготовлено активным сбором в 1925—1926 гг. сведений о конспиративных квартирах революционеров, местах маевки и пр. Также с середины 1920-х гг. уже 6 ноября по клубам начинали зачитывать доклады об успехах экономического развития страны за последние десять лет. Для лучшего восприятия этих идей населением на улицах развешивали изображения графиков и диаграмм, отражавших экономический рост. Новые идеологические доминанты также становились основой свежих лозунгов, театрализованных представлений, карнавалов и шествий и пр.

Отдельно стоит остановиться на значении игрового кино в реализации политики памяти. Рассмотрим фильм «Чапаев» (1934 г.), имевший огромное идеологическое значение. Его авторы Г. Н. и С. Н. Васильевы создали универсальный образ героя Гражданской войны, который должен был служить примером для подражания. «Чапаев» был снят в соответствии с уже утвердившимся соцреалистическим каноном. Идеологическое значение этого фильма подробно охарактеризовано Дж. Г. Хартзоком. Согласно его выводам, эта картина несла идею руководящей роли партии в годы Гражданской войны. В образе Чапаева американский историк видит сходство с образами богатырей из русских былин, привлекательные черты романтики и монументальной героики. Однако, по замыслу сценаристов, Чапаев не мог победить без помощи партии, поэтому фильм внушал непоколебимую верность делу большевиков. Образ Чапаева стимулировал желание зрителей подражать герою, готовому жить ради борьбы за социализм и погибнуть в этой борьбе. Фильм служил средством объединения разрозненной аудитории, ее мобилизации на свершения невиданных до сих пор масштабов.

В этом фильме Гражданская война была представлена не абстрактно, а эмоционально и очень конкретно. Зрители воспринимали картину с воодушевлением и восторгом. Прежде всего это касалось молодежи, не знавшей реалий Гражданской войны. Фильм развивал их «классовое сознание». Особенное впечатление производила картина на детей, которые не могли разделить реальность и вымысел, воспринимая на веру события, показанные в кино. Этот

фильм был рекомендован для школы как учебное пособие. В итоге дети восторгались героями и искренне ненавидели врага, усваивая урок самопожертвования.

Однако Дж. Хартзок заметил и то, что восприятие фильма даже детской аудиторией не было однозначным. Он описал случай переноса впечатлений от «Чапаева» на улицу, где подростки привыкли проводить время. Играя в «Чапаева», дети одного из провинциальных городов устроили жестокую массовую драку, которая длилась с десяти утра до пяти вечера. Игра переросла в хулиганскую баталию с битьем окон соседних домов и избиванием прохожих. На такое восприятие хорошо подготовленной коммеморации власть явно не рассчитывала. К описанию этой драки можно добавить известные всем анекдоты о Василии Ивановиче и настольную игру «Чапаев», также свидетельствующие о реальном «обмирщении» в народной среде образов героического прошлого. По всей видимости, зритель все-таки чувствовал ложный пафос в репрезентации прошлого. Случай с этим фильмом — лишь один из примеров «неверного» восприятия обществом политики памяти, выраженной в коммеморациях. Далее мы еще вернемся и к «Чапаеву», и к реакции общества на коммеморативную составляющую октябрьских торжеств. Теперь же попытаемся ответить на вопрос, в какой мере «окторжества» были собственно советскими по формам коммемораций и их содержанию. Отрицалась ли в 1920—1930-х гг. старая праздничная традиция «эпохи царизма» или опыт организации имперских праздников оставался востребованным и в советское время?

Прежде всего стоит отметить, что практически все государственные праздники в начале 1920-х гг. имели заметную коммеморативную составляющую, сохраняя в сценарии элементы поминального торжества. К примеру, изначально обращение к памяти о «нашем героическом прошлом» происходило даже 1 мая, когда демонстранты обязательно должны были «поклониться могилам героев». Со временем организация первомайских торжеств утратила этот коммеморативный элемент, ее доминантой стала идея демонстрации процветания и изобилия, разработанная в сценарном отношении еще в период Французской буржуазной революции.

В 1920-х гг. сценарии октябрьских торжеств сохранили преемственность с имперским периодом. Они также предполагали военный парад, демонстрация заменила крестный ход, а митинг — молебен. Однако стоит подчеркнуть, что дореволюционные демонстрации имели, как правило, протестный характер, в то время как после Гражданской войны демонстрация отражала иной смысл — торжество власти пролетариата. В соответствии с традицией проводились торжественные заседания администрации города и различных учреждений, устраивались бесплатные зрелища. Каждый структурный элемент праздника и до, и после революции актуализировал коллективную память, укреплял идентичность социально-политических групп, расширял их границы.

В начале 1920-х гг. официальный нарратив Октябрьской революции и Гражданской войны только складывался, перед партийными отделами агитации и пропаганды стояла непростая задача формирования и трансляции в массы советской версии революционных событий в столице и на местах. Но революционные события еще жили в социальной памяти различных групп городского населения, имевших на эти события собственный взгляд. Представители власти должны были обобщить, унифицировать и дополнить живую память горожан элементами, которых не хватало для построения логичной и относительно полной картины революции в данном регионе. Грубое навязывание обществу придуманной версии революции могло обернуться ее неприятием. Поэтому власть не только прямолинейно излагала в печати и на массовых собраниях собственное



видение революции, но и активно стремилась использовать воспоминания очевидцев событий 1917 г. в формировании официального «октябрьского» нарратива, который должен был стать основой коллективной памяти сибиряков.

Следуя дореволюционному опыту, предполагавшему сценарный элемент поминовения усопших героев и чествования живых, предварявший собственно праздник, 6 ноября в городских клубах, на предприятиях, при советских учреждениях и учреждениях культуры устраивались массовые вечера воспоминаний. Эта практика повсеместно вводилась с 1921 г. Подобные мероприятия обязательно проходили во всех губернских и уездных городах Сибири. Их организация опиралась также на традиционную практику дореволюционных праздничных тематических народных чтений в гимназиях, библиотеках и клубах. Кроме того, до революции существовала традиция записи и широкого распространения с идеологическими целями воспоминаний участников и героев войн. «Октябрьские» вечера воспоминаний являются также и отголоском дореволюционной практики поминовения усопших императоров в преддверии праздничных событий в жизни семьи Романовых. К примеру, следуя традиции, в канун празднования дня совершеннолетия цесаревича Николая Александровича томичи подготовили не только подарки царской семье в виде икон в серебряных и вызолоченных ризах, но и венок на могилу Александра II, «царя-мученика, даровавшего городам самоуправление». Политическая роль подобных традиционных «поминальных» практик, приуроченных к торжествам, была усилена в 1920-х гг.

Официально цель вечеров воспоминаний состояла в изложении «правдивой» версии революционных событий их очевидцами для фиксации истории революции «по горячим следам». Докладчики, представлявшие свои воспоминания на этих вечерах, видели себя свидетелями и участниками величайших событий мировой истории, обладателями практически сакрального знания. В начале 1920-х гг. рассказчики на некоторых вечерах могли еще выступать относительно свободно, без особой подготовки. Их состав не всегда утверждался заранее. Соответственно, и результат таких выступлений мог не устроить слушателей как в смысле содержания, так и в смысле манеры подачи. Но на этом этапе организаторы мероприятия еще признавали, что неудачное выступление «нельзя ставить кому-то в вину».

В дальнейшем же с виду уникальные и сугубо индивидуальные воспоминания в действительности предварительно тщательно обрабатывались организаторами октябрьских торжеств. Видимо, докладчики не сомневались в правомерности такого метода «проработки памяти» в деталях, ведь в целом они доверяли представителям власти и опытным организаторам выступлений, «помогавшим» им построить речь. Случалось, что выступать хотели одновременно многие. В этом случае рекомендовалось организовать два вечера воспоминаний (4 и 6 ноября) — чтобы не затягивать программу, не утомлять собравшихся, но и не подавлять энтузиазм потенциальных докладчиков. Транслируясь в массы, рассказы очевидцев событий расширяли коллективную память собравшихся сюжетами, полезными для легитимации власти большевиков, для укрепления революционной идентичности и привлечения в партию новых членов.

Важно то, что уже в начале 1920-х гг. на вечерах, посвященных революционным воспоминаниям, звучали также и рассказы о «первой советской власти» в Сибири, о колчаковщине и ее свержении. Обсуждение этих тем на «октябрьских» вечерах было необходимо для формирования массовых унифицированных представлений о результатах революции, ее значении и цене победы. Темы и программы планировались заранее. Выступая, мемуаристы использовали выведе-

ренные пропагандистами доклады. Иногда организаторы вечера заранее решали не допускать того, чтобы участники этих мероприятий начинали делиться воспоминаниями (предварительно не согласованными). Несомненно, в кулуарах революционеры и подпольщики свободно говорили о пережитом. Но такие беседы не становились достоянием массового слушателя, который приобщался к революционному опыту героев через публично озвученные, но не совсем достоверные воспоминания. Обычно организаторы вечеров сами выступали с краткими обобщающими докладами о причинах революции, ее завоеваниях, всемирном значении и т. п. К примеру, в 1921 г. в задачи агитаторов по всей стране входило подведение итогов революции и объяснение значения НЭПа. Выводы и разъяснения организаторов должны были формировать у масс вполне определенные оценки и заполнять лакуны в коллективной памяти, которая без «проработки» неизбежно остается противоречивой, фрагментарной и нелогичной.

В начале 1920-х гг., когда «окторжества» еще не были формализованы, вечера воспоминаний проходили в обстановке, накаленной эмоциями: здесь было место и восхищению, и гневу, и слезам. Вечера обычно завершались концертами с исполнением революционных песен, декламацией революционной прозы и стихов, демонстрацией живых картин («отдельные моменты жизни Красной армии, капитала и труда» и т. п.). Изначально подчеркивалось, что художественная часть вечеров должна иметь строго идеологический характер. В конце вечера эмоциональный накал достигал апогея, в восприятии участников происходило смешение личных воспоминаний с воспоминаниями товарищей и официальной трактовкой событий, художественного и документального, вымышленного и пережитого. Беспартийных участников вечеров изначально привлекал именно этот момент. По всей видимости, многими из собравшихся, включая самого рассказчика, воспоминания воспринимались на веру, а значит, без особых препятствий соединялись с бытовавшей живой коллективной памятью, в идеале вытесняя отдельные ее элементы, идущие вразрез с официальным нарративом.

Признавая большое значение вечеров воспоминаний с точки зрения агитации и пропаганды, партия требовала максимального привлечения к этим мероприятиям «широких беспартийных масс». Поэтому, к примеру, рабочие приглашались на вечера с женами. Уже в начале 1920-х гг. на одном таком клубном мероприятии могло собраться до 1500 человек. Позитивные эмоции вызывали и чествования героев труда, которым могли делать памятные подарки.

Заметно, что в конце 1920-х гг. выступления очевидцев революционных событий обрели «репертурную» предсказуемость, а общий тон всем рассказам задавал какой-нибудь официальный доклад на актуальную политическую тему. Слушатели начинали скучать. Уже в преддверии десятилетия Октября томские организаторы вечеров были вынуждены решать проблему преодоления шаблонности выступлений. Выход из ситуации видели тогда в усилении акцента на событиях местной революционной истории и на местных достижениях.

В 1920-х гг. общие собрания по предприятиям могли устраиваться уже 4 или 5 ноября. Их цель состояла в подготовке рабочих к празднику, в разъяснении им значения октябрьских торжеств. Нами замечен также омский случай (1925 г.) начала предварительных мероприятий уже 1 ноября. В 1930-х гг. вечера воспоминаний и публичные читки трудов В. И. Ленина и И. В. Сталина о революции в ходе «летучек» начинались за две-три недели до самого праздника. Чтение трудов вождей, отрывками публиковавшихся в газетах, проходило под лозунгом изучения истории революции. Понятно, что новых сведений о революционном движении эти труды не добавляли. Хотя есть примеры вечеров воспоминаний,



посвященных «поколению, воспитанному революцией», в целом все меньше внимания уделялось живым рассказам об Октябре и Гражданской войне. К тематике воспоминаний добавились успехи промышленного строительства. Эта тема тенденциозно вытесняла собственно революционную проблематику.

Однако в октябрьские дни 1930-х гг. Истпарт и отдельные группы Сибирского землячества, куда входили старые большевики, устраивали и более серьезные вечера воспоминаний. Их цель состояла в сборе материала о революции и Гражданской войне. Формально приуроченные к революционным датам, эти мероприятия фактически посвящались периоду с 1917 до 1922 г. Участниками подобных вечеров были старые подпольщики. Они стремились к установлению точности в спорных моментах и предпринимали попытки теоретизации данных, составлявших основу коллективной памяти их группы (предлагали, к примеру, периодизацию истории подпольной работы в Сибири). Складывается впечатление, что участники этих вечеров продолжали и в 1930-х гг. жить Гражданской войной. Их доклады и диалоги проходили в атмосфере погружения в прошлое.

Столь характерное для 1930-х гг. прославление И. В. Сталина и привязка революционного героизма к успехам послевоенного развития страны здесь не акцентировались. Можно даже сказать, что к современности эти люди относились слегка отстраненно, по крайней мере совместно предаваясь воспоминаниям. Они считали свои воспоминания большой ценностью, сетовали на скорое забвение героев и жертв Гражданской войны, старались под запись говорить о малоизвестных соратниках, понимая, что в противном случае об этих людях, отдавших свои жизни за революционные идеалы, уже больше никто не вспомнит. Однако уже на этих вечерах звучала мысль о том, что из-за высокой степени конспирации большевиков и значительных людских потерь более или менее точная реконструкция истории подпольной борьбы вообще невозможна. Содержание воспоминаний охватывало известные в целом сюжеты, однако новизну этим рассказам придавало внимание к деталям и выражение личных переживаний докладчиков.

При изучении источников складывается такое впечатление: хотя перед Истпартами 1930-х гг. и стояла задача работы с воспоминаниями подпольщиков, их рассказы особенно не тиражировались. Заслуги сибирского подполья были официально признаны властью как один из важнейших факторов победы большевиков в Гражданской войне. Но подпольщики, уже спокойно почивавшие на лаврах, жили скорее своим героическим и драматичным прошлым, а не будущим, что не соответствовало идеологическому духу времени. Поэтому можно полагать, что вечера воспоминаний подпольщиков нужны были прежде всего им самим. Встречи и беседы укрепляли и морально поддерживали их сообщество.

В 1925 г. омичи попробовали разнообразить и усилить в художественном отношении праздничную программу массовой уличной инсценировкой, предшествовавшей демонстрации. Сама по себе идея была не нова. К примеру, еще в ходе массового празднования 300-летия Томска (1904 г.) сразу на нескольких площадках устраивались народные чтения и спектакли, цель которых определялась так: «демонстрировать туманные картины из жизни Томска и Сибири в целом». С. Ю. Малышева отмечает, что в 1918—1920 гг. масштабные многочасовые инсценировки на улицах вообще были характерны для празднеств в столичных городах. В начале 1920-х гг. мода на них докатилась и до провинции. Считалось, что инсценировки являются очень действенным средством политической социализации молодежи и укрепления революционной идентичности старшего поколения. Как и выверенные воспоминания, инсценировки, предполагавшие участие зрителей, служили вытеснению и корректировке реальных воспоминаний и их подмене «правильным» видением военно-революционных событий.



Шестого ноября 1925 г. в Омске было разыграно взятие Зимнего дворца, роль которого «исполнил» ярко подсвеченный «Дом молодой гвардии». Всего в этой игре было задействовано несколько тысяч человек, изображавших с одной стороны большевиков, с другой стороны — защищавших Зимний юнкеров и женский батальон. Предполагалось, что «старики вспомнят славные дни, а молодежь будет наглядно учиться примеру старших товарищей». Печать так описала действо: «Неожиданно взвились, прорезая ярким блеском ночную тьму, синие ракеты. Прогремел оружейный выстрел. В западной части города загрохотали пушки. Послышалась частая ружейная стрельба, показались грузовики с рабочими и красноармейцами, за ними боевые цепи. Послышалась стрельба из орудий, ружей, револьверов. Началось наступление на двери с четырех сторон. С крыши доносилась отчаянная стрельба теряющих почву под ногами юнкеров...» Журналист отмечал живое участие масс, которые, увлекшись действием, прорвали заградительную цепь и «хлынули волной» к участникам инсценировки, «слившись с ними в едином порыве». Таковым было официальное видение этого элемента праздничной коммеморации. Данная инсценировка не являлась единственной в Западной Сибири. К примеру, в 1927 г. в Новосибирске также была устроена массовая инсценировка в нескольких сценах, посвященная событиям революции.

Массовые праздничные торжества 7 ноября во всех городах обязательно открывались военным парадом. Парад был демонстрацией военного потенциала, а на этапе окончания Гражданской войны наглядно показывал обывателям, кто реально держит власть в городе. По крайней мере, по масштабам эти парады не должны были уступать тем, что устраивались в период колчаковщины, когда, к примеру, в Омске 9 декабря 1918 г. по центральной площади промаршировало 25—30 тыс. военных. В 1920 г. октябрьская комиссия, работавшая в Москве, так объясняла значение парада: «Пехота, конница, артиллерия — все эти части могут выступить на торжествах как олицетворение силы и мощи республики, как авангардные отряды мировой красной армии». Пристальное внимание уделялось обязательному использованию советской символики. Место проведения военных парадов осталось прежним. В Томске военные, как и до революции, маршировали по Новособорной площади (площади Революции). Со временем парады становились все зрелищнее. В 1935 г. в Новосибирске в военном параде впервые принимала участие авиация. В 1930-х гг. печать акцентировала внимание на молодости и силе сибирских бойцов, а не на связи поколений — молодежи и бойцов времен Гражданской войны.

Как мы уже отметили, организация демонстраций базировалась на опыте крестных ходов. Люди, участвовавшие в дореволюционных крестных ходах, стремились к храму как к конечной цели. Томский храм Вознесения Христова, где собрались участники крестного хода 1702 г., находился на кладбище, соответственно, обязательным был и поклон предкам. Дореволюционный крестный ход с иконами воспринимался как средство морального очищения и духовного укрепления. Он имел также и мистическое охранительное значение. «Во дни бед народных» участники крестных ходов испрашивали здоровья и мира. Крестные ходы, приуроченные к государственным праздникам, служили также выражению верноподданнических чувств к государю. По большому счету смысл советской демонстрации также состоял в декларации идей и символов, но не религиозных, а политических, служивших укреплению политической солидарности большевиков и веры в революционные идеалы в народной среде.

Демонстрация начала 1920-х гг., в которой могло участвовать приблизительно 2500 человек, стремилась к новым сакральным местам — к братским

могилам жертв Гражданской войны, имевшимся в каждом городе. Там устраивался митинг с целью поминовения героев и воодушевления их примером уцелевших в огне войны борцов за идеалы революции. Вообще, посещение могил предков в праздник коренится в недрах языческой культуры. Думается, что для поколения, воспитанного в религиозной среде, эти посещения братских могил в праздничные дни по инерции продолжали ассоциироваться с привычным поминовением предков, которые с точки зрения традиционного мировоззрения оберегают живых, если те выражают почтительное отношение к ним. В преддверии празднования третьей годовщины Октября Сибревком акцентировал внимание на следующем: «Память павших борцов должна быть отмечена должным образом. Если в городе есть могилы павших борцов, им должно быть уделено наибольшее внимание и организация шествия должна обязательно не миновать их». Сравнение сценариев октябрьских торжеств, составлявшихся для Москвы и для городов Западной Сибири, позволяет сделать вывод, что сибиряки уделяли больше внимания организованному посещению братских могил. Там воспроизводились элементы «красной» похоронно-поминальной обрядности: участники действия традиционно укладывали на могилы новые венки, снимали шапки с голов, опускали знамена; однако добавились и нововведения: исполнялся «Интернационал» и похоронный марш (эта музыка заменила традиционное пение священника), присутствующие клялись продолжать дело, начатое погибшими героями. В начале 1920-х гг. у братских могил обязательно устраивались митинги. Помимо поминовения павших героев митинг акцентировал внимание и на актуальных политических темах. В 1921 г. общей для страны стала тема митинга «Завоевания Октябрьской революции и новая экономическая политика».

Но с 1923 г. торжества в сибирских городах становились все более массовыми, зрелищными и оптимистичными. Протоколы заседаний Центральной Октябрьской комиссии, проходивших в Москве в 1923 г., не содержали предложений устраивать коллективные посещения могил героев 7 ноября. Коммеморативные действия у братских могил в городах Западной Сибири преимущественно прекратились уже в 1924 г. По плану демонстрации 1928 г. в Новосибирске колонны ее участников проходили лишь *мимо* братских могил на пути к Гортеатру, где завершалось шествие. Типичной для официальных планов «окторжеств» стала формулировка: «Можно, если будет время, вспомнить участников великого переворота».

Исключение составил Барнаул. В 1927 г. демонстранты этого города сделали остановку у братских могил. Председатель горсовета выступил с речью: «Этот памятник построен на крови лучших сынов революции, которые сложили головы за великий Октябрь. В память о них склоните знамена!» После этого хор политкаторжан в соответствии с советской традицией исполнил «Вы жертвою пали», и шествие двинулось дальше. Показателен также случай, когда в 1930 г. газета «Красный Алтай» упоминала движение барнаульских демонстрантов к братским могилам с целью им «поклониться».

Еще в середине 1920-х гг. демонстрация оживлялась карнавальным шествием. Серьезные и драматичные коммеморативные практики начала 1920-х гг. сменялись театрализованными и карнавальными элементами, живыми картинками, выражавшими актуальные политические идеи. Могли быть представлены и «фигуры из прошлого»: царь (обычно в виде чучела), поп (обычно карикатурный), «контрреволюция», «автомобиль октября» (Барнаул, 1927 г.). Новосибирское карнавальное шествие 1929 г. должно было демонстрировать темы: «События на КВЖД», «Пятилетка» и пр. Особенно популярными стали карнавальное шествия на демонстрациях 1930-х гг. Все клубы предприятий и



организаций получали задание подготовить костюмированное шествие на заданную тему. Так, в Барнауле в 1930 г. готовились по теме «Выполнение производствами промфинпланов». Производственники проявляли фантазию, стараясь обратить на себя внимание, например изготовляли к празднику огромные бутафорские сосиски, которые могли символизировать достижения колбасников. В таком карнавале было много оригинального, но уже практически ничего коммеморативного.

Обязательным элементом торжества 1930-х гг. оставался митинг демонстрантов на центральной площади, лейтмотивом которого являлся отчет партийных лидеров города об успехах индустриализации. Историческая тематика на демонстрациях 1930-х гг. становилась все менее актуальной.

К главному политическому празднику нередко приурочивали закладку и открытие новых революционных памятников, а также мемориальных досок, занимавших иногда старые памятные места. Это соответствовало традиции: как мы уже отмечали, до революции городские власти также стремились приурочить к официальным государственным праздникам и памятным датам культурной жизни основание или открытие церквей, часовен, памятников и различных социальных учреждений.

Седьмого ноября 1921 г. в Барнауле заложили памятник на могиле жертв революции (так началось формирование мемориальной аллеи на проспекте Ленина). Во время закладки исполняли похоронный марш и «Вечную память». Такие действия разрушали в сознании их участников обычные временные границы между прошлым, настоящим и будущим, условно оживляя павших героев. Церемонии открытия советских памятников базировались на дореволюционном опыте. Открытие памятников «в Бозе почившим» императорам сопровождалось молебствием, пальбой пушек Петропавловской крепости, колокольным звоном. В конце протодьякон оптимистично возглашал многолетие всероссийскому воинству и всем верноподданным.

Седьмого ноября 1922 г. в Омске торжественно открыли памятник жертвам восстания на станции Куломзино (произошло 22 декабря 1918 г.) и возложили венок к памятнику еще живому Ленину. Известно также, что 7 ноября 1925 г. в Томске заложили памятник вождю мирового пролетариата. В 1927 г. был открыт еще один памятник В. И. Ленину около Дворца труда в Новосибирске. Печать свидетельствует, что при спуске покрывала с памятника рабочие традиционно сняли шапки. В конце десятилетия перед октябрьскими торжествами приводили в порядок братские могилы; на зданиях, связанных с революционными событиями, размещали соответствующие таблички.

В преддверии торжеств, посвященных Великому Октябрю, городские власти задумывались о том, какие стройки можно будет использовать в целях праздничной пропаганды советских достижений. Примером может послужить Омск, где в 1927 г. горсовет постановил: «Выявить новое строительство (школы, больницы, промышленность, клубы), которое может быть закончено в текущем году, с тем чтобы приурочить это к десятой годовщине Октября». Такие стройки нашлись, но их было немного: «двухэтажный жилой дом в центре и дом под избу-читальню на мельнице».

В годы форсированной индустриализации к 7 ноября открывали преимущественно не мемориальные объекты, а объекты промышленного строительства. Например, «подарком к Октябрю» жителям Омска в 1935 г. стал новый мост через Иртыш. Впрочем, можно найти и коммеморативный смысл в этом «подарке». В 1919 г., отступая из Омска, армия А. В. Колчака взорвала мост через Иртыш, и советская власть символически восстанавливала порядок, возвращая



городу мост. Городские предприятия ежегодно открывали к 7 ноября ясли, бани, пускали по маршрутам новые автобусы и т. п. Однако стоит упомянуть и открытие 7 ноября 1935 г. памятника В. И. Ленину в Томске на площади Революции. Уместно вспомнить и о памятнике вождю, открытом в Барнауле на Ленинском проспекте 7 ноября 1938 г.

Вечером после демонстрации рабочие и служащие приглашались в клубы для продолжения празднования. Городская администрация, руководящий состав наиболее крупных предприятий и заведений устраивали торжественные заседания. До революции подобные заседания городских дум зачастую предварялись панихидой или божественной литургией. Теперь главное торжественное заседание страны проходило в Колонном зале. На местах для этих целей обычно использовались театры.

В начале 1920-х гг. торжественные заседания горсоветов и других организаций начинались с минуты молчания в память о борцах, павших за идеалы революции. Далее зачитывались доклады, посвященные жертвам революционной борьбы и последним достижениям советской власти. Со временем памяти погибших героев на торжественных заседаниях уделялось все меньше внимания. Однако смерть В. И. Ленина в 1924 г. и последовавшие за ней смерти М. В. Фрунзе (3 ноября 1925 г.) и Ф. Э. Дзержинского (20 июля 1926 г.) обязывали сибиряков официально отдать дань их памяти на торжественных заседаниях.

В последующие годы коммеморативная составляющая торжеств в ряде случаев ослабевала. Уже на примерах празднования десятилетнего юбилея Октябрьской революции заметно внедрение нового идеологического концепта праздника — идеи трансформации. Революция начинала восприниматься как переломный момент, поворотная точка в истории, изменившая коренным образом все сферы жизни общества. Так, 7 ноября 1927 г. на торжественном заседании научных работников томских вузов ректоры Томского государственного университета и Сибирского технологического института осветили лишь «достижения советской власти в деле высшего образования», а также тему «Индустриализация и вуз», не углубляясь в историю и уж тем более не драматизируя ее. Однако в Барнауле празднование десятилетия Октября еще имело сильную коммеморативную составляющую. В барнаульском Гортеатре вечером 7 ноября прошел торжественный пленум партии, на котором выступали участники Гражданской войны Вахрушев и Долгих с рассказами о подвигах партизан и о барнаульском отряде красной гвардии.

Главной темой докладов в 1930-х гг. стало подведение итогов экономического и культурного строительства за весь послевоенный период. Особенно актуальной становилась эта тема в 1932 и 1937 гг. (15-летие и 20-летие Октября). Однако к концу 1930-х гг. традиционный коммеморативный элемент сценария заседания вновь тенденциозно усиливается, но имеет отличную от предыдущего десятилетия специфику. В начале мероприятия обычно вспоминали имя В. И. Ленина, следом называли имена других «борцов, погибших за идеалы большевизма», список которых заметно прирастал именно в 1930-х гг. (Я. М. Свердлов, Ф. Э. Дзержинский, М. В. Фрунзе, С. М. Киров, В. В. Куйбышев, Г. К. Орджоникидзе). После оглашения данного списка звучал траурный марш и призыв почтить память «борцов» вставанием. Этот момент заседания служил собравшимся напоминанием идеологической формулы: чем существеннее наши экономические достижения, тем острее классовое сопротивление врагов народа, тем дороже жертвы, которые приносит народ, упорно строящий социализм. Как и в дни похорон этих людей, повторялась мысль о том,

что «борцы» были либо убиты врагами, либо истощили силы в тяжелой борьбе за социалистические идеалы. Показательно, что на торжественных заседаниях горсоветов 1930-х гг., посвященных годовщинам Октябрьской революции, уже не вспоминали тех, кто погиб в 1917—1920 гг., минута молчания посвящалась преимущественно ушедшим героям Советской страны последних лет.

Редко заострялось внимание и на местных героях. Лишь в 1935 г. омская печать сообщала, что «заодно» с усопшими членами правительства горсовет на торжественном заседании 7 ноября почтил память «руководителя большевиков Омской области Булатова». Следовавшие за минутой молчания доклады, посвященные успехам индустриализации, оправдывали жестокость классовой борьбы, упирая на то, что «любимцы советского народа» не напрасно положили жизнь на алтарь большевистских идеалов.

Торжественные заседания второй половины 1930-х гг. были невероятно помпезными. Ораторы пользовались любой возможностью прославить вождя в пламенной речи. С середины 1930-х при формировании президиума заседания в первую очередь в него заочно избирали И. В. Сталина, а следом и членов правительства. Каждое упоминание имени вождя вызывало волну продолжительных рукоплесканий, заканчивалось заседание прославлявшими его речами.

Неофициальная часть октябрьских торжеств 1920-х гг. приходилась преимущественно на вечер 7 ноября. Клубы и театры обязательно приглашали на спектакли и концерты, подготовленные как профессиональными артистами, так и самодеятельными коллективами. В 1920 г. Центральная Октябрьская комиссия рекомендовала ставить на местах пьесы о взятии Бастилии, сцены из «Бориса Годунова» по А. С. Пушкину. Обращалось внимание и на такие произведения, как, например, «Мститель» П. Клоделя, «Советы» и «Освобожденный труд» П. А. Арского. В Западной Сибири театральные постановки были разнообразными, обыватели могли пойти как на классическую оперу, так и на драматические спектакли, некоторые из которых соответствовали праздничной тематике (в Томске в 1920 г. шли пьесы «Борьба» и «Поп»). Однако в начале 1920-х гг. драматургами было написано еще слишком мало революционных сценариев достойного в художественном отношении качества. Важно и то, что до Сибири новые пьесы доходили с опозданием. Клубы могли предлагать концерты, включавшие в себя песенные, танцевальные и драматические номера. Историческое содержание имели сценки типа «живого календаря».

В 1930-х гг. театры и клубы также приглашали зрителей на спектакли классического репертуара. В 1936 г. на театральных площадках Новосибирска шли пьесы «Не было ни гроша» и «Свои люди — сочтемся» А. Н. Островского, постановки по произведениям А. П. Чехова «Предложение» и «Медведь». Одновременно клубная концертная программа включала в себя песни о Сталине. Сибгостеатр приглашал зрителей на драму о Гражданской войне «Любовь Яровая» К. А. Тренёва.

Большевики широко использовали для пропаганды в праздничные дни кино, которое было очень популярно среди масс. Власть расценивала его и как приманку для зрителей, и как средство политического образования. Праздничный репертуар кинотеатров 1920-х гг. в день 7 ноября был разнообразным. В начале десятилетия в главный революционный праздник показывали самые разные фильмы, создававшие праздничную атмосферу. По выводам английского историка П. Кенеза, только в 1923—1924 гг. государство окончательно признало советское кино важным средством агитации и подчинило этим целям, хотя отдельные картины еще содержали спорные, с точки зрения власти, оценки недавнего исторического прошлого («Аэлита» Я. А. Протазанова, снятая по



роману А. Н. Толстого). Для зрелищности и привлекательности сценаристы использовали сатиру и эксплуатировали приключенческий жанр. Художественное кино на исторические темы допускало вымысел и фантазии. Наслаждаясь игрой молодых актеров и захватывающими сценами битв, зрители не обращали внимания на неправдоподобность событий, воспринимая их на веру. Показателен в этом смысле пример фильма «Красные дьяволята» И. Н. Перестиани, где продемонстрирован вымышленный эпизод пленения Н. И. Махно и его передачи войску С. М. Будённого. Вообще, с 1919 по 1932 г. на экраны страны вышло не менее 114 художественных фильмов, действие которых происходило во время Гражданской войны, что составило около 10 процентов всех снятых картин. Часть этих фильмов оставалась востребованной в дни октябрьских торжеств на протяжении нескольких последующих лет.

Вторая половина 1920-х гг. была ознаменована выходом на экраны знаменитой трилогии С. М. Эйзенштейна «Стакча», «Броненосец Потёмкин» и «Октябрь». Эти фильмы претендовали на документальность подачи исторического материала. Для достижения эффекта правдоподобия Эйзенштейн, к примеру, использовал в съемках сцен штурма Зимнего дворца непрофессиональных актеров. Но режиссер не сопротивлялся искушению преувеличений масштабов событий.

Фильм «Октябрь» не был готов к десятилетней годовщине революции. Его показ состоялся позже, однако эта картина и после праздника эффективно справлялась со своими пропагандистскими задачами легитимации самой революции и ее детища — большевистского политического режима. П. Кенез считает, что зрители в первую очередь воспринимали кино как развлечение, ждали интересной истории и героя, в котором хотели видеть самих себя. Поэтому кино, снятое в 1920-х гг., искало способы вести пропаганду, одновременно развлекая зрителей. При этом, однако же, фильмы Эйзенштейна, Вертова, Пудовкина и других мэтров кино второй половины 1920-х гг. были вполне глубокомысленны, они изображали революцию концептуально, не просто как цепочку стихийных событий, а как нечто предопределенное движущими силами мировой истории.

В 1930-х гг. появились новые революционные киноленты. На рубеже десятилетий признанные мэтры советского кино были обвинены в «формализме». Новое кино фиксировало внимание уже не на массовом, обезличенном революционном героизме, а на образах конкретных героев, которые могли бы послужить примерами борьбы за новые достижения, прежде всего в сфере индустриального строительства. Однако факты свидетельствуют, что в сибирских городах в первой половине 1930-х гг. нередко повторялись показы фильмов прошлого десятилетия: «Красные дьяволята» И. Н. Перестиани (1923), «Броненосец Потёмкин» С. М. Эйзенштейна (1925), «Москва в Октябре» Б. В. Барнета (1927), «Герои домны» Е. А. Иванова-Борткова (1928), «Два броневика» и «Мятеж» С. А. Тимошенко (1928) и др. Также кинотеатры приглашали зрителей на просмотр детских картин, имевших коммеморативное содержание, таких как «Хочу быть летчицей» К. А. Гертеля (1928), «Адрес Ленина» Б. Л. Бродянского (1929), или социальных драм о перевоспитании беспризорников в первые годы советской власти: «Путевка в жизнь» Н. В. Экка (1931), «Солдатский сын» («Детство большевика») Н. И. Лебедева (1933).

Событием стал выход на широкие экраны страны 7 ноября 1934 г. фильма «Чапаев». Эта картина очень понравилась вождю и имела ошеломляющий успех у публики, смотревшей фильм по нескольку раз. Киноведы отмечают, что события Гражданской войны, представленные в фильме, были сильно искажены, но

впервые советский кинематограф представил врага «достойным» — сильным, опытным, убежденно отстаивающим свои идеалы.

Во второй половине 1930-х гг. премьеры исторического кино продолжались. К примеру, в 1938 г. зрителям предлагался к просмотру новый фильм «Человек с ружьем» С. И. Юткевича, П. Н. Арманда и М. Я. Итиной. Анонс сообщал, что это — фильм «о первых днях советской власти, о том, как петроградский пролетариат вместе с крестьянством, под руководством большевистской партии, защищая революцию, героически сражался с эсеровско-белогвардейской контрреволюцией. В центре фильма великие вожди революции — Ленин и Сталин...»

Еще в 1920 г. Центральная Октябрьская комиссия постановила устраивать выставки документов, лубков, карикатур, газетных вырезок и прочих материалов, посвященных революции, в музеях и библиотеках. Сибиряки, следуя этому постановлению, в 1920-х гг. накапливали опыт в организации подобных выставок. В 1930-х гг. бесплатные выставки в музеях, архивах и библиотеках стали для горожан привычными. Они посвящались не только революционной истории, но также хозяйственным и культурным достижениям последних лет.

С течением времени экономические выставки становились все более актуальными и даже подавляли тему революции. Если в 1932 г. в октябрьские дни архивное бюро Омска выставляло документы лишь дореволюционного периода и Гражданской войны, то годом позже они были дополнены материалами по экономическому развитию Сибири. Популярными в эти годы были выставки в окнах музеев и учреждений, которые можно было на ходу бегло осмотреть с улицы. Здесь могли быть представлены фотографии, документы, а в витрине томского универмага выставлялся даже макет шалаша В. И. Ленина.

Очень важным является вопрос о восприятии обществом праздничных коммемораций. Разумеется, нельзя верить во всеобщий восторг от торжеств, который ежегодно описывали газеты. Значительная часть населения воспринимала праздник скептически, особенно в начале 1920-х гг. Это подтверждается множеством фактов. К примеру, в письмах красноармейцев, тщательно вычитывавшихся военной цензурой, нередко отмечалось недоверие к коммунистам и негативное отношение к празднику. Так, после торжества в Омске один из солдат писал: «Как вы там встретили праздник? У нас солдаты спектакль поставили, в часовне на место креста воткнули флаг. Теперь там форменный дом терпимости или просто бардак. Б...дей набирается! Хотя еще десять лет война будет — им ничего». Звучит в этом отрывке осуждение или насмешка — точно не понятно, однако очевидно, что к празднику выражено негативное отношение, отнюдь не сопряженное с восторгом. Звучала также критика эстетики торжеств, их организации: «У омских организаторов совсем нет никакого вкуса, все тут к черту годятся, город так украшен, что хуже не надо. Оратор говорил только один с балкона театра. Было страшно неорганизованно». Со временем качество организации праздника повышалось, но и это нравилось далеко не всем.

В середине 1920-х гг. организаторы неоднократно обращали внимание населения на необходимость совершенствования «культуры демонстраций». Перспектива участвовать в шествиях многих отпугивала. В 1925 г. на омскую демонстрацию 7 ноября явилась лишь половина запланированных участников. Многие воспринимали демонстрацию как «обязаловку», сбежали, не дождавшись окончания, со скучных митингов, тем более что речи агитаторов было плохо слышно. Печать объясняла, что демонстрация должна отражать праздничный исторический день и закреплять революционные завоевания масс, но по факту она едва ли добивалась этих целей.



В демонстрациях отказывались участвовать преподаватели институтов и рабочие частных предприятий, заявляя: «Нам нет дела до ваших демонстраций». Отмечалась и несерьезность отношения к содержательной стороне праздника. Многие демонстранты, идя в колоннах, обсуждали грядущее застолье, прикидывали, «хватит ли водки и закуски».

Документы, относящиеся к 1930-м гг., позволяют судить о некоторых проблемах в организации октябрьских торжеств, которые неизбежно отвлекали собравшихся от основной темы мероприятия. Это теснота клубных помещений, «хождения» и шум в зале, а также неизбежные спутники российских праздников: алкоголь и драки пьяных людей. В 1931 г. художественная часть праздника, устроенного в одном из томских вузов, привлекла такое количество желающих, что возникла давка. Пожарный, которому было поручено следить за порядком, разогнал «давившихся» студентов и рабфаковцев струей воды из пожарного рукава. История закончилась судебным разбирательством.

Источники отражают также неоднозначное восприятие отдельных коммеморативных элементов торжеств. К примеру, относительно масштабной омской инсценировки 1925 г., вызвавшей массовое столпотворение, прозвучало немало осуждающих высказываний. Сами постановщики «Взятия Зимнего дворца» запомнили женщину, сетовавшую на то, что сквозь эту толпу невозможно протиснуться, а дома ее ждет голодный ребенок. Среди собравшихся звучало много критических замечаний о бесполезной трате денег. Старики ворчали: «Не позаботились нам повышенную пенсию дать, а вот тратят порох, который стоит наших денег», «Лучше бы потратили деньги на матпомощь безработным, меньше было бы проституток», «Лучше тратить деньги на армию и беспризорников». Выражались и мнения совершенно «контрреволюционные»: «Как бы через год-другой не пришлось смотреть нам инсценировку о падении большевиков». Такие высказывания были ожидаемы в бывшей «столице колчаковщины». Безусловно, власть настаивала на подобных реакциях на торжества. Видимо, в том числе и поэтому в дальнейшем формы торжеств и коммемораций становились все более стандартными и однозначными, их организаторы стремились к большей управляемости, акцент делался не на воспоминаниях о прошлом, которые могли восприниматься неоднозначно, а на экономических и социальных достижениях современности и на обещаниях экономического процветания в будущем.

Неоднозначно воспринимались и карнавалы. В Омске в 1925 г. организаторами торжеств было зафиксировано высказывание сотрудника Сибсельхозсоюза: «Нынче большевики поубавили дурости, а то нарядят чучел буржуев и попов и носят по городу, как маленькие ребятишки».

Современники отмечали, что уже в начале 1930-х гг. праздник Октября многими стал восприниматься «как обыденное явление: пришли, посидели на заседании, попили чаю, потанцевали, и все». К октябрьским торжествам народ стал привыкать. Уровень жизни в эти годы был выше, чем в начале 1920-х гг., когда достать красную материю для декорирования и отопить помещение для торжественного вечера было трудно, когда не было возможности угостить собравшихся, а само торжество воспринималось серьезно, не как время для отдыха. Теперь же происходило дальнейшее «обмирщение» октябрьских праздников, которые уже были встроены в привычный народу календарь.

Мемуары, собранные обществом «Мемориал», позволяют увидеть и иную сторону рецепции октябрьских торжеств в период репрессий: боязнь продемонстрировать неверное отношение к празднику. Многим людям приходилось изображать восторженное восприятие годовщин Октября, не показывать своего разочарования или страха. К примеру, жительница Новосибирска А. Т. Ильина

вспоминала, что 5 ноября 1937 г. был арестован ее супруг, 6 ноября ее исключили из партии, а 7 ноября несчастная беременная женщина, у которой осталась еще и малолетняя девочка, «была на демонстрации, стояла и пела песни». Ей приходилось имитировать праздничное настроение. «Иначе было нельзя», рабочие фабрики осуждали ее как жену врага народа.

Очевидно, что праздничные торжества сыграли важнейшую роль в сакрализации Октября. Даже лица, жестоко пострадавшие от большевистской репрессивной машины, не были склонны ставить в один ряд революцию, Гражданскую войну и террор 1930-х гг., не видели ничего общего между захватом власти большевиками, советской контрреволюционной политикой начала 1920-х гг. и террором второй половины 1930-х. Даже для множества жертв сталинизма Великий Октябрь оставался символом восторжествовавшей социальной справедливости и исторического прогресса. В значительной степени именно Октябрь объединял юных пионеров и старых подпольщиков, признанных героев социалистического строительства и репрессированных, считавших себя честными коммунистами и не понимавших, в чем их вина.

Итак, приходится признать, что в Октябрьских торжествах межвоенных лет оставалось много традиционного, восходившего к православию и светским ритуалам имперского периода. Наше исследование показывает скорее не разрыв с традицией, а зависимость акторов от традиции, их неспособность ее преодолеть. После Гражданской войны официальная коммеморативная традиция не изобретается заново, а только частично, в деталях видоизменяется уже имеющаяся. Ежегодный Октябрьский праздник был ориентирован на формирование в исторической памяти населения устойчивого представления о главенстве революции в череде всех прочих событий всемирной истории. На основе исторической памяти общества о Великом Октябре выстраивалась советская социальная идентичность. Неудивительно, что культурная память и сегодня подталкивает россиян выбирать обкатанные старшими поколениями формы главных политических торжеств, выражающие привычные русскому человеку смыслы героизма, жертвенности, победы и социального единства.

Л и т е р а т у р а :

Добренко Е. М., Добренко Е. А. Политэкономия соцреализма. — М., 2007. — 587 с.

Мальшичева С. Ю. Советская праздничная культура в провинции: пространство, символы, мифы (1917—1927). — Казань, 2005. — 400 с.

Озуф М. Революционный праздник (1789—1799). — М., 2003. — 416 с.

Покровский М. Н. Октябрьская революция: сб. статей (1917—1927 гг.). — М., 1929. — 418 с.

Шилин С. А. Общественные праздники в Барнауле (конец XIX — начало XX в.). — Барнаул, 2008. — 54 с.

Щербинин А. И. «Красный день календаря»: формирование матрицы восприятия политического времени в России // Вестн. Томск. гос. ун-та. Серия: Философия. Социология. Политология. — 2008. — № 2. — С. 52—69.

Hartzok J. G. Children of Chapaev: the Russian Civil War cult and the creation of Soviet identity, 1918—1941. — PhD diss., University of Iowa, 2009. [Электронный ресурс]. — URL: <http://ir.uiowa.edu/etd/1227>.

Kenez P. Cinema and the Soviet Society: From the Revolution to the Death of Stalin. — London — New York, 2001. — 252 p.

Kenez P. The Birth of the Propaganda State: Soviet Methods of Mass Mobilization (1917—1929). — Cambridge — New York, 1985. — 308 p.

Валерий НОВИКОВ

КАК В КИНО

*Рассказы кинодокументалиста**

Собаки в Игарке

По Игарке бегали голубые и зеленые собаки.

Псам это, как видно, не мешало — они вели себя, как полагается их родичам менее экзотических цветов. Строго говоря, собаки были не буквально голубыми. Кто-то перемазал их краской, будто сумасшедший художник-авангардист создал в северном городе гигантскую инсталляцию.

Мы долго гадали по поводу причин загадочного явления. А потом встретили дедка, выходящего из калитки с цветной собакой. Состоялся разговор:

— Это ваша собака?

— Моя.

— А что это она зеленая такая?

— Сам-то как думаешь?

— Вот мы и гадаем... Заборы где-то красят? Потерлась — и перемазалась.

— Х-ох! Потерлась! Она что — свинья? Это свиньи так чешутся.

— Так что же?

— Это я ей жизнь подарил, понятно?

— Нет.

— Да как если у нас собаке шкуру не попортить, ее в два счета пустят на унты или шапку! Все так делают.

Так просто решилась загадка.

В далекой знойной Аргентине...

В алтайском селе с жизнеутверждающим названием Победим однажды отличился председатель сельсовета. Выступил с ценным почином, который, естественно, был одобрен и подхвачен. И мы приехали снимать спецвыпуск киножурнала по заданию крайсовета.

Стояла чудная осень, село было уютным и живописным. И люди, сельские жители, очень хорошие. Словом — не командировка, а подарок судьбы.

* Окончание. Начало см.: «Сибирские огни», 2016, № 1.

Если не считать смертной скуки предмета съёмок — этого самого почина. Все сводилось к заседаниям, на которых доярки и механизаторы после дня тяжёлого труда откровенно спали.

Как-то неожиданно вынырнул факт, не предусмотренный сценарием, — в селе живет аргентинец! Давным-давно судьба закинула его предков с Алтая в знойную страну. Там он родился и прожил жизнь, собирая у фазендейро на плантациях какао-бобы. К старости неудержимо потянуло на родину, он разыскал дальнюю родню и приехал в Победим.

Мы встретились.

Он оказался старым, но крепким еще мужиком. Волновался, рассказывая историю своей жизни. Путал слова — русские, испанские, английские.

Показалось обидным пропускать такую судьбу, и мы, не слишком, впрочем, озадачивая себя вопросом, как Аргентина связана с ценным почином, сняли три кассеты. И при монтаже я даже включил несколько кадров, сопроводив их словами о тяге к родине и интернационализме нашего народа. Как сказали коллеги, посмотрев, получилось даже хорошо. К месту.

Увы, это мнение не разделил высокий чин, которому мы показывали — сдавали — киножурнал. Фамилию его, должность и облик — решительно не помню. Возможно, потому что все заслонил издевательский смех:

— Ой, не могу, уморили... Аргентинец! Какао собирал! Да кто же его собирает? Его пьют!

Он вытирал слезы от смеха — какао показалось ему особенно забавным.

— Ну режиссер, ну молодец! Какао!

И вдруг посерьезневшим голосом сообщил:

— А у нас в одном районе турок живет. Настоящий, из Турции приехал, в шапочке ходит, феска называется. Что теперь, его тоже снимать?

Что было дальше? Вырезали аргентинца, конечно.

Шпион Гидромета

Анатолий Хомяков в молодости служил в армии. Военская специальность у него была довольно редкая — военный синоптик.

Потом он стал оператором. Однажды ему удалось продемонстрировать свои познания в области циклонов и антициклонов. Правда, ничем хорошим это не закончилось. А история была такая. В Горной Шории на окраине поселка Шереш жил чудаковатый дед по фамилии Дьяков. Главным делом его жизни была астрономия. Даже единственного сына он назвал Камилем — в честь французского астронома Фламариона. Дьякову, как он сам считал, удалось найти связь между возникновением солнечных пятен и земными катаклизмами. За несколько дней он предсказывал появление разрушительных тайфунов в разных местах земного шара. Иногда прогнозы сбывались. Но метод свой дед держал в строжайшем секрете. И вот к нему приехал снимать сюжет для киножурнала Анатолий Хомяков. Они сидели на веранде. На столе лежали синоптические карты. Анатолий автоматически принялся их сортировать, раскладывая в порядке прохождения атмосферного фронта. Дьяков, увидев эту вполне профессиональную работу, взревел: «Вон! Ты никакой не оператор, ты шпион Гидромета!» И, не смотря на объяснения, так и не разрешил ничего снимать.

Герострат местного разлива

Всеволод Михайлович Сушкевич начал кинематографическую деятельность еще в тридцатых годах — сначала в мультиплексе, потом оператором на студии кинохроники. И тогда же, в тридцатых, собрал большую коллекцию киноплакатов. Здесь надо напомнить, что плакаты тех лет вообще и киноплакаты в частности представляют особое явление в нашей художественной культуре. Над ними работали выдающиеся отечественные мастера — Дейнека, Моор, Лисицкий, Родченко и другие. Некоторые плакаты считаются большими раритетами.

Я с Сушкевичем познакомился в шестидесятых и, узнав о его замечательном собрании, принялся ныть — покажите. Он обещал, потом забывал, отнекивался, словом — тянул время. Занявшись организацией музея на студии, я стал просить его сделать выставку, а лучше — передать коллекцию в музей. Ну не хочет в студийный — пусть в городской. Он опять начал обещать, но ничего не делал.

Потом Сушкевич ушел на пенсию и как-то исчез из виду. В конце восьмидесятых я случайно узнал, что он уезжает из города к родственникам, живущим где-то в Европе. Я позвонил, попросил о встрече, сославшись на надобность записать его воспоминания. Встретились, ему было уже за восемьдесят. Воспоминания я не только записал, но и снял на пленку.

А в конце разговора снова вышел на тему — мол, теперь-то зачем вам везти эту тяжесть? «А нет плакатов», — сказал Сушкевич. «Где же они?» — «Я их сжег», — сообщил он буднично. «Как — сжег?» — «А так вот, — он сделал движение рукой, — чиркнул спичкой и сжег. На мусорке». — «Зачем?» — только и мог выговорить я. «Кому это сейчас нужно? Это сейчас никому не нужно», — непререкаемым тоном пояснил Сушкевич.

Вскоре он уехал. Я попытался узнать у родственников — может, пошутил? Подтвердили — сжег. Вот и все.

Эх, Всеволод Михайлович! Если правда, что все наши земные деяния там, наверху, записываются в некие скрижали, этот ваш поступок попал в раздел «грехи наши тяжкие». Бог вам судья.

Есть женщины в русских селеньях...

В киножурнале — сюжет о смотре художественной самодеятельности в каком-то районе.

На сцене сельского клуба — зажигательный русский танец. Одна из плясуний крутится с невероятной скоростью — лица не разглядеть. В этом вихре у нее поднимается, развеваясь, подол сарафана, нижней юбки под ним нет... На этот кадр накладывается фраза дикторского текста: «Есть что показать доярке Ивановой...»

Долгое время эта фраза была на студии одной из самых цитируемых.

Заметив ляп, говорили: «Да, есть что показать доярке Ивановой».

Кувалда как инструмент списания

Было на предприятиях (возможно, есть и сейчас) такое понятие — списание основных средств.

Означает оно следующее. Разного рода оборудование, отслужившее свой срок по нормативам, подлежит ликвидации и замене новым. В принципе, на вер-





ное, все правильно — на новом станке работать лучше, чем на старом. Но тут, по мнению особо бдительных товарищей, есть тонкий момент. А вдруг старый станок, еще вполне исправный, кто-нибудь из нечестных людей утащит, начнет на нем точить детали дома и таким образом обогащаться? Чтобы этого не произошло, полагалось привести списываемое оборудование в негодность. Каким образом? Очень просто — расколотив кувалдой.

Операция, сильно пахивающая вандализмом, производилась в присутствии специальной комиссии, одним из главных действующих лиц в которой был главный бухгалтер. Поскольку киностудия являлась частью системы — тянет сказать «социалистической», — подобное происходило и здесь. «Станками», то есть орудиями производства, на студии являются кинокамеры, объективы, штативы и прочее съемочное оборудование. Периодически полагалось его списывать — обновлять парк.

В пятидесятых и шестидесятых годах под кувалду пошли киноаппараты, верой и правдой долгие годы служившие самым первым нашим киношникам — «Аскания», «Дебри», «Кинохрон», «Аймо». В основном французские и немецкие — металлические ящики с ручкой, которую оператору надо было крутить с равномерной скоростью. Выражение «крутить кино», дошедшее до наших дней, означает не только его «показывать», но и «снимать». На смену пришли мобильные «Конвасы», стационарные камеры для синхронных съемок «Эра», «Дружба» — с электроприводами и даже некоторым подобием автоматики и электроники. Конечно, они были более удобными, портативными. Печальная судьба ждала старенькие «Кинохроны», верой и правдой открывшие не одну тысячу метров горючего целлулоида. Собиралась комиссия, сваливали камеры в кучу, и рабочий с молодецким гэканьем начинал свою палаческую работу. По окончании чего составлялся акт, который подписывали все члены комиссии.

Старые киношники предпочитали на это время уезжать в командировки. Говорили, что с одним из них, оператором Хмелёвым, когда у него потребовали сдать камеру для уничтожения, стало плохо. Но что-то по мелочи удавалось спасти.

Механик Николай Осачев по большому секрету показал мне объектив. «Двухсотка, цейсовская. Рисует — божественно. Тут всего дел — выточить колечко, переходник на фотоаппарат. Я пошел к главбухше — зачем вам ходить на улицу, вон какой дождь, самолично расколочу и принесу вам. Ладно, говорит, только покажи обязательно. Я бутылку молотком разбил, железок добавил и все это в ведре принес — вот, смотрите, все по-честному. Молодец, говорит, подписала акт. А объективчик-то — вот он. Ему цены нет!»

Кстати, сегодня цена одной камеры «Дебри» на антикварном рынке — из тех самых десятков и сотен, уничтоженных в порядке «списания основных средств», — соответствует стоимости автомобиля среднего класса.

Ты — мне, я — тебе

Михаил Исаакович Шерман приехал в Новосибирск из Фрунзе в начале семидесятых.

В Киргизии в то время работала очень сильная группа документалистов, и на Шермане как бы лежал отблеск мэтров, в кругу которых он вращался, в том числе знаменитого Леонида Гуревича. Говоря честно, талантом Михаил

Исаакович уступал своим великим киргизским друзьям, к тому же был отчаянным конъюнктурщиком, но запомнился своей непосредственностью и юмором.

Как-то после командировки в Кузбасс он принес в редакцию сценарий документального фильма. Согласно существовавшей тогда практике в нем подробно было описано будущее — то, что произойдет через месяц-другой, а то и через полгода перед объективом камеры. Так полагалось.

Один из эпизодов был посвящен героизму шахтеров, с риском для жизни ликвидировавших аварию на шахте. Сценарист подробно и красочно описывал грозный поток грунтовых вод, прорвавших крепь, встревоженные сначала, но потом спокойные лица горняков, оказавшихся в смертельной ловушке — они уверены, что страна не оставит их в беде, титанические усилия героев-горноспасателей, рвущихся сквозь подземные толщи на выручку товарищам...

«Помилуйте, Михаил Исаакович, — взмолился я, в ту пору исполнявший обязанности главного редактора, — откуда вы взяли, что авария произойдет именно тогда, когда будет сниматься кино? Это ведь ЧП, если и случится такое — до вас ли там будет?»

«Ну шо вы волнуетесь?» — пожал плечами Шерман. — Главный инженер на шахте, как оказалось, Фридман. Мы обо всем договорились. Специально для нас он обещал устроить маленькую аварию. Я за это сниму его крупным планом. А шо такого?»

Действительно — а шо такого?

Есть такая инструкция

Техника обычно ломается в самое неподходящее время. В том числе и киносъёмочная.

С немалыми трудностями мы добрались до глухой деревушки, затерявшейся в лесах и болотах Архангельской области. Шли дожди, дорогу развезло, и поездка превратилась в испытание нервов. Но все, как известно, когда-нибудь заканчивается, и мы достигли цели.

Но, как только расположились в колхозной гостинице — так называемой «заежке», выяснилось, что кочки и ухабы сыграли роковую роль в судьбе нашей камеры, хотя оператор практически всю дорогу держал ее на руках.

Камера умерла.

Ассистент Саша поменял элементы аккумулятора, потыкал отверткой — бесполезно. Решили не пороть горячку, действовать по принципу «утро вечера мудренее».

Однако же все, что удалось сделать утром — поставить диагноз. Да, мотор. А запасного, который обычно возим с собой, нет. Так получилось.

Утром наши расстроенные физиономии увидел зашедший заведующий отделением — главный местный начальник.

— Вот, похоже, не судьба, придется возвращаться... Несолоно снимавши. Шутка, — сообщили мы грустную новость.

— А что случилось-то?

— Движок, ну, мотор.

— Может, с питанием что?

— Нет, аккумулятор в порядке, проверили.

— Движок, говорите? — Заведующий задумался. — Ладно, подошлю я одного человека. Он разберется.

Саша недоверчиво спросил:

— У вас что, супертехник в деревне есть? Специалист по съёмочной аппаратуре?

— По аппаратуре нет. А в двигателях здорово понимает. На дизеле работает.

— На каком дизеле? У нас техника п-прецизионная. — Саша от волнения всегда заикался.

— Говорю же, специалист. Не переживайте.

Через час в заезжку пришел хмуроватый мужик в ватнике, пропитанном неистребимым запахом солярки и машинного масла. Не здороваясь, он мельком глянул на разобранный движок камеры с торчащими проводками и спросил:

— Что тут у вас?

— А в-вы в этом разбираетесь?

— Не пашет, что ли? Так. Вот этот синенький проводок куда идет — на массу?

— Н-нет, знаете, тут не так все просто. Техника п-прецизионная...

— На красненьком есть напруга, мерили? — Мужик не слышал Сашу. — Перекидывай.

— К-как перекидывай? Нельзя, полярность изменится, мотор может с-сгореть.

— Перекидывай, — требовательно ткнул он пальцем с вьёвшейся машинной грязью в нежные внутренности съёмочного аппарата. — Хуже не будет, все равно не работает. Теперь прикручивай. Пробуй.

Саша, демонстрируя всем своим видом возмущение и протест, проделал операции и нажал спусковую кнопку.

Движок зажужжал.

— Контакты еще почисть маленько. Ладно, я пошел, мне на смену пора.

После ухода дизелиста Саша долго сидел, потрясенно глядя на оживший «Конвас».

— Ну, могла обмотка дать дуба. Ну, мог от тряски контакт полететь. Но чтобы полярность изменить... Н-не знаю. Ни в одной инструкции об этом не сказано.

Я плохо разбираюсь в технике. Но тут меня осенило:

— Сказано, Саша.

— Где, в к-какой?

— В инструкции к колхозному дизелю.

Тубус для удава

Самолет в Мурманск задерживался, прилетели ночью. Экспедиция началась долгая и серьезная, поэтому «затарены» мы были, как говорится, под завязку — яуфы с пленкой, две камеры, осветительные приборы, кабели, вещи. Ни в какие такси мы не входили, долго искали машину, договаривались с шофером — короче, приехали в гостиницу далеко за полночь.

Едва достучались, заспанная дежурная открыла дверь. Увидев наш моздкий багаж, спросила:

— Циркачи? Говорили, что должны приехать...

— Циркачи, циркачи, — подтвердил оператор Борис Винокур.

— Вы все снесите в камеру хранения. Утром оформляться будете. А это у вас что? — Она кивнула на большой жесткий тубус, в котором мы перевозили штатив-треногу.

— А это у нас удав дрессированный. Гошей зовут, — сказал Борис. — Он там кольцами свернулся и спит. Он смирный, его утром покормишь — и опять дрыхнет до выступления.

Дежурная, как видно, плохо соображая со сна, махнула рукой, мы перенесли все в камеру хранения и пошли отдыхать в номер.

Через час нас разбудил грохот в дверь:

— Вы, эта, забирайте своего удава! Сожрет всех!

Теперь со сна плохо соображали мы:

— Какого удава?!

— Вашего! Я в милицию буду звонить!

— Да нету у нас никакого удава! Мы пошутили! Киношники мы!

Случилось же вот что. После того как заперли дверь в камеру хранения, раздался грохот. То ли какой-то ящик свалился, то ли пробежала крыса и что-то уронила. В ночной тишине все звуки усилились, и дежурная подняла панику.

Пришлось открывать комнату, доставать из тубуса штатив, показывать документы, извиняться... В этой командировке тубус и штатив мы звали Гошей.

Сибирь в цепях

Когда-то титры киножурнала были стандартными — определенный шрифт и фон, на котором писалось название «Сибирь на экране» и фамилии авторов.

А потом пришла пора некоторого вольнодумства, шрифт можно было менять, а в качестве фона использовать какие-нибудь кадры. Они назывались подложкой.

Однажды я смонтировал журнал. Поскольку сюжеты, присланные операторами, были не очень, я решил сделать красивую подложку. Нашел кадры — утро, туман над рекой, лодка, прикованная цепью к вбитому в землю колу.

Титры и фон совмещает в одном кадре оператор мультцеха. Получилось, как я и задумал, красиво, с настроением.

Отпечатали первую копию. Киномеханик зарядил журнал. Отдельного зала в студии не было, во время просмотра мог заходить, точнее, проходить мимо экрана любой.

И вот еще до официальной сдачи дирекции — была такая процедура — прибегает новый директор Витольд Лукьянченко и на ходу кричит в аппаратную:

— Зарядите журнал!

— Витольд Андреевич, сдача дирекции через час...

— Я хочу посмотреть раньше!

Пошли титры. Не дожидаясь продолжения, директор встает и стремительно убегает. Через пять минут секретарша вызывает меня «на ковер».

— Титры, вернее подложку, которую вы сделали, надо менять, — говорит директор.

— Почему? По-моему, все хорошо получилось...

— Это по-вашему. Надо менять!

— Но почему? Вы хотя бы объясните...

И директор, помявшись, объяснил. Пришел один ассистент оператора по имени Миша, который был в зале во время показа и увидел крамолу. А именно — слова «Сибирь на экране» ложатся на цепь — ту, которой прикована лодка.

— Понимаете, он сказал — получается, что Сибирь в цепях...

— Но это же глупость!

— Глупость, я понимаю. Но это же Миша, вы его знаете. Он напишет в обком, придет комиссия, им надо реагировать на сигнал.

— Ну и разберутся...

Директор ко мне хорошо относился, поэтому позволил сказать себе крамольную вещь:

— Вы их не знаете. А я знаю — сам работал. Есть принцип — «лучше перебдеть, чем недобдеть». Так что...

Сошлись вот на чем.

Я фон-подложку не убираю, но вместе с мультцехом переснимаем так, чтобы цепь была не на слове «Сибирь», а на другом. Например, на фамилии монтажера, то есть моей. И тогда ни Мише, ни обкому крыть будет нечем.

Не нравитесь вы мне, ребята...

Салехард, одноэтажное деревянное здание аэропорта. Привычный к задержкам рейсов северный народ ждет своих самолетов и вертолетов. Бич — «бывший интеллигентный человек» — канючит у геологов: «Командир, возьми работягой! Я летом не пью, гадом буду!»

На стенке рядом с расписанием рейсов объявление крупными буквами: «Вывоз рыбы ценных сортов запрещен. При обнаружении в багаже — штраф!» И далее подробнейший прейскурант: стерлядь — 1000 рублей, муксун, чир, сиг — 800 рублей, омуль — 500 рублей и так далее. Все это — штраф «за голову». То есть за штуку. Прикидываем — у нас тысяч на пятьсот. Или на триста, что не легче. Последняя съемка была в гостеприимной рыбацкой бригаде — сами понимаете... Была не была, как-нибудь выкрутимся.

На пункте досмотра милиционер, пожилой старшина.

— Что тут у вас? — кивает он на яуфы, большие железные банки для киноплёнки.

Их у нас двенадцать штук. С пленкой — три. Остальные сами понимаете с чем.

— Киноплёнка.

— Не нравитесь вы мне, ребята. Открывайте.

— Нельзя, засветится.

— Как засветится? Три дня назад телевидение летело московское, у них ничего не засвечивалось.

— У телевидения плёнка магнитная. Мы киностудия, у нас киноплёнка как в фотоаппарате. «Кодак», три тысячи метров.

— Не нравитесь вы мне, ребята... Документы есть?

— Вот удостоверение, вот командировочное. Читайте — киностудия.

— Тут не написано, что у вас в коробках. Ну хоть одну откройте...

— Ладно, откроем. Но вы нам подпишете бумагу — в случае порчи обязуясь оплатить. Два доллара метр. Плюс экспедиционные расходы.

— Я что — идиот?

Голос по динамику: «Досмотр, что у вас? Погода портится, посадку задерживаем!»

— Ладно, проходите. Ох не нравитесь вы мне, ребята...

Через пятнадцать минут мы в воздухе. Впереди — Новосибирск, на магазинных прилавках минтай и неведомая морская рыба, у которой хвост начинается прямо от головы. Понимаем, что нарушать нехорошо, но что делать? У всех семьи, друзья...

Развесистая кукуруза

Эту историю рассказал мне иркутский оператор Миша Колесников — человек с большим чувством юмора и полным отсутствием чувства меры — я имею в виду «ее, родимую». Что его и погубило в конце концов.

...На студию пришел срочный приказ из Москвы — для киножурнала «Новости дня» снять сюжет о возделывании кукурузы. Да не где-нибудь, а на Севере. Желательно — Крайнем.

Будет уместно пояснить, что дело происходило в шестидесятых годах, когда наш лидер Никита Сергеевич Хрущёв вознамерился засеять кукурузой все пространство родины. От южных пустынь до тундры. Что неизбежно приведет к процветанию страны и резкому повышению благосостояния советского народа. Жившего в ту пору, честно говоря, не шибко богато.

Из редакции обзвонили все северные районы, однако богатыми урожаями никто похвастаться не мог — кукуруза на мерзлой земле если и всходила, то вырастала достаточно хилой. Тем не менее оператор с ассистентом полетели в Дудинку.

— Есть у нас одно хозяйство, — задумчиво сказал секретарь райкома, — кукуруза там по соседству с карликовой березой взошла. Но выросла по пояс. Для нас это достижение — Север, вечная мерзлота!

— Едем! — сказал оператор. На студии у него была репутация мага и чародея, не завалившего ни одной съемки.

Увиденное поначалу сильно озадачило. Тощие, в палец, стебли никак не тянули на придуманное хлесткое название «Чудо-кудесница прописалась в тундре».

Однако оператор был профессионалом. Походив, похмыкав и поприкидывая, он решительно приказал колхозникам: «Становитесь на колени!»

Агроном и колхозники послушно встали и... произошло чудо — в визире камеры кукуруза оказалась им по грудь, а отдельные стебли — выше головы. «Так, хорошо! А теперь пошли! Да не вставайте, на коленях идите!»

Пленку привезли на студию, проявили, отпечатали позитив. Редакция и худсовет собрались на просмотр.

Низкое северное небо, кукурузная делянка... панорама... в кадре колхозники... осматривают посевы, переговариваются. Как видно, они довольны урожаем. Идут, но передвигаются как-то странно — рывками.

В зале — легкое недоумение.

— А что это они... так? — озадачился главный редактор.

И тут оператор сказал фразу, которая вошла в анналы студии. И не только студии — всей сибирской кинохроники.

— А они, эта... на конях!

Автограф на высоте девять тысяч метров

Есть любители собирать автографы. Я к ним не отношусь. Хотя иногда жалею, потому что коллекцию мог бы собрать приличную. На одном только съезде Союза кинематографистов (я был на четырех) от сияния звезд режет глаза. Причем не где-нибудь на сцене, а вот, как говорится, в шаговой доступности. И даже ближе — в соседнем кресле. Но — не принято. Собрались профессионалы, и разговоры ведутся свои, профессиональные. А тут — распишитесь. Не принято, одним словом.

Однажды я летел из Москвы. На аэровокзале подошел к газетному киоску купить прессу — скоротать время. Тут же продавали книжки в мягких обложках для чтения в пути. Среди них выцелил Довлатова — «Записные книжки». Грех не взять.

Стюардесса вкратце рассказала, что делать, если самолет загорелся или вошел в крутое пике, раздала ириски «Взлетные» — я их не ем, но беру. Потом в кармане они тают от тепла, склеивая все. Самолет разбежался и взлетел. Я открыл купленную книжку и приступил к приятному чтению.

Дошел вот до какой записи (прошу прощения за долгое цитирование, но Довлатова сокращать я не могу):

«Одна знакомая поехала на дачу к Вознесенским. Было это в середине зимы. Жена Вознесенского, Зоя, встретила ее очень радушно. Хозяин не появлялся.

— Где же Андрей?

— Сидит в чулане. В дубленке на голое тело.

— С чего это вдруг?

— Из чулана вид хороший на дорогу. А к нам должны приехать западные журналисты. Андрюша и решил: как появится машина — дубленку в сторону! Выбежит на задний двор и будет обсыпаться снегом. Журналисты увидят — русский медведь купается в снегу. Колоритно и впечатляюще! Андрюша их заметит, смутится. Затем, прикрывая срам, убежит. А статьи в западных газетах будут начинаться так:

“Гениального русского поэта мы застали купающимся в снегу...”

Может, они даже сфотографируют его. Представляешь — бежит Андрюша с голым задом, а кругом российские снега».

Я прочитал, хохотнул про себя. Что произошло дальше — ни за что не догадаетесь. И даже, возможно, не поверите. Я вас пойму. Потому что, если бы это рассказали мне, я бы этому человеку показал палец и попросил: «Разогни!» Мы в детстве так говорили тому, кто особенно «загибал» — завирался.

Так вот, в этот самый момент меня толкнул в бок друг, с которым я летел, при этом мотнул головой: «Узнаешь?» Через два ряда от нас в кресле у прохода сидел... да, Андрей Вознесенский. И что-то перелистывал. В ту пору он был в зените славы, часто появлялся в «ящике», стихи постоянно печатались в журналах.

Хотите — верьте, хотите — нет. Но у меня есть доказательство.

Поколебавшись, я отстегнулся, выбрался из кресла, подошел к Вознесенскому и протянул книжку, согнутую пополам — на той самой странице. Сделал это как-то неловко, едва не въехав знаменитому поэту в физиономию — в этот момент самолет качнуло.

— Что такое, что такое?! — Вознесенский испугался, как мне показалось.

— Андрей Андреевич, — всплыло откуда-то отчество, — вот, Довлатов про вас написал. Подтвердите или опровергните. Пожалуйста.

Поэт, очевидно, понял, что это не покушение, успокоился и взял книжку. Прочитал, вернее мельком пробежал. Судя по всему, текст ему был знаком. Бросил взгляд снизу вверх — увидел, что я стою и не ухожу, достал ручку, горизонтально повернул книжку и размашисто написал на свободном месте. После чего протянул книжку. Я поблагодарил и пошел на место.

Вот что там было написано: «Это все прекрасно, но это все выдуманно. Андрей Вознесенский. 1992».

Книжка Довлатова стоит на полке, я ее храню и время от времени перечитываю.

Нет, не автограф Вознесенского.

Там есть еще что почитать. Довлатов — все сказано.

Брак по Лаврентьеву

Академик Лаврентьев не любил академика Цицина.

Для этого у него были основания — последний медал в стране высшим образованием, качество же подготовки кадров вызывало у Лаврентьева много вопросов. Для пущей уничижительности фамилию «Цицин» он произносил так — «Сысын». И на встрече с журналистами сказал: «Ведомство Сысына выпускает брак. Берусь доказать математически. На подготовку специалиста государство тратит пять тысяч рублей. В Москве на черном рынке диплом о высшем образовании можно купить за три тысячи. Что это значит? Это значит, что реальная цена товара меньше затраченной на производство. А такой товар называется браком».

Опасная шутка

В одном из северных нефтяных городов у инструктора райкома была фамилия Нестреляй.

— Прекрасная фамилия для партийного работника! — сказал известный московский радиожурналист Таризэл Лордкипанидзе, наш сценарист.

По тем временам — смелая шутка.

Его собственную фамилию один начальник написал в таком виде: «Разрешить лорду Кипанидзе...» — уже не помню, что именно.

Таризэл долго хохотал и взял бумажку с собой — показывать московским друзьям.

Поэзия ветра

Роберт Рождественский — огромный, губастый, жутко знаменитый — сидит в нашей редакции. Июль, жара. На столе усердствует вентилятор. Рождественский смотрит в окно, где налетающий ветер треплет кроны деревьев: «К-какой у вас сильный в-вентилятор. Даже деревья к-качаются».



О ПОЭТИКЕ СТАНИСЛАВА ЛИВИНСКОГО

Журнал «Сибирские огни» порадовал — в двенадцатом номере вышла подборка стихов Станислава Ливинского «Без раствора и глины, пера и бумаги...» Отличные стихи. И первое, что пришло в голову — вот, поэт здесь весь! Но потом осеклась: может быть, не весь, но все, что важно для нас и для него, присутствует. Чистые и глубокие стихи, порожденные самой поэзией, без раствора и глины, так и есть. «Словно бы стесняющиеся излишнего пафоса и поэтического неправдоподобия — и “для надежности” оттеняющие любой поэтизм точностью бытовой детали» — как сказано ранее о вышедшей два года назад книжке.* А также: «ретроспективный посыл, привычная метрика, еще более способствующая внятности и узнаваемости воспоминания».**

Его голос, его тема, его глубина и деталь.

И еще нечто важное, нечто, дающее всему упомянутому жизнь... Не просто живое бытование поэтического слова, но сам пульс-дыхание-свечение этой жизни. И вроде сказано об этом уже немало, верно сказано, а каждый раз задумаешься — как обозначить это словом, когда цепляет строчка...

**Но в этой бесхитростной, медленной жизни,
густеющей день ото дня,
есть некая тайна, надрезешь — и брызнет,
и нас обожжет без огня.**

О чем? И — откуда? Ведь ничего не предвещало... А потом — не предвещало ли? Как ни крути, а один вопрос рождает следующий, и череда их бесконечна.

А что было «до»? «И солнце как солнце, и небо как небо...» Было все как всегда, говорит поэт... И вдруг краткая и мощная, ударная лермонтовская реминисценция: «и некому руку подать»! Сокрушительная или жизнеутверждающая? Так аккуратно вписанная в общую интонацию строфы. Но, несомненно, — акцентирующая, возвращающая к традиции — «в минуту душевной невзгоды». И если Лермонтов завершает свою мысль: «А годы проходят — все лучшие годы!», то Станислав Ливинский констатирует не столь открытым, но не менее саднящим высказыванием:

**Ты скажешь: неплохо, хотя и нелепо,
банальна твоя благодать.**

И дальше все стихотворение, прекрасное и живое, состоит из этого, на первый взгляд спокойно-созерцательного, но глубокого и насущного диалога традиции и дня сегодняшнего, закрепленного в его действительности:

* Кутенков Б. А где здесь поэзия? // Волга. — 2013. — № 9—10.

** Науменко В. Книжный ряд. О книгах Станислава Ливинского, Германа Власова, Вадима Муратханова // Интерпоэзия. — 2013. — № 4.

**Как будто деревья на разных наречьях
о чем-то своем говорят.
И крот, не со зла огород изувечив,
уже перепрятал свой клад.**

**Пока в этом воздухе пахнет грозой
и резко пустеют дворы,
и ласточки сходят с ума над землею,
гоняя стада мошкары,**

**я сам с ними вместе схожу понемногу:
там — холодно, тут — горячо.
И лентой, как в песенке, вьется дорога.
А чем же ей виться еще?!**

Вот вам русский незабвенный образ, но какой актуальный, какой правдивый. Екни, сердце, шевельнись от неизбежности этой грозы, а глаза — обратись к дороге... Не столько к пути, сколько к надежде. К началу, к изменению status quo. И разве ушло это время, эти двести лет, разделяющие поэтов? Вот оно, никуда не исчезло, мастерски вписанное в саму плоть стихотворения и живое для нас.

В подборке десять стихотворений, не чуждых друг другу, но совершенно самостоятельных, органично вплетенных в общий фон. Хочется сказать: классно скомпоновано. Складывается мозаика жизни из отдельных кусочков-стеклышек: «там — холодно, тут — горячо». Все в ней не спеша. Медленно, но верно... И какая получится картина, знает только судьба, Бог, тот, кто свыше. «Бог на последнем этаже». А поэт проживает этот путь. «Как шумит перекресток и люди спешат, / и сменяются быстро картинки». Да, его дело сохранять и беречь все, что пережито:

**Что ж ты, бедная память?! — из пули брелок
да истлевшая к черту парадка.
Сохранил и ее, сохранил все, что смог,
и занес поименно в тетрадку.**

Армия! Нет, она не оставит его. Это его большая тема. Она может прозвучать одной строкой, одной деталью, может быть вписана одним мазком, но этого будет достаточно, чтобы ощутить знакомый горьковатый привкус — и времени, и чего-то неотвратимого, свершившегося в его армейской жизни. И неразрывной связи с прошлым как началом, первопричиной всего. Так был создан его герой: «то ли полупрозрачный на вид призывник, / то ли праздничный дембель на взводе». Это же он сам, поэт Станислав Ливинский. Во многом. Во многих.

Как сказал о нем Виктор Топоров, «он как-то ответственнее, серьезнее, экзистенциальнее».* Стихотворение заканчивается вопросом, но не его, а к нему, и его ответом, царапающим читателя:

**Но про армию — снова, когда выпивал,
доходя через раз до предела.
И дружок домогался: а ты убивал?
И я врал ему: было дело.**

* Топоров В. Прочтение. Вторая порция. Режим доступа: <http://prochтение.ru/texts/25605>.

Мы помним его образ из предыдущих стихов, да, это он, «пластмассовый солдатик на войне, / убитый из игрушечного танка», «салага с талией осиной»... А в следующем стихотворении еще больше отматывается назад время, кинолента, фото пленка, жизнь.

**Трижды я или кто-то другой —
как писал сочинитель ответный.
Бедный мальчик с подбитой губой,
чудо в перьях, кукушкино лето.**

Трагизм, но не самоирония, нет, — удивительная сопричастность своему «я», пробирающая и завораживающая. Может быть, все-таки удастся увидеть себя так, как видят его свыше («Мой Бог, почти как человек, вздохнет и вспомнит прошлый век»).

И снова запомнить — себя и все, что вокруг.

**Приподняться на локте, привстать
с койко-места, взглянуть незаметно.
Невеличка умеет летать,
хоть сама и не знает об этом.**

**Так смотри же, как прячут глаза
и любовь выпускают наружу,
как вишневый заброшенный сад
зарастает по самую душу,**

**как торопится солнце домой,
поджигая изнанку сюжета...
И пай-мальчик с подбитой губой
для чего-то запомнит все это.**

У Станислава Ливинского все больше и больше таких стихотворений-воспоминаний, но можно ли сказать, что это является методом? Вряд ли. Это естественное течение его поэтической речи, которое находит отклик у читателя.

Стихотворение «Соринка» и есть такое воспоминание, обратная связь. И мне оно запомнилось давно, когда Станислав читал его на поэтическом вечере. Да, может быть, в смысле поэтического новаторства оно не ново, за ним чувствуется отсылка к традиции, об этом можно много говорить, но для меня оно все равно стихотворение гениальное. Его нужно читать или лучше — слушать. Все просто, но так проникновенно, что своими словами не передать.

Солнце, свет, предметы, погода и душа — все остается в памяти. «Венки и свечи — все по правилам». Мироздание как оно есть, «вдали от столицы». И жизнь «как будто под диктовку», и всему в ней свое место — «площадь вождя, психбольница, кладбище, церковь, тюрьма».

**...И чем ближе конец, тем длинней перекуры,
неразборчивей речь и сильней отголоски.**

И об этом обо всем уже сказано когда-то, но не так, не так, как сказано Ливинским.

Ольга Кравцова,

*ведущий библиограф отдела краеведческой литературы и библиографии
Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова.
г. Ставрополь*

Светлана ГОЛИКОВА

ПОЭТ ТЕАТРА

Творчество талантливого художника-сценографа Серафима Леонидовича Белоголового (1904—1953) входит особой главой в историю театрально-декорационного искусства Новосибирска, а с его именем неизменно связывается представление о преданном служении мастера своему делу. Художником-режиссером, поэтом театра называли его современники.

Получив образование в ленинградском ВХУТЕИНе, С. Л. Белоголовый в конце 1920-х — начале 1930-х гг. работал в театрах Иркутска, Омска, Томска, Краснозаводска. В 1935 г. он стал художником-постановщиком, а в 1937 г. — главным художником новосибирского театра «Красный факел». В творческом содружестве С. Л. Белоголового с выдающимися режиссерами В. П. Редлих, В. К. Дени, Н. Ф. Михайловым происходило становление традиций этого театра, связанных с преимущественным интересом к классическому репертуару с глубоким психологизмом, эмоциональной выразительностью и зрительной целостностью сценического действия. «Режиссерам было легко и интересно работать с Белоголовым, — вспоминала Вера Павловна Редлих. — Он понимал замысел спектакля с полуслова». Одновременно со службой в «Красном факеле» художник оформлял постановки Новосибирского государственного академического театра оперы и балета и Театра юного зрителя. Его деятельность была необычайно активной и плодотворной: за свою

недолгую жизнь Серафим Леонидович исполнил эскизы для 208 спектаклей. В 1950 г. он был удостоен почетного звания заслуженного деятеля искусств РСФСР.

В фондах Новосибирского государственного художественного музея хранится небольшая коллекция произведений С. Л. Белоголового, представляющая разные грани его творческого наследия. В нее входят эскизы декораций и костюмов, созданные в 1940 — 1950-х гг. для двух театров города: к операм «Руслан и Людмила» М. И. Глинки, «Князь Игорь» А. П. Бородина, «Хованщина» М. П. Мусоргского и «Паяцы» Р. Леонкавалло; к краснофакельским спектаклям «Гамлет» У. Шекспира, «Волки и овцы» А. Н. Островского, «Пётр Крымов» К. Финна. В этих работах отчетливо выражены определяющие черты дарования С. Л. Белоголового: его приверженность реалистическим традициям русского театрально-декорационного искусства, восходящим к последней четверти XIX в., высокое живописное мастерство, удивительно бережное отношение к авторскому стилю и режиссерской идее.

Особое место среди экспонатов новосибирской коллекции принадлежит двум портретам артистов театра оперы и балета в сценических костюмах. Они сохраняют для зрителей облик выдающихся мастеров, чьи имена неразрывно связаны с первыми годами истории оперного театра Новосибирска, — А. Ф. Кривчени и

Е. Г. Ефимова. В этом обращении к своеобразной разновидности театрализованного портрета также сказывается причастность С. Л. Белоголового к традициям русской художественной культуры начала XX столетия, к тому живому интересу к людям театрального мира, который с особенной полнотой выразился в портретном творчестве А. Я. Головина.

Блестящий оперный певец, солист Большого театра, народный артист СССР Алексей Филиппович Кривченя (1910—1974) навсегда останется в благодарной памяти новосибирцев как исполнитель роли Ивана Сусанина в первом спектакле театра, показанном в день его открытия 12 мая 1945 г. Проведя на новосибирской сцене пять сезонов, А. Ф. Кривченя включил в свой репертуар многие ведущие басовые партии, в числе которых — Мефистофель в опере Ш. Гуно «Фауст», поставленной в Новосибирске в 1949 г. Эта роль стала одним из сравнительно редких обращений артиста к зарубежной оперной классике. В ней, как и в иных партиях, проявился глубокий драматический талант Кривчени, побуждавший современников называть его непревзойденным мастером перевоплощения.

В портрете С. Л. Белоголового, запечатлевшем певца в образе Мефистофеля, с большой художественной чуткостью подчеркнута сила артистического дарования А. Ф. Кривчени. Нейтральный фон листа, спокойная поза изображенного

позволяют сосредоточить внимание на выразительности пластики лица и острого взгляда актера, ощутить внутреннюю полноту и убедительность найденной им трактовки роли.

Ефим Григорьевич Ефимов (1910—1986), одаренный танцовщик и балетмейстер, также был в числе первых артистов, вошедших в состав труппы Новосибирского театра оперы и балета. Здесь он служил с 1945 г., участвуя в многочисленных балетных постановках и ставя танцы в оперных спектаклях. Балет «Бахчисарайский фонтан» на музыку Б. В. Асафьева, появившийся на новосибирской сцене в 1949 г., оказался значительным творческим достижением Е. Г. Ефимова, ставшего его балетмейстером и исполнителем партии Гирея. В этой роли артист предстает на портрете С. Л. Белоголового, написанном в 1950 г. к VII областной художественной выставке. Как и портрет А. Ф. Кривчени, этот лист композиционно лаконичен и не связан с какой-либо театральной мизансценой. Ясность созданного в нем образа вновь достигается выразительностью одухотворенного лица артиста, подчеркнутой его профильным поворотом, эмоциональностью взгляда, колористической яркостью сценического костюма.

Произведения из наследия С. Л. Белоголового обладают значительной историко-художественной ценностью, входя в летопись культурной жизни Новосибирска середины XX столетия.



АВТОРЫ НОМЕРА

Антонов Андрей родился в 1966 г. в Перми. Окончил семинарию при Троице-Сергиевой лавре. Семь лет преподавал в Вятском духовном училище богословские дисциплины и красноречие. С 2012 г. работает в Кировском театре кукол имени А. Н. Афанасьева в должности завлита. Автор книг «Равноденствие игрушки», «У Ноя была коровенка», «Семь неизданных поэм», «Ходит белый петушок», сборника стихов «То есть» и более трехсот статей на темы культуры и этики. Живет в Кирове.

Голикова Светлана Павловна — заместитель директора по научной работе Новосибирского государственного художественного музея.

Красильникова Екатерина Ивановна родилась в Новосибирске. Окончила Новосибирский государственный педагогический университет. Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и политологии Новосибирского государственного технического университета. Автор книг «Новосибирский некрополь» (в соавторстве) и «Новый быт сибирского Чикаго». Живет в Новосибирске.

Ломов Виорель Михайлович родился в 1946 г. в Москве. Окончил Московский энергетический институт. Работал в новосибирских вузах и НИИ, на Новосибирском заводе химконцентратов, в Новосибирском областном краеведческом музее. Печатался в журналах «Сибирские огни», «Октябрь», «Новосибирск». Член Союза писателей России.

Новиков Валерий Германович родился в 1938 г. Окончил геолого-географический факультет Томского государственного университета и сценарный факультет ВГИКа. Сценарист и режиссер документального кино. Автор более 50 фильмов, в том числе посвященных чернобыльской катастрофе («Чернобыль, осень 1986», «Чернобыльская богородица», «Зона полугласности»). За участие в ликвидации

аварии на Чернобыльской АЭС награжден орденом Мужества. Автор книг «Дорога без дорог», «Черно-белый Чернобыль». Живет в Новосибирске.

Папков Сергей Андреевич родился в 1954 г. в р. п. Краснозерское. Окончил Новосибирский государственный университет. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории СО РАН, профессор. Автор нескольких книг, в том числе «Сталинский террор в Сибири. 1928—1941» (1997), и десятков научных статей по политической истории Сибири. Ответственный редактор и составитель «Книг памяти жертв политических репрессий по Новосибирской области» (вып. 1—2, 2005, 2007). Живет в Новосибирске.

Пономарёв Павел родился в 1984 г. в Рубцовске. Окончил АлтГПА (Барнаул), магистратуру филологического факультета. Преподает русский язык и литературу в Алтайском краевом колледже культуры. Публиковался в журналах «Урал», «Новая Юность». Живет в Барнауле.

Пузыревская Надежда Борисовна родилась в 1947 г. в Новосибирске. Окончила топографический техникум. Работала геодезистом в институте «Сибгипролеспром», в изыскательских партиях в Кемеровской области, Красноярском крае, Читинской области. Автор книг стихов «Таяжные костры», «Ах, романтика...», «Страницы дней». Член Союза писателей России. Живет в Новосибирске.

Усова Екатерина родилась в 2002 г. в поселке Ачаир Омской области. Учится в 7-м классе средней школы. Публиковалась в районной прессе.

Шевцов Андрей родился в 1982 г. в Тюмени. Окончил Институт государства и права Тюменского государственного университета. Кандидат юридических наук, доцент. Автор книги стихов «Яблочный Спас» (2014). Член Союза писателей России. Живет в Тюмени.



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

Верстка: *О. Н. Вялкова*

Корректурa: *М. Н. Долгов*

630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 10, оф. 315,

тел.: (383) 344-92-94

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф



Сдано в набор 21.01.2016 г. Подписано в печать 10.02.2016 г.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7.

Тираж 1500 экз.

<http://книгосибирск.рф>

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.